

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А
Д Е С Я Т А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

ВЛ. ЛИДИН
Н. НИКИТИН
ПАВЕЛ СУХОТИН
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

СТИХИ:

Н. ТИХОНОВ
Е. ЭРКИН
П. ДРУЖИНИН
С. КИРСАНОВ
ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ
МИХ. РУДЕРМАН
ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

СТАТЬИ, ВОСПОМИНАНИЯ, ОЧЕРКИ:

М. И. КАЛИНИН
С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ
НИК. АСЕЕВ
Р. КУЛЛЭ
НИК. СМИРНОВ
ХР. ХЕРСОНСКИЙ
ВЛ. ВЛАДИМИРСКИЙ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ, Н. СМИРНОВ,
Б. ГУБЕР, П. МАРКОВ,
Я. ФРИД.

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 6

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА

БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ и самую распространенную советскую газету—центр. орган правительства СССР

ИЗВЕСТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И
ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМ. ДЕП.

(10-й год изд.) Под ред. И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА. (10-й год изд.)

На страницах «Известий ЦИК СССР и ВЦИК» уделяется внимание: освещению иностранной и внутренней политики, деревне и крестьянству, советскому строительству, борьбе за режим экономии, поднятию производительности труда, экономической жизни СССР, декретам и постановлениям Советского Правительства, партийной и профессиональной жизни.

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» дают богатейшую информацию, помещая телеграммы и корреспонденции от собственных корреспондентов из всех крупных городов СССР, а также из европейских, азиатских и американских центров.

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» по своему содержанию близки и понятны всем: рабочим, крестьянам и всем трудящимся.

Ежедневно в тексте: рисунки, карикатуры, портреты политических деятелей.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

С 1-го октября до конца года 2 р. 85 к., на 1 мес.—1 р.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

КРАСНАЯ НИВА

под ред. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО, И. И. СТЕПАНОВА - СКВОРЦОВА.

В 1926 г. «КРАСНАЯ НИВА» расширила все ОТДЕЛЫ, улучшила технически внешность издания и привлекла новые литературн. и художеств. силы.

КАЖДЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА ВЫХОДИТ НА 24 СТРАНИЦАХ и БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.

В ЖУРНАЛЕ ПЕЧАТАЮТСЯ РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТАТЬИ, СТИХИ КАК ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ТАК и ПЕРЕВОДНЫЕ.

ЖУРНАЛ ОСВЕЩАЕТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ СОЮЗА ССР, а ТАКЖЕ ОТМЕЧАЕТ ВСЕ ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ ЗАГРАНИЧНОЙ ЖИЗНИ.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

С 1-го октября до конца года 2 р. 10 к., на 1 мес.—75 к.

Подписка принимается только с 1-го числа и не далее конца 1926 года.

Заказы выполняются только по получении денег. Подписка в рассрочку или наложенным платежом не принимается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

В МОСКВЕ: Гл. К-рой «Известий ЦИК», Тверская, 48, городскими отделениями Гл. К-ры, Почтамтом, городскими почтовыми отделениями и письмоносцами.

В ПРОВИНЦИИ: Отделениями и Контрагентами Гл. К-ры «Известий ЦИК» и почтово-телеграфными конторами.

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А
Д Е С Я Т А Я
О К Т Я Б Р Ъ

М О С К В А
1 . 9 . 2 0

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Вл. ЛИДИН.—Марина Веневцева, рассказ	5
2. Ник. ТИХОНОВ.—Два стихотворения	27
3. Ник. НИКИТИН.—Юбилей, из „Обояньских повестей“	29
4. Е. ЭРКИН.—В лесу, стихотворение	48
5. П. ДРУЖИНИН.—Барбос, стихотворение	49
6. С. КИРСАНОВ.—Погудка о погодке, стихотворение	51
7. Павел СУХОТИН.—Вишни для компота, повесть (окончание)	52
8. Дм. СЕМЕНОВСКИЙ.—Душистый дар, стихотворение	85
9. Мих. РУДЕРМАН.—Товарищу поэту, стихотворение	86
10. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Морские рассказы	87
11. Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Разговор с фининспектором о поэзии, стихотворение	103
12. М. И. КАЛИНИН.—Что делает советская власть для осу- ществления демократии	110
13. С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ.—Из давних встреч. Азеф (окон- чание)	136

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ:

14. Ник. АСЕЕВ.—Новые песни	150
15. Р. КУЛЛЭ.—Луиджи Пираделло	158
16. Ник. СМИРНОВ.—Из литературы о Шекспире	166
17. Х. ХЕРСОНСКИЙ.—Вехи революционной культуры кино	169
18. Вл. ВЛАДИМИРСКИЙ.—В пути	177

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ.—Л. Иохвед. „Пристань“	186
Ник. СМИРНОВ.—С. Григорьев. „Коммуна Мар-Мила“	187

	<i>Стр.</i>
М. ЗЕНКЕВИЧ.—И. Молчанов и М. Юрин „Жизнь улыбается“ .	188
Б. ГУБЕР.—„Писатели“. Автобиографии современников . . .	189
П. МАРКОВ.—„Театральный Октябрь“	190
Я. ФРИД.—Ноэль Роже. „Новый Потоп“	192

Марина Веневцева

Рассказ

ВЛ. ЛИДИН

Марину Веневцеву вызвал к себе следователь на 10 часов утра. Это было серое невеселее утро, всю ночь валила мокрая метель, и теперь город был в рыхлом снегу и тумане. Грачи, прилетевшие на весну, улетали назад. Марина Веневцева, которой вручил накануне угрюмый служитель повестку, приблизила к близоруким серым глазам листок, прочла его, чуть улыбнулась даже и подписала фамилию прямым своим и необыкновенным почерком.

— Это кто приходил? — спросила ее мать, минуто спустя.

— Повестка от следователя. Меня вызывают для допроса завтра утром, — ответила Марина Веневцева спокойно и как бы проясненно.

У матери соскочил с пальца наперсток, моток раскатался с ее колен, и она поглядела на дочь измученными, слинявшими, но все еще прекрасными глазами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, мама, — сказала Марина низким грудным своим голосом. — Это, вероятно, по поводу убийства Наумки Блюмера, а я с ним два раза встречалась...

И она, чуть раскачиваясь на ходу, ушла в свою комнату. Она поставила зеркало против света и долго глядела на себя, на маленький и упрямый свой рот. Рука ее тем временем водила замшевой подушечкой по розовым отточенным ногтям.

В это сырое утро, отправляясь к следователю для допроса, Марина Веневцева долго прилаживала волосы под маленькой необычайно кокетливой шляпкой. Затем она привычно тронула губы карандашом и по-детски оттопыривая их растерла мизинцем краску. Она достала еще новые, нежно-палевые перчатки, посмотрела на себя в зеркало, чуть прищурясь, как привыкла смотреть на мужчин, зная, что от этого взгляда они сразу останавливаются на ходу, глядят вслед и глупо и нерешительно плетутся позади. Она хотела уйти неслышно, чтобы не встретить мать, но мать ждала ее в коридоре. Лицо ее, не-

когда прекрасное и все еще прекрасное ныне, подернулось, и она быстро рванулась к ней и обняла ее за плечи.

— Ну, что же это, Маринка, за несчастье такое! — сказала она отчаянно; кремовая прядь выпала из ее волос и скорбно накрыла щеку.

— О чем вы беспокоитесь, мама? — сказала Марина спокойно и стала оправлять свою хитро налаженную шляпку. — Я ведь уже сказала вам, что я к этому делу не имею никакого отношения... так я и скажу, а оттуда пройду в библиотеку обменять книги.

Вместе с маленькой ветхой сумочкой, пестро расшитой обтрепанным шелком, она держала две серых библиотечных книги с белыми наклейками по корешку. И той же качающейся, чуть вызывающей походкой, шурясь на людей, встречаясь с ненавидящими женскими глазами и любопытствующими, быстро вспыхивающими глазами мужчин, — она ушла в это талое утро. Город, закиданный ночной метелью, дымился, как запаленная лошадь. Мокрый снег месился в грязь, и страшное уныние лежало на всех этих мокрых заборах, вывесках и отяжелевших от сырости проводах. Марина Веневцева прошла по Почтамтской, мимо желтого казенного здания почты, и вошла в дом охровой такой же и казенной окраски. Там она пред'явила повестку и села на простую скамейку, сложив на коленях сумочку и две книжки из библиотеки в мраморно-серых ученических переплетах. Через четверть часа следователь вызвал ее к себе.

Следователь предложил ей сесть, и она села подле его стола, на котором лежали синие и желтые равнодушные папки с делами. Она сидела, так же положив на колени книги и сумочку, и глядела, сощурилась, очень покойно и ясно, на следователя. Это был еще молодой человек, с ячменным размывом волос, почти по-крестьянски белых, очень притушенный и неторопливый. Он дал ей сесть и освоиться, взяв ее со своими папками и не глядя на нее. Наконец, также взяв ее над папками и не поднимая лица, он спросил:

— Ваше имя?

— Марина Веневцева, — ответила она спокойно.

— Возраст?

— Двадцать три года.

Правая его рука с карандашиком поерзала по листу бумаги, левой он все еще перелистывал тетради подшитых дел. Она ответила еще на несколько мелких вопросов, он вписал их так же, не глядя на лист.

— Вы догадываетесь, по какому делу я вас пригласил сюда? — спросил он вдруг, отрываясь от папок, и ей открылись впервые его глаза. Это были умные, линияло-голубые и холодно-настороженные глаза.

— Вероятно, по делу об убийстве Наумки Блюмера... — ответила она, глядя прямо в эти незатуманенные глаза. И глаза вдруг дрогнули и прикрылись веками — на секунду, не более; они открылись снова и увидели, что она глядит на него, внимательно и словно слегка улыбаясь угаданному этому смущению. Он чуть покраснел и сказал,

словно мельком, опять потянувшись к этим синим и человеческим папкам с делами.

— Тем лучше, если вы сами догадываетесь. Это облегчит допрос и поможет вам, вероятно, дать нити к раскрытию этого преступления. Нам известно, что вы несколько раз бывали у убитого вместе с некоей Верой Гедвилло, бывшей с покойным в близких отношениях... Мне бы хотелось, чтобы вы дали именно характеристику этой женщины.

— Характеристику этой женщины я могу, конечно, дать, — ответила Марина Веневцева своим грудным голосом, — но это не имеет ко всему никакого отношения... Дело в том, что Наума Блюмера убила я, и произошло это в среду, 25 марта, в половине десятого вечера, в гостинице „Париж“. И я вам расскажу, как это произошло.

Следователь быстро поднял лицо и увидел те же сощуренные, близорукие прекрасные глаза, спокойно и, словно чуть улыбаясь, смотревшие на него. Вдруг он очень покраснел и низко наклонил голову, прикрывая лицо рукой и записывая то, что сейчас сказали ему.

— Если это действительно так, — сказал он через минуту, — во всяком случае, прямое признание, направленное к облегчению следствия, поможет и нам лучше разобраться, и облегчить вашу судьбу...

Он сказал эту нескладную фразу, чтобы выбраться из смущения, потому что меньше всего ожидал такого признания. Он мечтал об очень запутанных ходах следствия, которое могло бы обнаружить всю его находчивость и ловкость, а теперь все разрешалось эффектно, чрезвычайно скандально, но это уже не имело отношения к его достоинствам. И он сердился на себя, что невероятное это признание выбило его из обыкновенной выдержки.

— Я хотела бы вам рассказать обо всем, — сказала Марина Веневцева со вздохом, — но это очень долго, и я не знаю, найдется ли у вас время выслушать это. Все это надо начать очень издали.

Она стянула за чем-то с руки палевою перчатку. Следователь положил голову на руку, чтобы не видеть ее глаз и лучше сосредоточиться, и подумал, что следовало бы все это записывать чернилами, но не хотел переменить положения, чтобы ее не спугнуть. Марина Веневцева задумалась, глядя мимо него в окно, на серый, угрюмый и полный земного тумана день.

— Я родилась в доме, который выстроил мой отец в трех верстах от этого города. Мама моя была замечательная красавица, она и сейчас очень еще красива... и отец нарочно выстроил дом за городом, чтобы ее никто не видел. Он ее очень ревновал и мучил. Он был богатый и взял ее из бедной семьи, и поэтому он делал все, что хотел. Дом наш был угрюмый, мебель всегда стояла в чехлах, и свет зажигали только в тех комнатах, в которых жили. В других комнатах было темно, и мы, дети, боялись этих комнат. Нас было пять человек, трое братьев, из них живы сейчас только двое — Валентин и Олег, и сестра Надежда. Я очень хорошо помню наше детство. Мы редко видели отца, и мама жила затворницей. Это было невеселое детство...

Марина Веневцева задумалась на минуту снова.

— Теперь этот дом сгорел... в нем была колония для беспризорных, и беспризорные в прошлом году его сожгли. Братья наши росли грубыми и распущенными, Олегу сейчас 14 лет, и он не умеет даже читать как следует. Отец нас любил, но приездов его мы боялись, и свободнее бывало, когда он уезжал по делам. Меня и сестру Надежду отдали в институт для благородных девиц, вы знаете, наверное, это здание. Теперь там помещается исполком. В институте нас учили, как сидеть за столом и в гостях, и как есть. Сестра Надежда института не кончила, потому что сошлась в старших классах с офицером. Здесь тогда были летние маневры, и стоял кавалерийский полк. Ее выгнали из института, и отец прогнал ее из дому. С этим офицером жила она плохо, мама тайком помогала ей, и я носила ей деньги. Мне ее не было жалко нисколько, и меня волновало, помню, как это она живет с чужим мужчиной... У нас устраивались институтские балы, и мы целовались с гимназистами и кадетами за шубами в швейцарской. Это всегда было весело и любопытно. Я в 15 лет была нескладная и высокая и казалась старше. Поэтому меня иногда целовали взрослые мужчины, я приходила домой и всегда рассказывала об этом маме, и она ужасалась. Старшего брата Адексея убили во время войны. Я во время войны и кончила институт и вернулась в дом. Мы стали жить с мамой вдвоем, как две затворницы. Офицер бросил между тем сестру Надежду, и она поступила на службу, сестрой милосердия. Она мне рассказывала, что она сошлась еще с одним человеком; в общем, она жила очень худо, и мама боялась принимать ее в доме. Мы всю войну жили в нашем доме, не выезжая, и в общем ничего не знали, что делается. У нас была экономка Марья Кузьминична, хромая, и я узнала, что с ней живет брат Валентин. Валентину было тогда 16 лет, он был страшно грубый и ничему не учился. Однажды я спросила его:

— Это правда, что ты живешь с Марьей Кузьминичной?

Он страшно рассердился и стал ругать меня, а потом он рассказал мне еще, что лишил невинности Верку Гедвилло. Верка Гедвилло была моя подруга по институту, она была черная, как цыганка, и первая пересмешница в нашем классе. Я сначала ему не поверила, но он показал мне ее письма и прядь волос и рассказал, как все это случилось. Он ужасно этим хвастал, и я от ужаса проплакала целую ночь. А потом я стала думать, как же так, что Верка теперь женщина, и сестра Надежда давно женщина, а я ничего не знаю. И я очень хотела поскорее тоже стать женщиной. Отец стал брать Валентина с собой, чтобы приучить к делу. Отец тогда поставлял скот на армию и был очень богат. Во время этих поездок с Валентином случилось несчастье. Они ночевали с отцом где-то на пеньковом заводе, и Валентин познакомился с какой-то трепальщицей. Вы знаете, что такое трепальщица? Она треплет пеньку и выбивает из нее костру — сухой конопляный стебель. С этой трепальщицей он забрался куда-то на бунты пеньки и провел всю ночь, и потом обнаружилось, что она его заразила.

Я помню, он все возился с какими-то жирными каплями и спринцовками. Валентин после этого распустился совсем и приставал ко всем женщинам. Он был здоровый на вид, такой же сильный, как отец, и многим он нравился. Однажды отец приехал очень не в духе, он все швырял и сказал маме:

— В войсках бунт, дождались, теперь пойдет; надо спрятать все в банк, в доме ничего не держать.

Марья Кузьминична, которая все знала раньше всех, рассказала, что теперь война будет кончена, потому что никто не хочет воевать и будут громить богатых людей. Мы совсем ничего не знали, что делается там, снаружи, и все это было тревожно и любопытно. Вы простите, что я рассказываю все это вам, но иначе мне было бы трудно рассказать о главном.

Марина Веневцева оторвала взгляд от окна, она поглядела на следователя, он быстро писал, склонив свою бело-ячменную голову, и она продолжала:

— Потом была революция. Это было тревожное время, особенно здесь, в наших краях. Вы знаете, как это было на Украине. Дела отца сразу упали, и он почти все время находился дома. Тут узнала я его ближе. Он был грубый, властный, предприимчивый человек. Но он был не плохой человек и никогда ни перед кем не заискивал. Я могу сказать, что я его боялась и любила. Боялась его и тоже любила мама. За этот год он сдал как-то сразу и часто болел, чего с ним никогда прежде не было. Я бы даже сказала, что в этот год он стал примиреннее, и сестра Надежда стала впервые приходиться к нам. Вот отсюда, собственно, начинается моя теперешняя жизнь, но наверно вам было бы все непонятно, если бы я не рассказала предыдущего.

Когда на Украине началась гражданская война, к нам в дом впервые пришли чужие люди. Мы совсем не видели за последние годы людей, и я помню, как с братом Олегом мы носились по дому и ликовали — так было это тревожно и ново. Это был комиссар Литваков с отрядом сербов, — о Литвакове вы, конечно, слышали. Красные спешно отступали, и Литваков вез с собой золото, кажется, из Киева, который был занят немцами. Я ничего еще не понимала, что происходит, и сербы, которые охраняли ящики с золотом, казались мне героями. Они были высокие, очень вежливые, целовали маме руку и пели по вечерам свои печальные песни. Я очень любила слушать, как они поют. Одному из них, Ягичу, я понравилась, и он гладил мою руку, когда пел, — это было мне приятно, и я готова была отправиться с ним на самые опасные дела. Брат Олег тоже не спускал с них глаз. Литваков был очень озабочен, он целый день сидел над картами, и потом я узнала, что по следам Литвакова идут немцы. Марья Кузьминична ездила в город на базар, и на базаре она узнала, что немцы совсем под городом. Литваков все поджидал подхода красных войск, и в эту ночь он решил бежать.

Под вечер мы очень долго ходили по саду с Ягичем, он держал меня правой рукой за талию и все вздыхал и целовал мою руку. Он был высокий, сильный, и если бы он позвал меня с собою, я бы бежала с ним. Но он меня не звал с собой никуда и только вздыхал и целовал мою руку. Он обещал мне, что еще вернется к нам и что будет просить у мамы позволения увезти меня к себе в Сербию, там у него дом, и мы заживем вместе. Он меня ни разу не поцеловал, и целовал только мои руки, то одну, то другую. Я себя чувствовала взрослой, и все это было так приятно и ново. А в ночь Литваков ушел. Мы провожали их во дворе, сербы всем очень понравились, и наша Феклушка была от них совсем без ума. Мама тоже провожала их, а отец был убит всеми этими делами и не выходил из комнаты. Мне было очень грустно, когда ушел Ягич, и я не знала, что с собой делать. Была уже осень, в нашем саду было совсем черно и кричали молодые совы. Я накинула на себя платок, села на террасе и смотрела в черный сад. Я помню, что мелкий дождь зашумел о крышу, и все это было так грустно, что я заплакала. Потом пришла мама и увела меня в комнаты... А утром пришли немцы. Мы выбежали с Олегом на дорогу и увидели, как они спускаются с горы на конях. Они были серые, точно вырезанные из папье-маше. День был очень светлый, и было весело видеть, как едут странные люди на конях, точно на картинке. И я сейчас же забыла все и страшно обрадовалась и заволновалась, так было все это необычайно.

Немцы приехали в наш дом, и сразу в доме все переменялось. Они заняли наши парадные комнаты и устроили в гостиной штаб. И вечером было в доме так, точно был бал и съехалось множество гостей. Немецкий майор велел снять с мебели все чехлы, и всюду пылал свет, все люстры были зажжены в комнатах, и мы не узнавали нашей гостиной. В ней никогда не зажигали прежде огня, и сейчас она была праздничной и хотелось наряжаться. Мы с Надеждой нарядились в самые лучшие наши платья, Надежда подкрасила губы себе и мне, и мы страшно и без причины хохотали перед зеркалом. Немцев было много, они все были рослые, некоторые из них были очень красивы, и в нашем доме запахло сигарами и духами. В кухне тоже все было необыкновенно, там пылали печи и готовили немецкие повара в белых колпаках. И Феклуша, и Анисья, и Марья Кузьминична были вне себя от восторга. Мы спустились вниз, как хозяйки, и стали помогать маме хозяйничать. Мама тоже принарядилась и была совсем красавицей. Она очень понравилась немецкому полковнику, и он за ней ухаживал весь вечер. А за нами ухаживали все остальные, и было страшно весело. Один очень хорошо играл на рояле, и весь вечер были танцы, мы танцевали вальс с каждым по-очереди, и каждый прижимал к себе иначе и говорил на ухо глупости. Я тогда очень хорошо понимала по-немецки. Все это ужасно было похоже на наши вечера в институте, и мы с Надеждой танцевали до упаду. Я очень понравилась немецкому лейтенанту, он был веселый и рослый, и я понравилась еще другому, этот был весь сухой и бледный,

и мне сказали, что он из древней фамилии. У немцев было с собой вино, они подпоили нас за ужином, и даже мама подпила немного, и за ней все время ухаживал немецкий полковник. Тот высокий веселый, которому я понравилась, попросил меня проводить в его комнату за папиросами. Мы незаметно вышли и поднялись наверх, а наверху в коридоре он стал целовать меня, и я отвечала ему, потому что он мне нравился и я была тоже немного пьяна. Если бы он позвал меня к себе в комнату, я бы наверное пошла с ним, но он только меня целовал и достал папиросы. А потом я увидела, как Надежда пробиралась с другим по лестнице, у них не хватило терпения добраться доверху, и они целовались на лестнице. Наш дом сошел с ума. Никогда в нем не было так весело и светло.

И вот, немцы остались у нас целую неделю. Отец не хотел видеть этого всего и утром уехал на мельницу: мельница тогда еще действовала. По всем коридорам бегали денщики и прислуживали нам за столом. Мама разливала суп, как хозяйка, и немцы пили за ее и за наше здоровье. Это было очень веселое время. Нас с Надеждой то-и-дело просили чистое полотенце, или — что-нибудь пришить, и когда мы шли по коридорам и лестницам, нас ловили разные офицеры и целовали. Мне было очень любопытно, как целуется этот с усами, и как тот — безусый, и я целовалась со всеми. Я чувствовала себя взрослой, и мне хотелось узнать все. Один целовал меня в ухо, и это было очень щекотно и почему-то стыдно, другой, смотря на меня, складывал как-то так свои пальцы, что я смотрела на них и ужасно громко смеялась, хотя ничего не понимала. Я очень тоже понравилась другому полковнику. Он был маленький и круглый, с седьми усами. Он называл меня „Mein liebes Mariechen“ и сажал меня к себе на колени. От него хорошо пахло духами, и я позволяла целовать себя в шею и в грудь, хотя он был старый. Он надевал на меня свою каску и шинель и выводил на балкон. Он стоял со мной рядом, и проходившие внизу солдаты отдавали мне честь, и я отвечала им. А офицеры аплодировали мне и бросали наверх цветы. Я совсем обо всем забыла, что делается кругом, и была как во сне. А вечером прибежала Марья Кузьминична и сказала, что немцы поймали сербов, а Литваков с деньгами убежал. Я сначала не поняла ничего, а потом все поняла и побежала вниз. Сербов посадили в каменную кладовку, и у двери стоял часовой. Он меня не пустил, тогда я побежала к полковнику и стала просить, чтобы он пустил меня к сербам. Он велел меня пустить, и я пошла к ним. Сербы были очень грустны, и я увидела Ягича. Он посмотрел на меня так печально, что я сразу вспомнила все, что мы обещали друг другу. Он сказал мне, что теперь не на что надеяться и что им будет очень плохо. Но я сказала, что я обязательно устрою так, что его выпустят, и побежала к полковнику. Он сидел в гостиной и курил. Я сказала ему:

— Пожалуйста, велите освободить серба Ягича, которого ваши солдаты заперли внизу. Он ни в чем не виноват.

Я помню, как он выпустил колечко дыма, он замечательно умел пускать колечки, и сказал мне:

— Хорошо, милая Марихен, если вам так нужен этот серб, мы его выпустим, только не раньше, чем завтра утром.

Я страшно обрадовалась и побежала вниз сказать Ягичу, что его выпустят завтра утром. Но он не поверил мне и был все же очень грустен. Я принесла сербам печенья и еды, и вечером опять они пели свои печальные песни, от которых хотелось плакать. Мне стало грустно, и я ушла на балкон и стала там плакать. Потом на балкон пришел тот сухой, бледный немец, который был из древней фамилии, он сел со мной рядом и стал меня утешать. Потом он поцеловал меня, и мы целовались весь вечер, и тут я впервые узнала, что можно так целовать, у него был острый язычок, как у змеи. Утром я очень долго спала и не хотелось вставать. Вдруг пришла Феклушка и повалилась на пол и стала причитать. Я вскочила, и она рассказала, что всех сербов утром повесили. Это было ужасно! Я дрожала и плакала, и кричала, и мама совсем со мной потеряла голову. Я возненавидела немцев и ужасалась, как я могла целоваться с ними. Феклуша убивалась вместе со мной,—оказывается, у нее был сговор с одним из сербов. Мы вместе плакали, и мне казалось, что погиб единственно мною любимый, и я боялась ночью остаться одна... А через два дня немцы ушли. Они снялись так же быстро, как и пришли, и мы узнали, что красные получили подкрепления и наступают. Я видела из окна, как немцы собирались, они были совсем другие теперь, — серьезные и жестокие, и для полковника запрягли нашу коляску с двумя лошадьми, Сусликом и Милым. Это были мои любимцы, я всегда кормила их сахаром, и я не знала, что немцы просто их с собой угоняют. Немцы ушли, и я заставила себя выйти из комнаты. В доме прибирали, как после большого бала, надевали на мебель чехлы, и все стало опять по-будничному. Надежда очень грустила, я сказала ей, что ненавижу теперь немцев, а она сказала мне, что я дура, и что так и надо сербам, потому что красные — разбойники и грабители. И она сказала мне еще, что Валентин в Херсоне присоединился к красным, и отец отрекается от него. Мне было совсем все равно, кто такие красные, но Валентина я все же жалела, хотя он и был распушенный, и подумала, как может Надежда говорить об этом так злорадно, когда отец только недавно отрекся от нее самой, и она знает, как это худо.

Вести шли из уезда все тревожней, и Марья Кузьминична подбирала их. И под вечер так же неожиданно, как пришли немцы, появился отряд. Это был отряд особого отдела или Чека... в доме у нас все забегали, заволновались, а потом пришел начальник отряда с другими. Они были очень грубые и сразу стали кричать, что мы давали немцам приют и что мы предали Литвакова... это была неправда, мы ничего не говорили немцам про Литвакова, а как же мы могли бы не пустить немцев в дом?.. Чекисты были все время настороже и выста-

вили всюду на дороге посты. Они обыскали дом и нашли у отца оружие. Мама объясняла, что отец всегда берет с собой оружие в уезд, но они не поверили и требовали, чтобы мы сказали, где сейчас скрывается отец. А ночью у одного разорвалась ручная граната, он уронил ее на пол, и она разорвала его на куски. Куски его мозга висели утром на дереве, как серые слизняки, и так как я близорукая, то я приняла их за коконы бабочки и даже потрогала один пальцем... это было так скользко и ужасно, что я до сих пор не могу забыть этого ощущения. Чека пробыла у нас в доме два дня, они реквизировали у нас много вещей и белья для солдат и ушли. А потом мы узнали, что отца все-таки нашли на мельнице и расстреляли... Мы с мамой и Надеждой бросились туда, я никогда не забуду этих ужасных дней... Потом мы узнали, что на него донесла Марья Кузьминична, то-есть она нагала на него, что он помогал немцам, это была неправда, но оказалось, что отец дал ей на сохранение золотые, и она думала, что если его убьют, то их не придется возвращать. Но она ошиблась, потому что золото у нее отобрали бандиты, которые налетели на наш дом и два дня держали его в своей власти. После бандитов пришел атаман Шура, а потом петлюровцы, и они пытали нас, правда ли, что мы помогали красным... Дом наш совсем ограбили, оставаться в нем стало невозможно, и мы переехали в город.

Марина Венецева достала из ветхой своей сумочки платочек и вытерла пестрой его каемкой уголки глаз.

— Мы поселились в маленькой квартирке,— сказала она далее, минуто спустя,— всего в двух комнатах, и мама все время плакала. Сестра Надежда поступила на службу, чтобы как-нибудь нас кормить, и мы жили вчетвером и очень тосковали. Потом я тоже поступила на службу в учреждение. Там зимой не топили, и у меня начался ревматизм рук. За мной стал ухаживать заместитель начальника. Это было напудренное ничтожество, вот в таких галифэ. Он сделал меня своим секретарем и перевел к себе в кабинет. Мы очень голодали в это время, а он все время устраивал мне разные выдачи. Однажды он позвал меня вечером для вечерней работы. Он устроил свой кабинет в будуаре бывшей владелицы, и там были ковры и стояла мягкая мебель. Я пришла в девятом часу. В учреждении никого не было, только внизу дежурила курьерша. Он уже ждал меня и курил. Я села за стол, но работы никакой не было. Он сел со мной рядом и сказал:

— Я могу вам устроить повышение по службе, и вообще вам будет хорошо, если вы будете послушной.

Я спросила:— Что я должна делать?

Он сказал:— Неужели вы сами не знаете?

Тогда я сказала, что я девушка. Он засмеялся и сказал, что девушек теперь не существует. А я сказала, что я все-таки девушка. Он мне не верил и смеялся. Тогда я возненавидела его и сказала ему, что могу ему доказать, что я девушка. И я из злобы и отвращения к нему доказала. Это было так больно и омерзительно! Я ни-

когда не забуду этого пустынного учреждения ночью, было очень холодно, и я лежала и думала, что все все равно. Потом я ушла и пришла домой. Я думала: Вот и все. Как просто.—И я заснула. И вот, мое девичество кончилось, и я стала женщиной. Так вот, о чем я мечтала девчонкой! Об этой нестерпимой боли и унижении. Утром, одеваясь, я увидела на белом своем чулке три маленьких пятнышка. Потом я еще несколько раз ходила в учреждение ночью, и мне было все совсем все равно, я ничего не чувствовала, кроме презрения к нему, а он, действительно, устроил мне повышение, и я получала выдачи больше других. Мы тогда этим жили, и я была рада, что мама не голодает. Потом его сместили, и на его место поставили армянина, с которым я тоже очень быстро сошлась. Он меня терзал и бил, и я от него ходила в синяках, и мне все хотелось, чтобы он прибил меня больнее. Его скоро арестовали за какую-то проделку, он писал мне из тюрьмы отчаянные письма. Я два раза носила ему передачу, и мне было жалко его, потому что он был совсем дикарь и сумасшедший, и потому, что мне нравилось, что он такой необузданный. В это время сестра Надежда сошлась с одним человеком и стала жить с ним, как жена с мужем. Его звали Николай Владиславович. Он переехал к нам, и они стали жить в одной комнате, а я с мамой и Олегом в другой. Он был много старше Надежды и очень серьезный. Кажется, он был по образованию статистик. Я ему очень нравилась, и он со мной часто шутил. Иногда он меня целовал в щеку по-родственному, при Надежде. Никто на это не обращал внимания, и мама была счастлива, что Надежда, наконец, устроилась. Однажды я отпросилась и ушла со службы днем. Мамы и Олега не было дома, не было и Надежды. Один Николай Владиславович был дома и занимался. Он был нездоров и на службу не пошел. Он очень удивился и сказал мне:

— Так рано? Ну, вот это хорошо. По крайней мере, мы потолкуем как следует.

Я сняла шубу, и мы сели с ним на диван у печки. У него был жар и руки слегка горячие. Он был все же еще очень красив, со светлой бородкой и стальными глазами под пенсне. Он обнял меня за плечо и стал расспрашивать о многом. Как-то было приятно говорить, и мы говорили обо всем, и хотелось, чтобы подольше никто не возвращался домой. Потом я почувствовала, что он гладит мое плечо, я зажмурилась, мне было это приятно. Потом он положил мне руку на грудь, я ужасно удивилась, но ничего не сказала, и он стал гладить мою грудь. Я закрыла глаза и вся точно плыла куда-то. Тогда он стал целовать меня в шею и сказал, что очень часто бывает так, что две сестры близки с одним мужчиной. Мне вдруг показалось это ужасно забавным, что у меня и у Надежды может быть один общий муж. Я сняла с него пенсне, глядела ему в глаза и смеялась. Он тоже смотрел в мои глаза и поцеловал в губы. И я ему все позволила... Он запретил мне рассказывать что-нибудь о том, что было, Надежде,

а мне было весело и как-то необычайно, что теперь у меня с Надеждой общий муж, я помнила, как я мечтала быть взрослой, когда Надежда еще в институте сошлась с офицером, и завидовала ей. А теперь я была женщина, такая же взрослая женщина, как и она, и человек, который с ней живет, обманул ее со мной. И мы стали жить втроем, и мне было ужасно хорошо, что он ждет меня, как муж, дома, и я его ревновала к Надежде. Он смеялся и говорил, что ничего к ней не чувствует, что она — рыба, а я — огонь. И я старалась ему доказать, что я огонь, он меня страшно испортил, а потом говорил, что испортил на свою голову, и было совсем непонятно, как он, ученый человек, может быть так испорчен. Николай Владиславович был, в общем, холодный человек и эгоист, и он больше всего боялся неприятностей, чтобы только что-нибудь не обнаружилось, он больше всего берег себя. Раз он мечтательно обидел, он сказал, что я наверное путалась со многими мужчинами и что от меня пышет развратом. Это было после того, как он меня сам развратил! Я проплакала весь день, а вечером вывела Надежду во двор и там рассказала ей все про мою близость с ее мужем. Я никогда не видала ее такой ужасной, она готова была выключить у меня глаза, она возненавидела меня с такой силой, что я поняла, что прежнего никогда не скрепить.

А на другой день меня прибил Николай Владиславович, этот ученый человек. Он нарочно дал маме деньги на базар и бил меня, как потаскуху, кулаком по спине и по лицу, он разорвал на мне всю кофту, я осталась перед ним почти голой, а он кричал мне: — Тварь... дрянь... потаскушка... — А потом, когда он увидел меня совсем голой, тут случилось самое ужасное, чего я никогда не забуду, потому что я ненавидела его до бешенства и отвращения и оплевала ему весь пиджак. Он стал, как зверь, он изодрал на мне все, он ломал мне руки, я сопротивлялась как могла, но он стал на меня коленом, точно на доску, и у меня пропали все силы. И вот он, который только что бил меня и которого я ненавидела как могла, этот ученый, немолодой человек вспомнил, что я ему была женой до сих пор и он может быть мужем, когда захочет... И он поступил так, как захотел, и ушел. Я осталась лежать, и это все было ужасней, чем тогда, в первый раз... в учреждении ночью. И я так страшно рыдала, когда мама вернулась с базара, что она совсем растерялась, бедная мама, и хотела бежать за доктором, а я чувствовала, что во мне растоптано все, и я никогда не буду прежней. Я все-таки всегда много думала о любви, может быть, не по-институтски, как другие, но я все-таки всегда думала, что это красиво, возвышенно, чудесно... И что же я узнала? Я была легкомысленной, это правда, но я никогда не хотела, чтобы было так, как все происходило со мной — может быть, я мало сопротивлялась этому всему... Надежда устроила перевод в Киев, и они уехали. Все-таки она ему простила. Я кончила с одной службой, меня уволили после истории с армянином; потом его расстреляли за какой-то шантаж. Но надо было жить, и я поступила на курсы кройки. Мама умела

хорошо вышивать, и мы могли бы с ней прожить, занимаясь этим. На курсах мы кроили из бумаги, я кроила очень неплохо, и Марья Саввишна, бывшая портниха, однажды оставила меня у себя после занятий. Она была большая и усатая, как жук. Она сказала мне:

— У вас, милая моя, хорошая фигурка, а здесь в городе красивые женщины могут что угодно себе заработать... Вы знаете, если вы будете с умом, то можете получать и гречневую крупу мешками, и сало, на которое вы теперь только облизываетесь.

Я сказала ей очень спокойно: — Научите меня, Марья Саввишна, как получить мешок гречневой...

И Марья Саввишна научила. Дело в том, что у нее была большая клиентура и очень влиятельная, она со всеми дружила, и поэтому ее никто не смел ни в чем заподозрить. Она меня свела с каким-то человеком, он был маленький, весь в рыжем пуху и в золотых очках. У Марьи Саввишны был самогон и пирог с морковью. Все дело обстояло так, что человек этот искал машинистку первого разряда, а в городе были ужасные машинистки, и он был доволен, что Марья Саввишна устраивает ему хорошую машинистку. Он служил в продкоме и звали его Наум Маркович. Он велел мне притти утром для испытания. Я оделась попроще, чтобы не обратить на себя внимания других, и пошла к нему в продком. Я не накрасила губ, хотя теперь красила их постоянно так ярко, что женщины ненавидели меня, а мужчины оглядывались при встрече. Наум Маркович заставил меня для приличия подождать в приемной, потом он впустил меня к себе в кабинет, продиктовал что-то и принял на службу. Я ходила к нему на службу, и он целую неделю был со мной очень вежлив, и мама очень радовалась, что я, наконец, устроилась. Он устроил мне большую выдачу, и ее доставили на дом, так что не пришлось волочить через город: тут была и крупа, и мука, и сало, — Марья Саввишна не обманула меня. Я знала, что все это не от доброго сердца, и ждала, когда он потребует платы. Раз он велел притти мне вечером для занятий. Я пошла. Я шла и вспоминала эти вечерние занятия в нетопленном чужом будуаре — тогда, в первый раз. Наум Маркович ждал меня в кресле. Он был совсем желтый и похож на лисицу. Он начал что-то диктовать, а потом прервал и стал ходить по комнате. Он очень, видимо, волновался, а я наблюдала за ним и ждала, чем все это кончится. Наконец, он сел на диван и попросил меня сесть с ним рядом. Я села. Он вдруг спросил меня:

— Я вам не противен?

Я сказала: — Нисколько.

— Вы могли бы доставить мне большое удовольствие? — спросил он еще.

Я сказала: — Зависит от того, в чем оно заключается.

— О, для вас это совсем пустяк, — сказал он. — Могли бы вы распустить волосы?

Я сказала: — Конечно.

— Нет, только не вы сами... я сам распушу их!

Я села в кресло, а он стал вытаскивать из моих волос шпильки, руки его страшно дрожали, он распустил волосы и вдруг стал тереться о них лицом. Он совсем обезумел, рвал их, мне было больно, и я отталкивала его. Я его оттолкнула, наконец, и сказала насмешливо:

— Зачем вам все это предисловие?.. ведь я знала, зачем я сюда иду и за что я получаю от вас продукты... кроме того, меня обо всем предупредила Марья Саввишна.

Он весь вдруг побледнел, даже позеленел, точно страшно испугался моих слов. Я сидела на диване и ждала его. Но он запрятался за кресло и сказал мне оттуда, что не подойдет ко мне и что я совсем не поняла его и поэтому отняла у него мои волосы. Я спросила у него, на что ему мои волосы. Он продолжал говорить оттуда, что нет ничего выше женских волос и что на них он ничего не променяет. И я тогда поняла все, почему он боится выйти из-за кресла и подойти ко мне, я стала одеваться и сказала ему насмешливо:

— В первый раз вижу мужчину, у которого нет сил!.. зачем же вы звали меня вечером и скормили мне зря три пуда крупы.

Он все еще стоял за креслом, зелененький, ненавидящий — и я ушла. Больше я не вернулась туда, и мы с мамой и Олегом доедали наших незаработанных три пуда крупы.

Я уже сказала, что я научилась красить губы и подводить глаза. Мне нравилось идти по улице и видеть бешеные взгляды женщин и горячие глаза мужчин. Мне хотелось возможно больше мужчин, одного за другим, видеть, как эти уверенные, крупные люди, спешащие по своим делам, вдруг останавливаются на ходу от одного взгляда девочки, сворачивают назад и плетутся за ней, забыв обо всем в мире. Я не могу сейчас даже приблизительно сказать, со сколькими я так познакомилась. Это были и чужие мужья, и много военных, и несколько коммунистов. Но все они хотели только одного, и никто ни разу не подумал обо мне, что же я из себя представляю. А я хочу сказать, что не была же я таким уж пропащим существом, которое ни на что не годно. Я в институте отлично усвоила языки и хорошо говорила, и я очень хотела иметь ребенка. Это я правду говорю, что, несмотря на все, я очень хотела иметь ребенка, и если бы нашелся такой человек, я бы наверное очень много отдала ему, но кому я нужна бы была с ребенком! Всем этим людям, с которыми я знакомилась, было нужно от меня только одно, а я была им совсем не нужна, и вот тогда я решила, что пусть будет так. Я им всем буду кружить головы, и они все будут моими. Это очень забавляло меня, меня возненавидели жены половины города и пошла слава, что я развратница. А мне это нравилось, что обо мне думают так, и я ходила по улицам и вызывающе смотрела на мужчин. Днем мы вышивали с мамой, и она носила в базарные дни продавать, и мы на это жили втроем. А Олег ничего не хотел делать и ничему не хотел учиться,

он стал совсем уличным и грубым, и ему было 14 лет, а он не умел читать. А по вечерам я уходила на свидания, и мне весело было видеть потом злые лица женщин, которые ненавидели меня и сплетничали про меня, а их мужья только вчера принадлежали мне целиком. Все же я успевала много читать и бегала в библиотеку за книгами. Я очень много прочла книг за эти годы, и в книгах было одно, а жизнь была совсем другая. И вдруг приехала сестра Надежда, она разошлась с Николаем Владиславовичем и вернулась к нам, потому что ей некуда было деваться. Она долго плакала и просила у меня прощения, Николай Владиславович оказался холодным и неверным человеком. Она стала жить с нами и скоро поступила на службу. Она была старше меня на пять лет, и я заметила, что она уже начинает отцветать. Мне было 22, и я ужаснулась, что мне еще цвести пять лет, и я так пропущу жизнь мимо себя. Я где-то прочтала, что в древности были жрицы любви, и мне хотелось стать такой жрицей, чтобы передо мной на коленях были все мужчины... И вот тут я познакомилась с двумя интересными мужчинами, очень известными в городе. Случилось это также на улице — в одном случае, и в другом — в кинематографе, и один из них был — бывший адвокат Ростовцев, — вы его знаете, конечно, потому что сейчас он помощник прокурора. Другой — коммунист Редько, комиссар штаба... Видите ли, я должна сказать, что людей этих я любила.

Марина Веневцева на минуту закрыла глаза, словно хотела все вспомнить, ничего не пропуская.

— Этих людей я любила очень искренно. Я познакомилась с ними почти в одно время и не обманывала их ни с кем. Они знали друг про друга, я не сказала им ни одного слова неправды. Ростовцев устроил меня на службу в качестве архивариуса, я разбирала дела в архиве и давала справки. Дела там лежали на полках до самого потолка, и я думала о том, что каждое дело — это история целой жизни. Ростовцев был образованный, очень воспитанный человек; он был много старше меня, и ему нравилось, что у него молоденькая любовница. Но он ни разу не подумал расспросить меня, как я живу и счастлива ли я. Я была очень удобная, я ничего не требовала и никому ничего не рассказывала, и я не могла иметь ребенка, потому что оказалась бесплодной, как смоковница, и это было мужчинам очень удобно. По воскресеньям я приходила заниматься к нему на дом. Его жена была врач, и ей нужно было сделать вид, что она выше ревности, потому что она передовой человек, но я знала, что она меня ревнует и ненавидит, хотя она всегда называла меня милочкой. Я много вечеров провела с Ростовцевым, жена уезжала на практику в уезд, и мы сидели у него в кабинете. Я садилась на диван по-турецки, рядом с ним, и он рассказывал мне о Европе, где он бывал. На столе горела лампа под лиловым платком, и у него было прекрасное тонкое лицо и седые виски, которыми я любовалась. Я сидела и смотрела на него, не мигая, я умею смотреть так — немного

в переносицу, отчего мужчины всегда волнуются, и я видела, что его тоже беспокоит мой взгляд, и он, наконец, говорил мне:

— От вас, Маринка, на целую версту пахнет развратом...

Это было грубо и неверно, но я прощала ему, потому что мне самой нравилось, что я, девчонка, волную этого большого и уверенного в себе человека. Я его очень полюбила, и мне было с ним хорошо. Мне казалось, что я вот именно о таком думала в своих мечтаниях... Однажды я много рассказала ему о своей жизни и спросила его, почему все у меня всегда так не задается, и он сказал мне, что я попала под колесницу истории, то-есть очень многие попали под колесницу истории, целые классы, и я в том числе. Но ведь это была неправда, потому что я научилась жизни в 15 лет, когда из меня можно было сделать что угодно, и я любому поверила бы, и могла бы трудиться и много работать, и изучить Маркса, но это никому не было от меня нужно, а нужно было совсем другое. И значит, меня толкали под эту колесницу, а не сама я попала... Я очень много думала об этом потом, и я думала еще, что он сказал мне так, чтобы облегчить свою совесть.

Больше я никогда не начинала разговора об этом, и вообще я редко могла приходиться к нему, и тогда я уходила к тому, другому. Это был настоящий человек, мужественный, раньше он командовал дивизией. Мы с ним познакомились в кинематографе. Он был простой крестьянин, но добился всего сам, и был настоящий большевик. Сначала мы встречались в кинематографе и на улице, а потом раз я пришла к нему. У него была простая комната, и на стене оружие и Ленин, и больше ничего. У нас с ним очень долго ничего не было, и мы просто встречались с ним. Он очень боялся, чтобы товарищи не увидели, что к нему ходит женщина, и я приходила к нему только поздно вечером. Он меня как-будто опасался и садился всегда в стороне. Он мне много рассказал и пристыдил меня, что я ничему не учусь и не участвую в жизни. Он рассказал мне, как он учился в начальной школе, как поступил на завод и сам направил свою жизнь. Мне было стыдно, что я, которую столько учили в институте и которая знает все гораздо лучше его, — что я ничем не интересуюсь и не участвую в жизни. И я пошла в библиотеку и спросила Маркса. Маркса мне не дали, потому что его читали, а две румяньенькие ликбезки поглядели на мои ногти и губы и засмеялись, оттого что я спрашиваю Маркса. И потом я услышала, что они просят Пушкина. Мне стало непереносимо стыдно отчего-то, и я ушла домой. Я села на постель и сидела вся пьяная от тоски и вытирала кулаками упрямые, злые слезы. Я думала, что за настоящую любовь к себе, за настоящего человека, который надо мной задумался бы, я бы изучила и Маркса, и от себя бы всей отказалась, и губы перестала бы красить. Но у одного была жена, и я любила его, а он забавлялся, когда я приходила. А другой стеснялся моих приходов и умолял меня не носить шелковых юбок, потому что они очень шуршат и

товарищи за стеной могут услышать. Раз я пришла к нему, и он сел так же поодаль, как обычно. Я сказала:

— Какой же вы большевик, у вас руки женские.

Он посмотрел на свои руки испуганно и, правда, руки у него были женские. После того, как я ему сказала об этом, он стал их прятать и стеснялся их. У него были совсем льняные волосы...

И Марина Веневцева подняла на следователя свои прищуренные, словно полуприпушенные глаза и поглядела внимательно, как будто сравнивая, на его беловатую россыпь, упавшую ему на глаза.

— Да, совсем такие, как у вас, — сказала она через минуту почти задушевно. — И я ему сказала еще: — И какой же вы большевик, Николай, когда вы хотите меня и сам себя сдерживаете? Большевики когда хотят, то берут. — Он очень долго не сдавался и уверял меня, что это ему совсем не нужно, и все-таки все это случилось. Он потом сидел грустный, и я его утешала, как будто он был женщина, а не я. А он командовал дивизией и был очень храбрый человек. И вот, я в него поверила, он мне показался необыкновенным, и я даже целую неделю не красила губы и решила, что надо все кончить с Ростовцевым. Николай мне говорил, что он меня любит, но что сейчас никак нельзя, чтобы товарищи узнали про нашу связь, потому что это может подорвать его авторитет. Я его слушалась во всем, и мне казалось, что я нашла в нем единственного человека. Вдруг мы узнали, что брат Валентин сидит в киевской тюрьме, что его исключили из партии и что он обвиняется в том, что брал взятки. Все же Валентина мама очень любила, хотя он ничего не писал нам за последние годы, и мама расстроилась и плакала. Я обещала, что буду за него хлопотать и стала просить Николая, чтобы он принял в нем участие. Но он отказался и сказал мне, что он не имеет права ни за кого хлопотать и что есть партэтика. Тогда я спросила его, не из-за этой ли партэтики он скрывает нашу связь. Он очень обиделся, и мы едва не поссорились совсем. А потом кончилось все это, как обычно кончалось, и он был такой же, как все, и все-таки я очень хотела бы, если бы могла, иметь ребенка именно от него. Я ему раз сказала:

— Знаешь, Николай, если сделать операцию, я смогу иметь ребенка.

Он сказал: — Кто это тебя надоумил такой глупости? — и стал смеяться.

Мне хотелось заплакать, но я пересилила себя и тоже засмеялась. Так это прошло. Он был совсем простой, грубоватый человек, и он был по-мужицки хитрый. Но я все же научила его застегивать мне платье и шнуровать ботинки. Он становился передо мной на колени и шнуровал мне ботинки, а я клала ему ноги на плечи и говорила, что он совсем не большевик, у него маленькие руки, и он не знает жизни. Что настоящий человек должен уметь все, даже танцевать фокстрот. Я стала его учить танцевать фокстрот, он очень стеснялся и был неуклюж, и я все же его научила. Он умолял меня не напевать громко и не шуршать юбками, и он говорил мне:

— Знаешь, Маринка, тебя город испортил, а если бы тебя в деревню, ты бы стала отличной бабой, задатки у тебя хорошие.

Я ему сказала: — Сделай меня своей бабой и возьми с собой в деревню, и я буду тебе верная и буду работать.

— Нет, это нельзя, — сказал он со вздохом, — нам в деревне такие не нужны и работать ты никогда не научишься.

Он говорил всегда грубовато и никогда меня не провожал, хотя часто я уходила от него ночью. Я поняла, что это не то, но я знала, что он честный человек и никогда не даст меня в обиду. Я уходила от него и на другой день шла к Ростовцеву. Этот был совсем другой. Этот был тонкий, неуловимый, избалованный. Он охотно позволял целовать свои руки и не терпел, чтобы в его кабинете был беспорядок более пяти минут. Рáз я пришла немного раньше и раздевалась в передней, и вдруг услышала, как жена его сказала — очевидно, у них была ссора, — она сказала, эта передовая женщина, которая не должна ревновать: — Я требую, чтобы эта дрянь перестала сюда шляться, — и она хлопнула дверь. Я разделась и прошла в кабинет. Он был очень смущен и стоял в своем кабинете. Я ему сказала, — мне было очень горько:

— Юрий Алексеевич, я слышала, что сказала ваша жена про меня. Неужели у вас не нашлось ни слова в мою защиту? Ведь я поступила только так, как вы хотели, и я была совершенно бескорыстна, мне решительно ничего не было от вас нужно. Ведь я женщина и человек прежде всего.

Он виновато говорил что-то, что это бабский вздор и что этому нельзя придавать значения. Он усадил меня в кресло и предлагал курить, хотя знал, что я не курю. Он ходил по кабинету и потом сказал, протирая мизинцем глаз:

— Видите ли, Марина, вообще на некоторое время нам придется прекратить занятия. Дело в том, что я, кажется, занимаю прокурорский пост, и у меня будет другая работа, так что вот так...

— Вы отказываете мне от службы, Юрий Алексеевич? — спросила я.

— Нет, зачем же так... просто маленький перерыв.

Я не стала ничего говорить, этот человек становился помощником прокурора, и ему нужно было быть разборчивее на знакомства и связи. Про меня плохо говорили в городе, и я стала ему не нужна. Мы позабавились, это было очень приятно, и все хорошо, что хорошо кончается. Я оглядела его кабинет, лампу под лиловым платком, его благородную наружность — он наверное очень эффектен, когда говорит, и он умеет красиво играть низкими нотками своего голоса. Я очень долго и шурясь очень дерзко глядела ему прямо в глаза. Потом я сказала:

— Прощайте, прокурор. Успокойте вашу жену — больше я не приду к вам никогда.

Я ушла, а на другой день он прислал мне мои заработанные деньги. Они были высчитаны очень точно, по количеству отработанных

дней, с мелочью даже. Я подумала: да, такой прокурор может надолго запрятать человека, который ему не понравится. За что он так пошло, так дешево поступил со мной? Ведь я его любила, как умела, я ему не доставила никаких неприятностей, а он меня рассчитал, когда ему стало неудобно, — и только... Вот так со мной поступали всегда, и эти просвещенные люди, и другие, а я ко многим подходила со вниманием, и я во многих хотела, может быть, отыскать крохотное чувство к себе. И тогда я поверила в последнего, в Николая. Я знала, что этот никогда не поступит со мной так, у него простая душа, угловатая, но он — настоящий. И меня потянуло к нему со страшною силою... Я много раз спрашивала его о том, как бы мне устроить свою жизнь, и он говорил, что это все образуется, что, вероятно, его снимут с военной работы, и тогда все будет легче. Я любила его тело в золотом пушку, его руки, его стриженую упрямую голову. Я видела его иногда на улице днем, он проходил, как настоящий герой, у него был орден, который он получил за борьбу с бандитами, и он сам год назад убил атамана Шура, который нагонял ужас на всю губернию. Я начинала его обожать и сама боялась этого в себе. Он был сильный человек и все-таки мягкий и слабавольный в обыкновенной жизни, и я постепенно забрала его и он стал меня слушаться. Я его заставила побрить усики и ужасные фельдфебельские бачки, я научила его душить, он очень стеснялся этого сначала, а потом ему самому это понравилось. Я делала с ним, что хотела, и знала, что он мой, мой — и верила в него ужасно. Как раз в эту пору вернулся в город Наум Блюмер...

Марина Веневцева произнесла это имя и задумалась на мгновенье.

— Надо сказать, — она продолжала затем спокойно, — что Наума Блюмера, или просто Наумку, я знала раньше... Он служил у моего отца по заготовке скота, он был маленький, краснолицый, в рыжих веснушках сплошь, и у него были пальцы-обрубочки, ужасные пальцы, как свиные сосиски, и всегда красные. Он пригонял скот из уездов и постоянно приставал к нам, девчонкам, мы его называли почему-то „Рыжий Мык“, и он всегда угрожал, что разбогатеет, скупит наш дом и землю и нас выгонит из дома и устроится в нем один, во всех двадцати комнатах. Мы ему кричали: — Хвост потерял, коровник... — и бегали от него, а он бегал за нами красный, с шестом для быков. Так вот, Наумка Блюмер на эти годы исчез и вернулся в наш город с Черниговщины. Он был в английской кепке и в дорогой шубе, и я встретила с ним на Почтамтской. Он сейчас же разлетелся и сказал:

— Здравствуйте, мадмазель Мариночка, вы видите, каким Наум Блюмер вернулся в город? — И он тут же на улице снял перчатку и показал свои перстни и достал золотые часы. — Наум Блюмер вернулся уже не прежним босяком, — сказал он еще: — сейчас он сам подумает еще, в какой дом ему зайти в гости...

Я спросила его, от чего он так разбогател, и он рассказал, что занимался поставкой скота для армии, а сейчас приехал по делам и просто отдохнуть от работы.

— Да, меняются, меняются времена, мадамзель Марина, — сказал он мне еще, — кем я был у вашего отца? Пастухом. А сейчас я мог бы скушать вашего отца и даже не поморщился бы. И вот, я могу пригласить вас к себе на вечер и угощать шампанским, пока вы не захлебнетесь. Вы знаете, с кем я сейчас кручу? — с Веркой Гедвилло, вот вам и дворянка, а ее папаша меня со двора гнал. Что делать — голод. Факт.

Он так мне все это говорил и вечером позвал к себе в гостиницу „Париж“. Все это было занятно, он был, правда, богат, Наумка, и вечером я пошла к нему. У него был полный номер народа, масса вина, и я встретила там Верку Гедвилло, которую не видела с института. Мы очень обрадовались друг другу и целовались, и Верка рассказала мне, что отец ее умер, и что она сошлась с Наумкой Блюмером. Все это было чудовищно. Потом меня усадили за стол, мы пили и ели, и Наумка меня подпоил. Потом я почувствовала, что он жмет мне под столом коленку, у меня было омерзение к нему, но я позволила, и он мне сказал, что хочет поговорить со мной наедине. Мы вышли немного погодя из номера и сели на подоконнике в коридоре. Он сказал мне:

— У меня была жена, она стояла мне пять тысяч рублей, и я от нее не имел никакого удовольствия и рад, что я развязался с нею. Вы думаете, зачем я взял Верку? — просто от скуки, но Верка мне совершенно не нравится, и я хочу говорить с вами, мадамзель Марина. Вы живете с мамашей паскудно, это я уже узнал. Так вот, хотите жить со мной? Пять тысяч я на вас не истрочу, но вы будете хорошо одеты и сыты. И я тоже смогу появляться с красивой женщиной, так чтобы на меня все смотрели в театре или в кино.

Он так и сказал мне все это, я смотрела на его красные пальцы-коротышки и не знала, что мне делать, ударить ли его по лицу и уйти, или засмеяться, и я страшно боялась, что разрыдаюсь. Наконец, я сказала:

— Я не могу решить этого сама и должна посоветоваться с мамой.

Он остался очень доволен и сказал, что будет ждать меня с ответом завтра между 8 и 9 вечера. Все в этот вечер перепились в номере, а я отрезвела и сидела трезвая, и мне хотелось рыдать от унижения и ужаса, до которых докатилась моя жизнь. Я думала о Николае со страстью и болью, и я выбрала время и убежала отсюда около 12 ночи. Я шла через город, город был темен, были уже осенние ночи, и ветер посвистывал в проводах. Я часто приходила к Николаю поздно, и я шла теперь через город и сердце мое колотилось страшно. Он еще не спал и чистил охотничье ружье. Я ворвалась к нему и бросилась перед ним на колени. Я дрожала от злобы и отчаяния, и я рассказала ему залпом о встрече днем с Блюмером, о том, что я была у него вечером, и о том еще, как страшно он меня оскорбил... он хотел купить меня, как лошадь. Я повалилась на кровать и колотила

от злости ногами по карте, висевшей на стене... Я ждала, что он вспыхнет, что он загорится от всего этого, что он будет моим защитником, потому что кто же, кроме него, мог бы меня защитить?.. Что этого Блюмера надо уничтожить, растереть, как гадину... Но он пришел и сел со мной рядом на постель. Он рассеянно смотрел мимо, и я все ждала, что он скажет, наконец. Вдруг он спросил:

— Значит, он предлагал тебе, чтобы ты жила с ним, Марина?

Я кивнула головой. Он смотрел в угол и думал и, наконец, сказал еще:

— Если ты не рассердишься, Марина... мне кажется, что в твоём положении это было бы самое лучшее. В конце концов, надо же как-нибудь устраивать жизнь... нельзя же все так... — Он как-то неопределенно повел рукой. Я закаменела от ужаса и ждала, что будет дальше. А дальше ничего не было. Он говорил о моей жизни, что жить так нельзя... потом он говорил еще о том, что его завалили работой... и — да... он говорил еще, что началась уже обратная тяга птиц. Я его слушала и сидела на постели. И он ничего не сказал мне о нас, то-есть обо мне и о нем, которые жили вместе уже около года. Он меня совсем не любил и не жалел ни чуточки, ни капельки. А он был — лучший. Что же могла я требовать от худших, от того же Наумки? У того, по крайней мере, было все просто, деловито и без иллюзий. За это платят деньги, и он будет платить и заранее оговаривает, что это будет много меньше пяти тысяч, которых стоила ему его жена. Я сказала Николаю:

— Да, вероятно, ты прав, и на это надо согласиться.

Он очень обрадовался, что я это так легко приняла, и стал горячо меня уговаривать, и даже сказал, что мы ведь можем встречаться с ним, это нам не помешает. Было поздно. Я простилась с ним и стала уходить, и вдруг на столе, рядом с гильзами и мешочками с дробью, я увидела черный хорошенький браунинг. Я даже не могу сказать, почему я сунула этот браунинг сюда, в эту сумочку. Я ничего не замыслила, уверяю вас, вероятней всего потому, что вот в одну эту секунду я успела подумать, а что же будет завтра со мной. Разве я смогу жить? И я ушла и унесла его с собой. Весь следующий день я провела с мамой и никуда не выходила. Мы очень много говорили о Валентине, который все еще сидел в тюрьме, и об Одеге, который ничему не хотел учиться и путался с беспризорными мальчишками. Маме очень трудно жилось, и мне было ее жалко до боли в сердце. В пять часов пришла со службы Надежда, злая и уставшая, как всегда. Мы обедали и пили чай, а потом я стала одеваться. Я сказала маме, что меня звали в кинематограф, и надела свое лучшее платье, перешитое из мамино. И я ушла. Я шла к Наумке Блюмеру в „Париж“. По дороге я подумала, что лучше всего было бы зайти мне в рощу и там застрелиться. И я подумала сейчас же, почему же должна стреляться я, а не те люди, которые довели меня до этой черты. Я их ненавидела всех, за все их обманы, за то, что всем им

нужно было от меня только одного, и никто не пожалел мою молодость. И почему-то все эти люди воплотились для меня в Наумку Блюмера, хотя Наумка был честнее их всех и искренней и ни в чем меня не уверял и не обманывал, а только сделал мне деловое предложение. Но во мне была такая ненависть к нему, что я боялась потерять из нее хотя бы частицу, и я решила притти к нему в номер, поглядеть в его гнусные глаза и убить его, как гадину. Он ждал меня в номере и очень обрадовался мне. Я села с ним рядом за стол и сказала ему, что я все решила и что я буду жить с ним, но он очень дешево меня ценит, и я стою никак не меньше, чем пять тысяч, как стоила его жена. Он стал хлопать себя по бокам и смеяться, я так серьезно говорила ему об этом, точно мы торговались, и тогда я достала из сумочки под платком револьвер и выстрелила ему два раза в потный лоб. Все это произошло страшно быстро, я ничего не успела сообразить, что я делаю, комнату вдруг словно разнесло, а он остался сидеть в кресле. Я до сих пор не понимаю, как никто не услышал выстрелов, они были страшно громкие, точно дрогнул весь дом. Я вышла из номера, спустилась вниз, чтобы сказать, что я убила Наума Блюмера, но я не встретила ни одного человека. Тогда я открыла дверь и ушла так же, как и пришла. Меня никто не видел. И вдруг я стала думать, как сделать так, чтобы скрыть все следы. О том, что я пошла к Блюмеру, знал только Николай, и я у него взяла револьвер. Если он его еще не хватился, я приду к нему и скажу, что я раздумала итти к Блюмеру, что нет никаких гарантий, и осторожно подсуну ему револьвер назад. Так я и сделала. Я пришла к нему и сказала, что раздумала насчет Блюмера, и положила револьвер обратно на стол. Он, конечно, не помнил, сколько в обойме у него оставалось пуль. Мы посидели и пили чай, и у меня хватило еще мужества остаться с ним дальше, как будто ничего между нами не произошло. Маме я сказала, что после кинематографа попала на вечеринку, и легла спать. На другой день я никуда не пошла, сидела дома, а потом вышла на крыльцо и села на ступеньки. День был осенний, прохладный и золотой, и высоко в небе летели гуси на юг. Около меня сели двое беспризорных ребят, Сенька и Миколка, они оба были как репейники, я часто давала им хлеб или деньги, и они терлись возле нашего дома и дружили со мной и с Олегом. Мы смотрели гусям вслед, и Миколка сказал мне со вздохом:

— Возьми меня в сыновья, Маринка...

Я глядела на небо и покачала головой. И он сказал мне еще отчаянно:

— Возьми меня в сыновья, прошу тебя... скушно мне без мамки, и зима подходит.

Но я качала головой и сказала: — Не гожусь я в матери... поищи себе другую, — и мне хотелось умереть от тоски и жалости, которые обуревали меня. Лохматая пичуга просилась мне в сыновья. Вот так улетели гуси. Я не думала о том, что подозрение может пасть на Верку

Гедвилло, и была спокойна. Я была слишком спокойна, и меня не волновали все толки. А вы знаете, как умеют сплетничать, измышлять и пачкать людей в провинции. По правде говоря, я не думала, что меня могут вызвать для допроса, но раз вы меня вызвали, мне кажется, вам надо узнать все, хотя это и очень длинно. И вот я совсем не знаю, почему я убила Наума Блюмера, я много об этом думала потом и так ничего не решила для себя...

И Марина Веневцева очень вздохнула и посмотрела на следователя своими прекрасными, словно в серых опавших лепестках, глазами. Он все еще писал и, наконец, кончил.

— Вы позволите мне прежде, чем вернуться сюда, обменять книги в библиотеке?—спросила она очень спокойно, глядя ему прямо в глаза.— Я обменяю книги и сейчас же вернусь.

Она собрала с колен книги и сумочку и вышла отсюда той же прежней легкой и колеблющейся походкой. Город был в тумане, с крыш стучала капель, и мокрый снег месился под ногами. На углу уныло хохлились извозчики. Марина Веневцева прошла две дымных от тумана улицы и вошла в библиотеку. Знакомая библиотекарьша, с повязанной черной повязкой щекой, стояла на лесенке. Марина Веневцева перелистала каталог, она увидела свои блестящие красноватые ногти, на которые в прошлый раз смотрели две курносеньких ликбезки, улыбнулась и спросила Евгения Онегина. Она взяла книжку, поправила перед зеркалом свою кокетливую шляпку и пошла обратно, мимо охровой почты, к такому же охровому и отсыревшему дому, из которого вышла она меньше двадцати минут назад. У следователя был уже новый допрос, и она села на скамейке в приемной и попросила служителя передать, что она вернулась.

Москва.
Апрель 1926 г.

Два стихотворения

НИК. ТИХОНОВ

I. Равновесие

Воскресных прогулок цветная плотва
Исполнена лучшей отваги,
Как птицы—проходят, плывут острова:
Крестовский, Петровский, Елагин.

Когда отмелькают кульки и платки,
Останется тоненький парус.
Ныряющий в горле высокой реки,
Да небо—за ярусом ярус.

Залив обрастает кипучей травой,
У паруса—парусный нрав,
Он ветреной хочет своей головой
Рискнуть, мелководе прорвав.

Но там, где граниту велели упасть,
У ржавой воды и травы,
От скуки оскалив беззубую пасть,
Сидят каменные львы.

Они рассуждают, глаза опустив,
На слове слепом гарцуя,
О том, что пора бы почистить залив,
Что белая ночь не к лицу им.

Но там, где ворох акаций пахучих,
В кумирне—от моста направо,
Сам Будда сидит золоченой тучей
И нюхает жженные травы.

Пустынной Монголии желтый студент,
Покинув углы общежитья,
Идет через ночи белесый брезент,
В покатоe Будды жилище.

Он входит и смотрит на жирный живот,
На плеч колокольных уклоны,
И львом каменистым в нем сердце встает,
Как парус—на травах зеленых.

Будда грозитя всевластьем своим,
 Сюда в этот северо-западный сон,
 Сквозь жгучие жатвы, по льдинам косым,
 Каким колдовством занесен?

С крылатой улыбкой на тихом лице
 Идет монгол от дверей:
 — Не плохо работает гамбургский цех
 Литейщиков-слесарей!

1926.

И. Л а д о г а

Заря утра обводит леса плечи,
 Мы глушью сыты до краев,
 Закат сыграл свои сигналы. Вечер.
 Все та же глушь поверх голов.

Так день изо дня средь озера пашен
 Лишь парус рыбачий маячит,
 Да конь полудикий стоит, ошарашен—
 Подброшен холмами как мяч.

Да с ужасом видит болотный народ,
 Как озеро входит в собранье болот
 И требует власти и душит
 Раздетый кустарник и сосны кладет,
 Запнясь от ярости тут же.

На крышах поселка курчавится дым,
 Рыбак распахнул нам бревенчатый дом,
 И дом, зачарованный скрипом воды,
 Качался каждым бревном.

Качался сетей порыжелый навес—
 Далеко лишь в озере где-то
 Высокая сойма у самых небес
 Стремилась, омытая светом.

Был к озеру день полуночный причален,
 Лишь сосен вздымались ряды,
 Да цепью бряцающая собака кричала,
 Пугаясь пустынной воды.

1926.

Юбилей

(Из „Обояньских повестей“)

НИК. НИКИТИН

Кто мне может запретить, по какому паршивому поводу должен я привязать свой язык и замкнуться, точно я в самом деле сарай какой или амбар для хранения, или какая-либо багажная контора для склада всякой дряни. Я знаю, все равно мне в этом городе больше не жить, все равно карьера моя погибла. И даже больше — все какие ни на есть здешние привлекательные особы нечеловеческого пола, прочитав в клубе сей мой беллетристический опыт, плюнут также мне в физиономию, пускай...

Ладно, я готов пострадать! И пострадаю! И даже в Москву могу уехать и даже поселюсь там хоть между дверьми, а позиции своей не оставлю. Пускай пропадает и государственная служба, и чудный мой домишко, и яблоньки, и даже пускай сожрет червь ту липовую скамейку перед моим палисадом, где я проводил в мечтах обояньские летние ночи. Пускай пропадает моя голова.

Что ночи... А понятно ли вам, что такое летний день в Обояни? Нет, вижу я — много вы знаете, много видали в театрах, пароходы страшнейших размеров, заграничных голых финтифлюшек, которые чорт знает, что могут сделать с человеком, заносчивый Лондон, где, можно сказать, самый бедный мужик выезжает пахать, надев манжетки и черный суконный котелок, может быть, даже вы подымались на летательной машине и плевали сверху на Собор Парижской Дамы, где отличалась некогда сама Эсмеральда. И все-таки — все это пустой плод попавшей в культурные тиски русской души. Россия, я готов заложить свою душу на любую сумму, предпочитает все-таки природу. Россия — страна природная, ей всякие искусственные фокусы не к лицу, она какими-нибудь австрийскими граблями и грабить-то не умеет... Так что ж, вы говорите, что вам понятен летний обояньский день.

Плещет он, этот жаркий, собачий день — как богатые колокола, с колоколен гремит праздничный звон, во-всю работает на колоколь-

нях Семен Матвеевич Пискаренко — во весь набор — от колоколишек до колоколиц, до самого грандиозного многопудовика, висящего будто медный черкасский бык, будто старый зажившийся на этом чудном свете, заевшийся купец Балагин, который еще за десять лет до смерти только и мог выговаривать одно слово, да и то в самые торжественные минуты, вроде смерти обояньского исправника или, например, всеобщего городского пожара в 1917 году, но уж зато слово это гудело и брякало так, что купеческий кот, привыкший и не к таким передрягам, в ужасе зажимал уши и опрометью бросался из горниц куда попало, хоть под самый паровоз. И это слово было:—ннда-с...

Так выговаривал этот колоколище, а прочие колокола, колоколишки, колоколята подпевали ему будто попадьи, прогорелые чиновники, надзиратели, загулявшие купеческие дворники, веселые девчата, вплоть до озорных гольцов. Вот какой был необ'ятный набор! Бывало, в светлую заутреню вся эта орава такой подымет содом, такие станет откальвать непристойности, что поп, забыв святое место, тихонько, благо не видать под рясой, пританцовывает у алтаря гопак, и даже не собьется с такту. А сам звонарь — артист своего дела Семен Матвеевич Пискаренко — шатается как пьяный от усталости или от восторга — никто понять не мог — и лепечет едва-едва: „дондеже, дондеже есмь... дондеже ни пити ни сикира, ни вина... дондеже ни ясти есмь“...

И сваливается будто мертвый во всякие неаккуратности, что скапливаются кучами от голубей.

А внизу на улицах гуляет народ. Площадь подметена, словно вылизали ее жадные свиньи. На каланче манерно, как невинная барышня, трепещет государственный флаг. Публика ожидает парада. Продавцы с грушевым квасом, завернув передники к поясу, еле успевают отпускать пузатые стаканчики. А мальчишки под самым носом у продавцов прямо с лотков крадут моченые груши, даже не сказав запыхавшемуся торговцу „спасибо“. Ведут в участок пьяных. И один непременно кобенится, вспомнив родственников, непременно хочет ткнуться в пыль — что вот, дескать, посмотрите, дорогие граждане, — что делают с праздничным человеком, у которого, мол, только и греха, что он не тверд в счете... Хохочут, глядя на него, вздорные женщины, готовые всегда надсмеяться над ошибками сильного пола. И напрасно, совсем напрасно смеются. Кто трепался на мучительных фронтах, проливая свою драгоценную кровь и ее глотали опьяневшие сизые вороны? Мужчины. Так разве это достойно насмешки! Над этим надо плакать. Простить и подойти с ласкою, а если уж и прижучить, так так прижучить, как вон та почтенная бабочка в шелковой черной кружевной косынке. Нет сомнения, на глазах у публики она раза два хлестнула достойного супруга по щекам... Но ведь только и всего! А кто его ведет, кто оберегает его от тумб, кто отгоняет от него собак, которые рады полаять на пьяного человека и, может быть, даже с восторгом ухватят его за какую-нибудь нежную часть... А он не знает — куда ему сунуться, он слаб, и штаны у него нечистые, и на

бороде висит рыба кость, он жалче самого тихого младенца. Так кому же, как не почтенной бабочке, оберечь его от суровой жизни, кому же, как не ей, выговорить ему: — Ярыжка, пьяница. Питы не умеешь, сукин сын, та не пив бы... Злодий!..

А кругом гольцы такие высвистывают концерты на глиняных свистульках, ерошатся радужные петухи, греют свиньи у канав пушистые брюха. Так вот что такое летний праздничный день в Обояни. Вот что такое милая моя Россия. Нет, я не продам тебя ни за какой фокус, ни даже за летательную машину, ни тем более за австрийскую граблю.

Взять к примеру того же Онисима Петровича Миликина — первого обояньского парикмахера, обученного всем парижским и венским приемам, а и тот — разве предпочтет свое русское заграничным штучкам. Да никогда!

Сегодня, в праздничный летний день, стоит Онисим Петрович на ступеньках своего заведения и радостно разглядывает происходящее. Все-то ему приятно — и стрижи, и мальчишки, и припудренные ради праздника дамочки.

„Господи, — думает он: — доведись мне быть богатым, нанял бы я мастеров. И причесал бы и постриг бы всех православных христиан. Пущай бы все ходили аккуратно“.

И так это он размечтался, как бы они все ходили спрыснутые одеколоном и с подпудренными подбородками и прическа у всех московскому сделана, а не каким-нибудь паршивым немецким ершиком или легкомысленным парижским капулом, так распалился в необузданной своей фантазии, что совсем не заметил, как подошел к заведению Филимон Филимонович Пушкин и в недоумении остановился перед лестницей.

— Чего вы это, — сказал Филимон Филимонович, тоже взглядывая на небо: — разве аэроплан летит? Откуда бы у нас быть аэроплану?

— Разве аэроплан? Значится опять будут деньги собирать на воздушный флот? — откликнулся в испуге Осип Петрович, будто аэроплан действительно спустился ему на самый кончик носа. — Нет, Филимон Филимоныч, никакого аэроплана нет, я просто мечтаю о невозможном!

— Республика должна работать, а мечтают о невозможном пущай буржуазные классы.

— Я не буржуазный класс, простите... Что за намек, Филимон Филимоныч.

— Ну кустарный, это одно и то же, почтеннейший Онисим Петрович. Можно? — сказал Филимон Филимонович, подымаясь по ступенькам и намереваясь протиснуться в дверь.

— Ах, вы ко мне, — приятно раскланявшись, ответил парикмахер Миликин и, распахнув дверь перед посетителем настежь, протяжно крикнул вслед: — Ма-га-а-зин!

Из-под пестрой ситцевой занавески вынырнул мальчишка с рыжими, потными, прилипающими ко лбу космами, будто он только что вылез из воды, и принял из рук Филимона Филимоновича сияющую, как июльское солнце в полдень, пожарную каску и перед тем, как положить ее на полочку для шляп, с любопытством сам заглянул в нее, точно в самовар, и, удивившись, облизнулся и весело показал самому себе язык.

— Балло-вать...—заорал на него Миликин и, отодвинув кресло, круглым жестом пригласил Филимона Филимоновича сесть, и еще суровей, как взводный, обучающий молодого новобранца, закричал:— Воды!

И, взбивая в металлической чашечке голубую мыльную пену, любезно обращаясь к Пушкину, продолжал начатый еще на улице разговор:

— Ужасно порченый нонче народ! А ведь я, признаться, и не узнал, когда вы подошли в таком сияющем блеске, будто бывший царский кавалергард.

Конторщик Пушкин—служащий „Красного Транспорта“ и старший топорник обоянской добровольной дружины—весь расплылся от удовольствия, как мыльная пена у него на щеках, но виду не показал. С виду он был серьезен и строг, и даже горестно вздохнул:

— Что делать, дражайший Онисим Петрович! Хочешь, не хочешь, а терпи.

— Да что вы-с...—удивился Миликин.

— А как же? Возьмите, например, хотя бы нашего некоего Прыгункова, заведующего то-есть нашей конторой. Намедни мне говорит: Что это, говорит, товарищ Пушкин, все вы опаздываете, то у вас тревога, то у вас примерное ученье, то форму новую примеряете, это, говорит, не служба, или, говорит, вы конторщик „Красного Транспорта“, или пожарный...

— Скажите... Неужели, именно так?—опять удивляется из вежливости Миликин, размазывая снежные теплые груди на пушкинском подбородке.

— Представьте себе, так! Как пораздумаешься эдак, так и возьмет сомненье—да стоит ли тратить здоровье для такого отсталого элемента.

— И верно, не стоит!—поддакнул Миликин, оттачивая на ремне бритву.

— Вас как прикажете брить? Одну бороду?

— Нет, брейте все,—гордо сказал Пушкин,—хочу сбриться наголо.

— Неужели?.. А ваши пушистые усы?

— Пущай они пушистые,—строго посмотрел Пушкин на Миликина,—не хочу тащиться в хвосте, усы самый огнеопасный материал. Посмотрите за границей...

— Ну, за граница нам не указ.

— Как не указ! Там в каждом квартале собственная пожарная часть и все на жалованьи, и даже на очень приличном. Что вы говорите!

— Это, конечно, так, в этом я не спорю с вами,—согласился Миликин, принимаясь бриться и прислушиваясь к тому, как скребет бритва пушкинскую кожу,—но не все заграничное есть еще пример для нас. Возьмите вы хотя бы австрияков. Грязнули! Или хотя бы тех же самых лондончан. Говорил мне один приятель. Парикмахеры ихние бреют как? А так! Мыло мажут не по совершенному способу кисточкой, а некультурно мажут клиента собственными пальцами.

— Но какими пальцами, Онисим Петрович,—ехидно сказал Пушкин и так посмотрел на руки Миликину, что Миликин, сконфузившись, вдруг спрятал руки под халат и, будто имея спешную надобность, выскочил из магазина под занавеску. И, выбравшись оттуда, принялся опять ругать мальчишку.

— Удивительный народ! Бритва не беспокоит? Вот вы все обожаете за границу, значит вы за капитализм...

— Я...—закричал Пушкин.

— Тише, не разговаривайте, а то-с могу сейчас вас зарезать,—спокойно сказал Миликин.—Конечно, пять лет пожарной нашей дружины очень большой факт, но разве отсюда следует, что у иностранцев пожарное дело лучше? Никак не следует. Возьмите вы простое дело. Купил недавно Прокоп Матвееч японскую свинью...

— Какой Прокоп Матвееч?—глотаая мыло, не удержался, чтобы не спросить, Пушкин.

— Да лавочник Прокоп Матвееч Пуговка, ну тот, что торгует галантереей и губками под кремлевской стеной. Он, изволите видеть, большой любитель свиней. Можно сказать, пуговины свиньи — первые свиньи в городе. Он даже финагенту прямо в глаза отмочил. Вы, говорит, можете всей торговли меня лишить, дочку взять в живые заложницы, но свиношек своих тронуть я не позволю, вы прежде перешагнете через мой бездыханный труп. Так и не отдал. В отделе народного образования был. И там, значит, признали пуговиных свиней показательными научными свиньями. Отстоял. Так вот, представьте, этот человек семь лет революции мучился. Дайте, говорит, мне японскую злую свинью. Со многими столичными городами списывался. И добился-таки своего. Ну, и что ж... Смотрели мы недавно эту свинью. Свинья, как свинья, росточек маленький, масть пестрая, хвосток с холерный вибрион. А злости необыкновенной, будто она крокодил, а не свинья. К чему же было мучиться?

— И все-таки эту свинью я предпочитаю,—сказал Пушкин, выковыривая из носу мыло.

— А чем, позволите вас спросить, чем,—кричал Миликин, в ярости взмахивая бритвой,—только и есть, что она поросится чаще нашей русской.

— Вот именно,—ответил Пушкин, не пугаясь:—вот именно за это я и предпочитаю эту японскую свиношку.

— Смотрите, плохо вам будет,—с сожалением ответил Миликин, схватив Пушкина за нос и работая над верхней пушкинской губой,— не все то золото, что блестит. Одеколону можно?

— Чего?—лукаво переспросил Пушкин, опасливо взглядывая на вывешенную у зеркала таксу и, найдя там—„Одеколон 15 коп.“, подумал: „ну, была не была!“.

— Одеколончику, говорю, прикажете облегчить?—спросил вежливо Миликин, подумав про себя: „Эх, сволочь, пятнадцать копеек ему жалко!“.

— Да, пожалуйста,—равнодушно сказал Пушкин,—я без этого не могу, мне без одеколону и бритье не в бритье. Между прочим, будет и у нас время, когда приедет, допустим, мужичек на мотоциклетке, а одеколон ему бесплатно.

— Может быть, Филимон Филимоныч,—согласился из вежливости Миликин, подумав все-таки: „Ну и дурак же ты стоеросовый!“, и закричал:—Мальчик, магазин!

Рыжий мальчишка, точно на пожар, подхватил с вешалки каску.

Миликин отставил кресло. Пушкин, встав, полюбовался на себя в зеркало, потрогал за нос:

— Удивительно, Онисим Петрович,—сказал он,—в бритом виде замечательно культурно выделяется нос!

— У каждого свой вкус,—ответил Миликин.

И опять зашипел на мальчишку, начавшего какие-то манипуляции с пушкинской каской:

— Баллуй, стерва!

— А какая же у вас нонче программа?—спросил Миликин.

— В три парад. Вечером в клубе революционная декламация, балет „Фантазия“ и ужин с танцами и пивом. А как вы думаете, Онисим Петрович, к штатскому бритый вид пойдет? На ужин-то я собираюсь в штатском,—хочу сегодня щегольнуть. Я, признаться, люблю немножко и того и этого... У меня даже заказан воротничек типа дубль-георг.

— Что это за дубль-георг?

— Как, и этого вы не знаете, Онисим Петрович? Да что же вы тогда знаете? Типа дубль-георг означает двойной отложной, по имени английского короля.

— Не знаю, не знаю-с, Филимон Филимоныч.

— Да вы, я вижу, совсем ретроград,—пренебрежительно сказал Пушкин, примеряя перед зеркалом свою каску.—А я намерен еще собраться и печатью заняться, соблазняют меня в провинциальные рабкоры для столичной печати. Да и как не пойти! Шестая держава, ну как тут спорить...

— Вам виднее, Филимон Филимоныч. Мальчик, дверь!

Мальчишка стоял, зацепившись за дверь, как рыжий таракан, поднявшийся на задние лапы. Миликин кинул на руки мальчишке грязную простыню и низко поклонился вслед Пушкину:—Счастливого

успеха!—А Пушкин вышел из распахнутой двери, точно Александр Македонский, и петухи, ослепленные его сверканием, задирая кверху радужную шею, скликали ленивых кур. И по дороге Пушкин часто разглаживал подбородок и радовался его гладкости, трогал себя за нос и думал о том, как другой несознательный человек всю свою жизнь угробил бы в какие-нибудь паршивые свинюшки, или даже допустим, в лавченку, или хотя и прокорпел бы целый век, не разгибаясь, над бухгалтерской книгою, а об согражданах и не подумал бы. И ведь вот и он, Филимон Филимонович Пушкин, мог бы так прожить мелкой, невзыскательной жизнью около Агапии Павловны, мог заняться каким-нибудь огородом, овощами и не выслушивать каждодневных упреков своей супруги; ах нет, он выше, он превосходнее, он вынесет свою судьбу, он будет терпелив и дойдет потихоньку до какого-нибудь блистательного порога. И вот уж тогда станут все удивляться и поздравлять и завидовать. И уж тогда, конечно, дорогая, близорукая супружница не станет говорить, как говаривает она нынче:—И что это ты, Филимон, за хлюст? Как со службы, так и хвост трубой. Дела? Разве грошей твои дела тебе прибавят? Все люди стараются в дом тащить. А у нас дела—псу под хвост...

Тем временем на площади скапливался народ. По мосткам не пройти. Около городского совета волнение. Пожарный под медным колоколом разгонял любопытную толпу. Пушкин так строго прикладывал руку к козырьку каски, раскланиваясь со знакомыми, точно он сейчас отправляется на смертный бой. И, заметив в толпе любопытных своего заведующего Прыгункова, нарочно прошел мимо, будто его не узнав. Тут он сразу почувствовал себя выше на голову всей этой собравшейся толпы, и Прыгункова, и Агапии Павловны, и с чувством гордости и превосходства, не покидавшими его в течение целого дня, он вошел в пожарный двор, где ругался последними словами на конюхов товарищ Буревой—начальник пожарной команды:

— Если вы, сукины дети, порвете мне во время параду постромки, я-т вас, я-т с вами... предам суду... я-т...

„Правильно,—подумал Пушкин,—крой их! То ли еще бывает в буржуазном Нью-Йорке! Электрического стула хотят!“

А Буревой носился по всему двору, кричал на обоз, тыкал лошадкой под морды, пробовал упряжку, плевался — как раскипевшаяся пожарная машина. И довертелся так до того, что вдруг, скинув брезентовую тужурку, встал раком к забору и закричал трубникам:

— Гей, трубники! Полей меня из брандсбоя! Гей! Полундра, качай!

До начала парада осталось десять минут.

Ровно в три часа председатель совета Перепелкин махнул белым платком пожарному, стоявшему под зеленым колоколом у каланчи. Дежурный покраснел от удовольствия, кинулся к колоколу, будто

за утопленником, и поднял трезвон. Публика затаила дыхание. Женщины вдруг неожиданно смолкли, что совсем им несвойственно, и даже сами как будто удивились этому, девчата сложили руки на груди, будто боялись, что бедное сердечко, не выдержав торжественного, громяющего выезда команды, вспорхнет, как с навозу испуганный воробей, и они попадают без чувств, даже мальчишки — неугомонные стрижи — попрятались в пыль, а некоторые, заробев, схватились за отцовские шаровары или, что уж совсем стыдно, прижались к мамкиной юбке. Пожарный растворил ворота, и в тишине, на площади, в народе, в солнце, пролетела одинокая черная ласточка, скосив острый нос, и сразу, почуяв под собою что-то необычайное, вдруг взвилась веером, обрезая воздух, как масло острый нож. Испугавшись тишины, заревел чей-то младенец, но толпа — точно хитрый зверь, выпустив когти, зашикала и младенцу зажали рот. Ежели бы у чело века вместо глаз был штопор, то сотни штопоров всверлились бы в ворота, и ежели бы их предусмотрительно не открыли, эти самые штопора немедленно вдребезги продырявили бы их. Все ожидали, как сейчас загремят великолепные звонки и, блистая кранами, медью, касками, треща колесами, подпрыгивающими бочками, с треплющимся в буйном порыве флагом, с неистовым рожком трубача, лошади в храпе закусывая удила на вспененных губах, задрав острые морды под натянутыми как пружина вожжами, вынесут на ошеломленную толпу пожарный обоз. И вместо этого великолепия, вдруг стремительно, как пожарная тройка, выскочил из ворот Буревой, без тужурки, в мокрых брезентовых штанах и налетел на дежурного:

— Сукиновы дети, кто тебе приказал, я-т...

— Я-т... товарищ Буревой... с совету платком махнувши Перепелкин...

— Перепелкин, Перепелкин... я-т... кто у вас начальник... я-т... Перепелкин, сукиновы дети, отвечай!

— Так что...

— Так что, сукиновы дети, шлей заправить не могли. Это вам не Перепелкин, а выезжать так Перепелкин... я-т... Давай отбой!

— Так что...

— Так что бегай к Куценкам и заberi три штуки шлей, и ежели они, сукиновы дети, сволочь паршивая, кобяниться будут, накладывай дядьке Куценке в морду и отними силой, да ежели будет много визжать, позови милицию, и скажи, что ежели трех не даст, больше, мол, заберу. Тикай! — закричал Буревой и замахнулся на пожарного кулаком.

Пожарный побежал, придерживая на бегу каску, сползавшую на глаза, как бабья крынка. Обеспокоенный Перепелкин сошел с крыльца от совета и медленными шагами пересекал пустынную пыльную площадь. В толпе зашептались, девчата свободно вздохнули, и мальчишки с любопытством следили за бежавшим в противоположную сторону пожарным. А пожарному бежать было стыдно, он чувствовал, как следит

за ним площадь, и на бегу думал—как бы, дёскать, ему не осрамиться, чтобы не сказали потом добрые люди: „И чему только учили тебя, Паньков!“. А потому Паньков, закинув голову, одной рукой держал каску, а другую руку согнул в локте и прижал к груди, и бежал так гимнастическим шагом, как на параде, полагая про себя, что бежит он лихо, по довоенному образцу, и что происшедшее печальное обстоятельство с командой очень ему на пользу, так как может выставить его перед барышнями в молодцеватом виде, и что вечером на балу, несомненно, многие ему станут симпатизировать; подбегая к тумбам, где стояла толпа, он приготовил улыбку, и, действительно, не зря приготовил, там стояла Маруся Каприкова рядом с нахальным студентом Рабиновичем и смотрела, как бежит Паньков. „Ну вот, вот смотри, гадость,—подумал про себя Паньков, зло взглянув на Рабиновича,—смотри, нахальная гадость, как я прыгну сейчас через проволоку!“ И, подпрыгнув, задел пяткой о тумбу, упал, и каска покатила в толпу. Буревой заорал на него от пожарных ворот: „Говнюк, сукинов сын!“ И Паньков, не зная, куда ему деться от стыда, бросился вперед, что подстреленный, забыв про каску. Каску взял студент Рабинович, с презрением повертел в руках и, наклонившись к Марусе Каприковой, язвительно сказал:

— Удивляюсь, какой это пережиток старины! За границей давно ничего подобного.

— А что же за границей,—это интересно,—спросила Маруся, ерзая, приседая, дергая плечом, как белка на сучке.

— За границей, по последним сведениям, очень простой непроницаемый металл.

— Да что вы... — опять удивилась Маруся Каприкова, поправив левую бровь.— Неужели металл?

— Да, металл, и страшно легкий.

— Да что вы... Действительно, за границей интересно живут. Там например, я недавно читала, дома строят из простой бумаги. Дешево и сердито.

Перепелкин медленно подошел к Буревому и спросил осторожно:

— Иван Иванович, что произошло?

— Ничего, я в исполком не суюсь... я-т...

Пушкин, Филимон Филимонович, не мог удержаться, чтобы не повертеться тут же рядом с начальством и вернуть при случае ловкое словцо, и, воспользовавшись моментом, отчетливо приложил руку к каске и вернул-таки это самое слово:

— У нас, товарищ Перепелкин, еще не Лондон!

— Чего?—не понимая, спросил Перепелкин, изумленно взглянув на Пушкина. И только Пушкин собрался с силами, чтобы толковее раз'яснить свою мысль, как Буревой, нахмурив брови, накинул на него.

— Ты кто! Ты что!..

— Я старший топорник.

— Марш на пожарный двор! Я тебе покажу старшого! Вот она, ваша свобода, вот вам Лондон! Пожар тушить, так это я, парады делать, так это я. А когда деньги просил на команду, так торгуйся с Бобриком. А шлеи чинить, так это я! Пусть мне теперь Бобрик шлеи чинит... Вот где он у меня сидит, ваш дурацкий финотдел!— сказал Буревой, постучав себя по затылку, и плюнул.

Перепелкин обиделся и, махнув рукой, пошел опять через площадь к советскому крыльцу.

На пожарном дворе у линейки раскрасневшийся Пушкин что-то записывал на газетном клочке, поминутно слюнявя карандаш.

На советском крыльце все спокойно расселись по ступенькам и закурили папироски, и Перепелкин что-то нашептал Ивану Афанасьевичу Бобрику—заведующему финотделом. Бобрик взволнованно сжал губы, но ничего не ответил. „Ладно, пожарная шкура,—подумал он,—подожди до следующей сметы. Я тебе покажу твои шлеи“.

Наконец, через три четверти часа упряжки были готовы, Буревой вскочил в линейку и скомандовал на весь пожарный двор:

— Приготовьсь! По местам!

Паньков под зеленым колоколом, без каски, задрезжал, как только мог. Обоз выскочил на площадь, девицы вздрогнули, старушки перекрестились, впереди мчался на рыжем коньке скачок, и трубил из собачьего рожка. Когда лошади у бочки номер второй, испугавшись желтых перьев на шляпке у акушерки Лиличкиной, понесли прямо на толпу, студент Рабинович оробел и Маруся Каприкова в недоумении зажала нос. Буревой одной рукой придерживался за флаг на первой линейке, а другою величественно подбоченился.

Четвертая бочка на последнем аллюре, у самого конца, все-таки отстала, и Буревой, не выдержав, выругался:

— Таки порвали построжки, сукиновы дети, тыщу раз говорить!

Начальство сошло с крыльца. Бобрику пришлось держать знамя, он это делал очень неохотно, капризясь и поджимая губы.

Перепелкин вышел вперед. Толпа кругом обступила обоз и пожарников. Перепелкин высморкался, и, шепнув Бобрику:—Иван Афанасьевич, да осторожнее вы со знаменем, чего вы вихляетесь!— начал речь:

— Дорогие товарищи! Мы все признаем пожарный ужас. Все тогда пропадает. Что ж делать? Такова стихия огня, даже у нас, в пролетарской стране. Кто же призван бороться с этим, кто же с этим борется у нас? может быть, спросит кто-нибудь меня из присутствующих здесь граждан. Да вон они, эти незаметные герои, скажу я... — громко проговорил Перепелкин и показал пальцем на обоз.

Буревой опустил глаза и кашлянул, скромно зажав рот ладонью.

— Да, они... эти, на вид такие скромные, трудовые люди,— продолжал Перепелкин, воодушевившись по-настоящему:—пролетариат

борется с этой природой, несмотря ни на что, несмотря ни на какие препятствия...

Буревой прищурился на Бобрика, в руках которого дрожало юбилейное знамя, и подумал:— „Поджимайся, гад, поджимайся, еще неизвестно кто кого подождет“...

— ...А разве мало этих самых препятствий,— закричал вдруг Перепелкин,— да они сидят внутри нас...

Бобрик недовольно пожал плечами и чуть не выронил знамя, и даже наверное бы выронил, если бы тут не подвернулась любопытствующая старушка, о голову которой ударилось древко, старушка упала, и два милиционера оттащили ее за толпу. И когда старушка очнулась, молодой милиционер сказал:

— Ты чего же это, паршивая вонючка, в обморок падаешь, из-за тебя неприятность получать.

— Да, внутри нас,— спокойно сказал Перепелкин, не заметивший переполоха:— кто неосторожно обращается с огнем? Мы! Кто не заботится о трубах? Мы! Кто под влиянием религиозных предрассудков зажигает лампадки?..

Тут два старика—один из них любитель свиноводства, галантерейщик Прокоп Матвееч Пуговка, сердито плюнул, и оба они вышли из толпы.

— А вы знаете, что эти самые лампадки,— сказал Перепелкин,— хуже пороха. Вот я вижу, что там кто-то плюется. Напрасно вы плюетесь, гражданин Пуговка! Я вам советую почитать статистику. И ото всего этого пять лет нас защищали эти серые герои. Спасибо.

Пожарники закричали:

— Ура!

И Буревой растроганно отдал честь и принял юбилейное алое знамя. И, встав во фронт, отрапортовал:

— Обояньская добровольная пожарная команда на все эти замечательные слова товарища Перепелкина просила меня ответить по-простому, по-русскому, как в непобедимой нашей конной армии: рады стараться.

Пожарники закричали:

— Ура!

И вот тут Филимон Филимонович Пушкин поднял руку и закричал тоже:

— Просит слова старший топорник Пушкин.

— Ши, опять выпялился!— зашипел на него Буревой и погрозил.

Но было поздно, и Пушкин, горделиво одернув брезентовую куртку, вышел из рядов.

— Я хочу развить свою мысль,— сказал Пушкин,— насчет Лондона, как давеча в частном плане развивал. В каком-нибудь Нью-Йорке, конечно, буржуазная пожарная команда гонит на моторах. Ну, так что? А разве мы не могли бы гнать на моторах? И мы, товарищи дороги, погонимся сейчас в гражданском плане нога в ногу с текущим веком. Вот в чем я несогласен с отличным героем, товарищем Буревым. Если

за границей так ездят на буржуазные пожары, почему мы не можем так ездить на свои пожары, пролетарские...

Сзади его дергал пожарник, подосланный Буревым:—Кончай, кончай. Пушкин вдруг спутался.

— И вот, товарищи дорогие, я сейчас кончу. Что же мы видим? Мы видим, что мы этого достигнем в нашем частном плане.

Пожарники опять закричали—ура!—и оркестр заиграл „Интернационал“. Обоз весело под'езжал к пожарному депо. Только в сердце Пушкина не звенели звонки, не сияла медь касок, не играл оркестр. Пушкина грызло недовольство, как крыса. Когда, приехав в депо, Буревой благодарил пожарников в строю, Пушкин презрительно фыркнул.

Никто этого не заметил, рассказывать об этом было неудобно, и тогда он фыркнул второй раз нарочно перед самым носом Буревоего. Вот, мол, на тебе, как я тебя боюсь, перед самым носом в пику фыркнул тебе. А когда Буревой и этого не заметил, Пушкин тому не поверил и, решив, что Буревой прикидывается, сказал своему соседу:

— Видал?

— Что?—спросил сосед.

— Видал, как Буревой меня трусит? Ладно, ты заметь. Он меня конем, а я его прогрессом, вот тебе и будет кавалерийская армия.

И даже дома за обедом, поедая коржики с салом, долго не мог успокоиться.

— Видала?—спросил он Агапию Павловну.

Но Агапия Павловна с испугом оглядывалась.

— Чего?.. Скажи лучше, кто это тебя так обрил? Где твои усы?

— Ах, чего там усы,—с досадой отмахнулся Филимон Филимонович:—ты лучше скажи: видала?

— Да чего видала-то?..

— Как чего?.. Ну и народ. Действительно, стараешься, и неизвестно, кто тебя оценит. Агапия Павловна, хотя ты-то постыдись, ведь ты четыре класса прошла.

— Ну и что—прошла, ну и что из этого!

— Ну, так как же что из этого, а на параде, разве ты не видала, как отбрил я Буревоего.

— Вот, что я тебе скажу, по совести,—рассердилась как-то совсем неожиданно Агапия Павловна и стукнула кофейником по столу, да еще помогла кулаком, да еще неизвестно, до чего бы дошла дальше, ежели бы из кофейника, из самого продолговатого кофейничного носика не потянула тонкая струя вкусного кофейного пара:—вот что, десять лет с тобой живу, много было у тебя фокусов, но такого, чтобы вместо морды с утюгом жить...

— Позволь, а как же немцы?—перебил ее Филимон Филимонович.

— Что мне немцы, что ты мене морочишь!—вдруг даже в бешенстве, даже, пожалуй, в иступлении вскрикнула Агапия Павловна:—что ты, с ума сошел? Что вы о мене думаете? Може ты думаешь, что я нонешняя обертенька, что я вертушка коммуническая. Так вы оши-

баетесь жестоко. В таком состоянии я жить не буду, идите целуйтесь с вашими немками. Что ни день, то новые фокусы. То вы пожарным лоботрясите, то вы статьи печатаете и мене туфлям шаркать запрещаете, то вам подавай воротнички английского короля, то вы в бога не веруете, то мене францужонкой мечтаете зроби́ти. Тьфу, провалитесь вы с вашими францужонками, я более вас не переносу! И живите вы хоть с некрещеной жидовкой, даже хоть со свиньей. Купите у Пуговки свинью, пушай она вас ласкает и молчит, а я молчать отказываюсь.

— И буду!—также вскрикнул Филимон Филимонович Пушкин, вскочивши со стула и трахнув стулом об пол:—И буду, и буду, и буду, и буду, и буду жить со свиньей.

Тут Агапия Павловна накинула сак и выбежала из дому и выстрелила дверью, как солдат из ружья. Филимон Филимонович выглянул из окна.—К матери побежала. Беги, беги...—и, озлобившись, еще вдогонку прибавил:—И буду!

Кофейник спокойно порскал паром, на столе еще стояли неубранные тарелки после борща и коржиков, зудели в стеклянном колпаке жирные июльские мухи, попавшие в мушечницу с мыльной мутной водой.

„Вот жизнь,—подумал Филимон Филимонович:—И мухи тоже живут. Ну, а как они живут...“

Филимон Филимонович Пушкин, что с тобой будет?

Что такое молодость моя? Что такое мое счастье? Молодость моя утрачена глупо. А счастье оставлено на большой дороге. Каждый проходящий может поднять эту странную котомку. И часто мне ее уже совсем не жаль. Только в вечер, в странный летний вечер, в освещенном разноцветными фонарями саду, в голубых и черных кустах, при далеком и нестройном оркестре—вдруг стукнет поломанное сердце—поищи-ка там в кустах, в мраке дорожки. Я иду и знаю, что не найти.

Я иду и найду в саду и в обояньском клубе—гам и свист, в темноте блещет мне медь пожарных касок, молодежь усмехнется мне в лицо, а, приняв меня в свой круг, все-таки не поверит моей молодости. Да я и сам не поверю ей. Да и как мне с ними быть, я уж не такой, как года два тому назад. Нынче мне не так звенит ни женский смех, ни утренние птицы. Вот до птиц—досижу я с Филимоном Филимоновичем, осушая под звезды стаканы.

— Нет,—скажет Филимон Филимонович Пушкин:—отчего в народе разброд, я вижу это ясно. Нет нам по подходящему развитию женщины. Горько мне пить, дорогие друзья. И буду, и буду жить со свиньей. Вот нарочно куплю у Пуговки, для протесту, и буду. Тогда посмотрим, что запоет Агапия Павловна.

— Агапия Павловна вполне прелестная женщина,—ответил Миликин, качаясь в стуле как маятник. И подтвердил:—И вовсе она петь не будет. Не верю! Не соловей.

— Нет, я тоже не верю вам,—поддержал и я Онисима Петровича.

— Ах, так. Ах, значит, вы мне не верите. Так вы мне не верите?—сказал Пушкин, вставая из-за стола и подняв пивную бутылку. — Так вот нарочно в пику вам буду!

— Но зачем же в пику, Филимон Филимоныч?

— Я вам покажу, я вам покажу, на что я еще способен. Я всем вам в пику нос утру.

— Ну, это еще большой вопрос, кто кому пикою нос утрет. При таких разговорах, может, и мне вы пикою нос утрете? Мне? Я русский человек, а не какой-нибудь жид...—сказал Онисим Петрович Миликин, встав из-за стола, засучил рукав и тоже поднял пивную бутылку.

Кругом зашумела публика.

Забегали официанты, как тараканы.

Буревой скомандовал пожарникам:

— Надень каски!—и, вынув из кармана командный свисток, засвистал:—Готовсь!

Филимон Филимонович Пушкин вскочил на стол и закричал Буревому:

— Стой! Кто ты тут есть? Ты, чорт паршивый, опять мне рот замазывать? Эт-то что, сволочь, красный значек нацепил? Гадина! Снова царский режим? Снова рот рабочему замазывать? На! — крикнул он и выплеснул пиво в Буревого.

Пожарники бросились к столу, одна ножка у стола треснула, стол качнулся. Пушкин полетел и налету кинул в стену бутылкой, разбившейся вдребезги. Миликин спрятался под стол, а барышни, как воробьи, вскочили на перила балкона и прыгали вниз в сад, роняя с ветвей цветные фонари. Балет на клубной сцене внезапно остановился, распорядитель в каске, товарищ Паньков, напрасно кричал:—„Граждане, сохраняйте спокойствие“. Маруся Каприкова в одной рубашке (она танцевала „умирающего лебедя“) соскочила со сцены в зрительный зал. Звенели бутылки. Панькову проломили каску, студент Рабинович стулом бил публику, стараясь пробраться к выходу, и какая-то старушка внизу кричала, будто ее резали перочинным ножиком:—„Господи, горю, горю, господа. Угодники милостивые, горю“. И действительно у нее пылал подол, загоревшийся от упавшего фонаря. Дежурный милиционер схватил старуху в охапку и бросил в скошенное, ночное от росы, сырое сено. Вдоль по улице бежала голая Маруся. В суматохе, когда вся публика продиралась к выходу, с нее сорвали последнюю сорочку, а за Марусей бежал студент Рабинович и кричал:

— Маруся! Пожалуйста, не стесняйтесь. Оденьте, пожалуйста, мой френч!

Но Маруся бежала, не останавливаясь, а в нескольких шагах от нее Рабинович.

— Ой, Маруся, ведь это же, ей-богу, анахронизм бежать голой!

Но Маруся бежала по-прежнему. И косари, шедшие навстречу по улице (было уже утро, они шли на косьбу), расступились перед

нею на обе стороны дороги. Молодые косари захохотали, а старик снял смушковую шапку и выругал молодых:

— Шо вы, хлопцы, гогочете, як бисы. Може це тилько ведьма, а може цей жидок к ней подкативсь.

И на всякий случай, размахнувшись, ударил мимо пробежавшего Рабиновича по затылку. Рабинович схватился за голову и из канавы закричал:

— Погром!

У клубного входа горевшая пять минут тому назад старуха стояла с обкусанным огнем и разорванным подолом, и причитала, и плевалась на милиционера:

— Сукиновы дети, я думала у вас, как у читых. Праздник, дак значит праздник. А вот оно что значит—ваша советская власть. Сперва женщин поджигают, а потом рвут.

— Молчи ты, не воняй!—отмахнулся от нее милиционер.

— То-есть как это?—удивилась старушка:—ты, что ли, мне юбку-то покупывал? Ты? Ты что, муж? Я просила тебе, чортов кобель, на землю мене валить и топтать?

— Да не приставай ты ко мне, вонючка старая. Я тебя так!—закричал милиционер, рассердившись, и прибавил слово высшей крепости.

Тут старушка быстренько повернулась и кубарем-кубарем покадилась к дому, всхлипывая и крестясь. А когда приплелась домой и старик, слезши с высокой кровати, зевнув, спросил ее:—„А дочка-то где же, где же Манька?“—старушенция еле-еле перевела дух:

— Ой, голубчик, ой, отец. До того ли было! Меня-то ведь чуть не снасиловали, да не далась. Манюшку-то, наверно, прикончили кобеля.

Филимон Филимонович Пушкин, изнемогая, еле добрался до Кремлевской площади. И, найдя кучу мусора, решил присесть, а как присел—так сразу почувствовал, что ногам стало легче и сладкая истома весело бежит по телу.

— Вот и хорошо, вот и справили юбилей!—сказал Филимон Филимонович и спокойно растянулся на куче. Хотелось ему с кем-нибудь поговорить, в голове вертелась, как блоха, какая-то обида, но никого рядом не было, над глазами опустилось дикое небо, во дворах проснулись петухи, и тихо гудел на серых столбах телеграф. Напротив, из подворотни, выгибая круглую спину, точно кот, вылезла небольшая пестро-бурая свинья. Поглядела на зеленую вывеску: „Ленты-галантерея-материал“. Поглядела на другую: „Губки-одеколон-мыло“. Поглядела на третью: „Тов-ство П. М. Пуговка“. И, зевнув, оскалила белые клычки и, скрючив пестрый хвостик, бодро побежала к мусорной куче. Не добежав трех шагов, испуганно замерла на месте, увидав Филимона Филимоновича. А когда Пушкин поманил ее пальцем, вдруг, хрюкнув, рассердилась и отскочила в сторону.

— Что это за мир такой,—даже свинья и та сердится. И ведь славная, ей-богу, свинья, совсем славная свинья.

Свинья же, сощуриив глазки, присматривалась к Филимону Филимоновичу.

— Ну что, хрюшка, вот нету нашей Агапии Павловны, живу я один, будто трагический человек. Ну, поди сюда. Да что ты боишься, глупая? Я разве тебя обижу!

Свинья подошла и ткнулась пяточком в руку Филимону Филимоновичу, и когда Пушкин почувствовал теплое ее дыхание, он рыдался от нежности и почесал ей шею.

— И какая это, ей-богу, удивительно славная свинья!

И, пригревшись около свиньи, вдруг захрапел и уронил голову...

И после Филимон Филимонович Пушкин рассказывал, что никогда в жизни он не спал так крепко и хорошо, и сколько спал—сообразить не может.

Проснулся он от острой внезапной боли, будто ему отгрызли нос. Проснувшись, он сейчас же схватился за нос и вместо носа ощутил мокрое место, а пестрая свинья стремглав мчалась в огород.

Только на второй день в городской больнице Филимон Филимонович успокоился и пришел в себя. Ему даже понравилось, что важный доктор Восков, никогда не отвечавший ему на поклоны, тут разговаривает, ухаживает за ним серьезно и степенно.

— Скажите, доктор,—спрашивал он Воскова:—имею ли я потерю трудоспособности?..

— Нет, не совсем, какая же потеря?..

— То-есть как это какая потеря?—обиделся Пушкин и даже поднялся в кровати и тронул и погладил забинтованное лицо по середине—там, где по его расчетам раньше был нос:—ведь у меня же гладкое место. Или, может быть, не совсем гладкое, может она не успела отхватить его начисто.

— Гладкое или не гладкое,—сказал доктор:—все равно потери трудоспособности нет. Лежите смирно.

И ушел.

— Ну и доктора,—обозлился Пушкин и показал фигу,—если бы свинья слопала твой докторский нос, что бы ты запел! А про чужой нос легко каждому говорить.

Пушкин лежал в палате один, времени было много, и он не знал, куда его девать. Сперва щупал повязку, потом надоело и это. Потом плакал.

— Господи, а еще говорят, что бога нет. Вот где бог. Может, он мне за Агапию Павловну мстит. И ведь какой хороший нос. У других какой-нибудь, прямо паршивый какой-нибудь нос, или рябой, или на сторону, или даже крючком, а то хуже картошки или копеечной пуговицы. А тут выдался такой чудный пролетарский нос, и вот

на тебе—переваривается в животе у паршивой свиньи. И как это не обращают внимания на нос! Кто это законы пишет? За руку, даже за палец требовать можно! Ну, а что требуешь за нос? Ведь к циркульнику, допустим, придешь? За что он держится? За нос! А как денежки получить, так нет, не лишен трудоспособности. Мало вас прохватывают, сукиных сынов.

К вечеру в палату вошла Агапия Павловна. Не дойдя до кровати и только поглядев на бинт, она поставила прямо на пол судок и заплакала, закрыв лицо шелковой косынкой.

— Что вы испугались,—ласково сказал Пушкин,—что вы испугались, дорогая Агапия Павловна. Раздевайтесь, пожалуйста.

Агапия Павловна подошла к кровати и поцеловала Филимона Филимоновича в лоб. И поклонилась.

— Простите меня, Филимон Филимонович, может все это производится от глупых слов. Вот, я постного борщичку вам сготовила, простите меня.

— Да что вы, Агапия Павловна, какие это странные вещи вы говорите,—даже непохоже, что вы четыре класса прошли.

Но самому было как-то приятно, и как-то сладостно щекотало глаза, и очень жалко плакавшую Агапию Павловну, и покрасневший и нечистый нос Агапии Павловны показался ему страшно трогательным, он не выдержал и обнял жену. („Все-таки ничего, нос приятный и с выражением...“)

— Не беспокойтесь, Агапия Павловна,—сказал он:—право не беспокойтесь, ежели там мало осталось, нынче прирождают новые носы.

— Неужели прирождают? И вам можно природить?

— А отчего нельзя, в Москве такие штучки делаются даже страшно быстро. Ну—разворачивайте, Агапия Павловна. Что это вы там такое нанесли? Я, по правде сказать, проголодался на казенном пайке.

— Принесла я вам, Филимон Филимонович, борщичку. Удачный очень борщок, и бобы очень славные. Ну, а как же у вас операция? Вот еще кнышей. Попробуйте-ка эти кнышики. Интересно, как вам понравится...—хлопотала около кровати Агапия Павловна, суетясь и вытаскивая будто из рога изобилия то кныши, да еще разные выпеченные открыто или в виде конверта, а то и сердечком. А за кнышами шли маринованные помидоры, а за помидорами ватрушки с поджаренной корочкой из кислого творогу. —Господи, а перчику, что ж я вам перчику-то не предложу! Ведь специально натолкла его с корицей.

Филимон Филимонович только головою качал, да удивлялся, да еле успевал уписывать и перчик, и ватрушки, и кныши, обмакивая их предварительно в борщ, а потом отправлял блаженно в рот, и за кнышем отправив туда же ароматную и масляную ложку борщу, замерев почти в сладострастной истоме, кричал.

— Нет, Агапия Павловна, вы не женщина, вы волшебный элемент!

Филимон Филимонович чувствовал, как быстро вырастают у него в сердце, точно нежная рассада, чистота и мир, а смущение Агапии Павловны доставляло ему большое удовольствие, и легкое кружение в голове указывало на то, что в жизни что бы ни случилось,—а и это имеет свою приятность. Ему даже захотелось немножко пошутить, покуражиться, и он ласково спросил Агапию Павловну, напоминая ей о ссоре, сейчас казавшейся где-то далеко-далеко, будто в тридесятom царстве произошла вся эта непонятная история.

— Что же, Агапия Павловна, намереваетесь ли вы продолжать нашу семейную жизнь?

— Не обижайте меня, Филимоша, я не гадкая францужонка,— сказала Агапия Павловна с укором и, встрепенувшись, обняла Филимона Филимоновича за плечи:— и не какая-нибудь поганая китайка... Разве носом выполняется женское счастье?

— Плутовка вы, Агапочка. Дайте я вас поцелую.

В это время по коридору звенела звонком сиделка, обозначавшим конец приема посетителей, и пока Агапия Павловна собирала в узел свои пожитки, Филимон Филимонович решил поговорить и о серьезном.

— Ты знаешь, Агапочка? Думается мне, что в моем деле есть месть.

— Да бог с вами, из-за чего же вам мстить? Кальсончики не забудьте чистые...

Филимон Филимонович загадочно улыбнулся.

— Кальсоны я надену без вас. А насчет мести, как кому? А Буревой! Не думаешь ли ты, что он простил мне мое выступление?

— Ну, ведь не Буревой же откусил вам нос?

— Сразу видно, Агапочка, что ты женщина. Зачем же Буревой будет кусаться сам, когда можно подкупить научную японскую свинью.

— Ой, свинью, да зачем же непременно свинью!

— Ой, напрасно, напрасно... Зачем свинью? Плохо вы разбираетесь в фактах. Именно в таком деле надо свинью...—загадочно сказал Пушкин и погрозил кулаком.

Но тут зашла сиделка, и нашим героям пришлось расстаться.

Более безмятежной и благодатной ночи трудно себе представить. Очень спокойно Филимон Филимонович проспал до утра, а утром, дожидаясь, пока придет Агапия Павловна со свежим, заваренным кофеом, занялся самим собой, передумывая и вкривь и вкось все обстоятельства третьего дня. Через час все обстоятельства были проверены и взвешены, и думать было больше нечего. И тогда Филимон Филимонович вызвал сиделку и строго спросил у нее кусок бумаги и карандаш.

— Зачем же вам бумаги?—удивилась рябая сиделка.

У сиделки была гладкая, черная голова с радужными пуговицами вместо глаз.

— Мне надо кое-что записать.

— Что-й-то такое записать, у нас больные не записывают.

— Сейчас же иди, кобра вонючая! Мне надо в центральные газеты статью писать. И купи еще десяток папирос.

Испугавшись, сиделка пошла к дежурному фельдшеру. Фельдшер, покопав спросонья в грязной голове, решил:

— Не стоит с дерьмом связываться, как бы еще нас не промахнул...

И когда все было принесено, Филимон Филимонович, предварительно выкурив три штуки папирос, торжественно принялся за обдумывание заглавия. Слюнявил карандаш, отчего потекли по щекам лиловые пятна, грозился, пел. И за ним в щелку двери подглядывала взволнованная сиделка, подосланная дежурным фельдшером.

— Так! — воскликнул в восторге Пушкин.— Заглавие будет: „Пушкин и японская свинья“!

И все примаргивал, шурился, шипел, пока не подошел к концу, пока все обстоятельства дела—летнего дня, парада на базарной площади, поведения Буревого, юбилейного вечера в клубе, где старший топорник Пушкин вел себя, как „древний римский герой“—не были изложены.

— И вот финал. Я нынче подведу вам кузькину мать.

И сбоку на полях бумаги приписал:— „Желательно финал напечатать жирным шрифтом, ежели редакция не против“.

И, причмокнув, прочитал, глядя в дверь, в замочную скважину, как казалось сиделке, прямо в упор к ней, в ее глаза, отчего она чуть не лишилась чувств.

„Что это—японская свинья или где зарыта собака?“

Довольно замазывали рот—собака зарыта в начальнике пожарной команды, в этом изжитом наследии царского прошлого. Пора одернуть зарвавшихся“.

И, упав на подушки, изнеможенно почувствовал—ну, точно он чайник—точно все восторги мира, даруемые творчеством, неукротимо кипят у него в груди. Если вам, читатель, случалось когда-нибудь заниматься стихиками или прозаическими сочинениями, то вам несомненно знакомо это чувство, и Филимон Филимонович, напомнив вам ваши досуги или младенческие лета, заслужит вашу улыбку. А может быть, и не так! Может, вас интересует общественная жизнь, может быть, вас тоже ожидает юбилей, или вы сами—полные дружеских чувств—организуете юбилей какому-нибудь своему закадычному приятелю, тогда, конечно, судьба Пушкина мало нас забавляет, наоборот—вы можете даже обидеться, не намекаю ли я на какие-либо особые обстоятельства, не подпускаю ли, мол, какого-либо пфедферу под социальные устои... Нет, нет, пусть мне помереть, пусть попасть мне в какое-нибудь непромокаемое место, ежели я тайно замыслил что-либо подобное. Нет, нет, повесть моя—только о летнем праздничном дне в Обояни.

В лесу

ЕВСЕЙ ЭРКИН

Там громко шелкнут,
И вздрогнет лист.
Там без умолку
Разбойный свист.

Зеленой зыбкой
Качанье мглы.
В рябой улыбке
Скрипят стволы.

Ввысь—и обратно
С кривых ветвей
Слетают пятна,
Припав к траве.

Рыжеют, тают,
Змеятея в глубь,
Перелетают
С куста к дуплу.

В прохладной чаще
Сквозистый мрак.
Всегда хрустящий
И мягкий шаг.

Зацепишь корень,—
Потупив лбы,
Соленым горем
Вздóхнут грибы.

О, глушь лесная,
Где нет пути.
Бредешь, не зная,
Куда пройти.

На компас взглянешь:
— Где север, юг?
Там лисий глянец.,
Здесь дятла стук.

И вдруг, как в детстве,
В тебя, в листву,
Совсем в соседстве:
— Ау, ау!

— Вон там—сторожка,
Через лесок!..
Берешь немножко
Наискосок.

К березкам щуплым,
Навстречу пню,
Минуя дупла
Под щебетню.

Барбос

П. ДРУЖИНИН

Жил на свете бродяга Барбос
И не очень такой уж занятный,
Самый простой лопухий пес,
Захудалый и неопрятный.

В нем во всём, начиная с хвоста
И кончая у шеи драной,
Так и сквозила нечистота
Развихляя и грубияна.

Плотно осел в нем бродяжий дух,
Крепко сросся с сукиным сыном..
Даже ленился ловить он мух,
Жаря на солнышке летом спину.

Только вот стужа и колкий мороз
Донимали Барбоса люто,
Но не ронял он собачьих слез,
Как бы жизнь ни крутила круто.

Не велика ведь собаке честь,
Да еще такой замарашке.
Всякую дрянь приходилось есть,
Подводило бока под ляжки.

Был Барбос удивительно прост,
Не отличался особым вкусом,
И от голода собственный хвост
Часто до крови был обкусан.

Но зато уж и выгон и степь
Принадлежали вполне Барбосу.
Только однажды его на цепь
Посадили без всякого спросу.

Ну, и что же,—казалось бы так.
Раз Барбоса люди жалеют,
Чем же он хуже прочих собак,
Что на хозяйских харчах жиреют?

Наедайся плотней и лежи
В конуре за помойною свалкой...
Только новую сытую жизнь
Не влюбил проходимец жалкий.

Обгрустился Барбос и зачах,
Стосковался тоскою собачьей.
Завопил на луну по ночам
Безобразным скулящим плачем.

А однажды, почуяв степь,
На дворе в лошадиных храпах,
Перегрыз он стальную цепь
В коченеющих мертвых лапах.

Погудка о погодке

С. КИРСАНОВ

Теплотой меня пой,
дорогая родина!
Губы нежные твои —
черная смородина...

У тебя в любом глазу
голубой крыжовник,
Бирюзовая глазурь
(ясно, хорошо в них).

Скоро, скоро, хоть убей —
летняя долина,
Затанцует по тебе
дождик-мандолина!

Листья леса сгложет медь,
станут звезды тонки,
Щеки станут розоветь
яблоки-антоновки!

А когда за синью утр
лес качнется в золоте —
С веток брови упадут
золотые жолуди...

Лягут снежные поля
сошником не ораны,
Налетят на купола
сарацины — вороны...

Станешь, милая, сесть,
цвет волос изменится,
Затоскует о воде —
водяная мельница...

И начнут метели выть
в снежных дней посуду,
Только я — тебя любить
и седую буду!

Вишни для компота

Повесть

ПАВЕЛ СУХОТИН

(Окончание ¹)

ГЛАВА X

Ровно без пяти минут одиннадцать, как и рассчитывал господин де-Феж, он уже был около окошка, где выдавались ярлыки на посещение сейфов. Служащий банка намеренно тихим и таинственным голосом задал ему несколько вопросов, проверил номер контракта и только тогда выдал ему пропуск с той неспешностью, с какою самый аккуратный аптекарь отпускает ядовитые препараты.

Это обстоятельство заставило и господина де-Феж также с некоторой таинственностью в движениях спуститься в подвальный этаж, где его встретил главный охранитель входов. Бритое и сухое лицо его было бесстрастно и сурово, как у испытанного тюремщика. Он просмотрел пропуск и поклонился молча и торжественно, что вполне соответствовало настроению человека, пришедшего сюда с трепетом заглянуть в нутро своего хранилища, которое не только с верностью примет дары, но и, захлопываясь, всосет своими тяжелыми стальными губами даже часть воздуха, наполняющего ярко освещенный подземный коридор и пропитанного тончайшими ароматами самой изысканной парфюмерии.

— Я всегда радуюсь тому, что во Франции столько богатых людей,—сказал господин де-Феж, здороваясь со своим старым другом господином Нажуар.

— О, да! Это приятно!—согласился Нажуар и стал укладывать в футляр свои карманные весы, на которых он отсыпал бриллианты, предназначенные в подарок испанке, поразившей его своими страстными танцами.

¹) См. «Новый Мир», № 8—9.

— Я попрошу вас по окончании ваших дел, мой дорогой де-Феж, повидаться со мной. Я вам сообщу нечто важное. Вы найдете меня в кабинете бухгалтера Вилена.

Когда господин де-Феж покончил свои дела, он опустил ключи от несгораемого шкафа в замшевый мешечек, прикрепленный цепочкой к жилетному карману, и, с приятностью испытывая полноту своего хрустящего бумажника, вышел из коридора, где опять был встречен охранителем этажа, который одним молчаливым наклоном головы красноречиво сказал:

— Господин рантье, я знаю, что вы сделали то, что вам было нужно.

В кабинете бухгалтера Вилена господин де-Феж за беседой об иностранной политике разрешил себе выкурить, но только не затягиваясь, русскую довоенную папиросу „Зефир“. Когда вопрос коснулся коварных дипломатических происков Германии, он счел нужным заявить с гордостью истинного республиканца:

— Они должны помнить, что капиталы и богатства Франции штука грозная, и мы это готовы доказать даже кровью своего народа.

Но кроме важных политических сообщений эта беседа дала господину де-Феж много новостей из коммерческого мира, и между прочим ему стало известно, что дела „Акционерной компании по осушке болот“ сильно пошатнулись.

— К несчастью,—огорченно сказал господин де-Феж,—я имею десять бумаг этой компании.

— Не извольте беспокоиться,—прогнусавил бухгалтер Вилен,— у меня есть на примете престарелая особа, которая хочет свои скромные сбережения поместить в бумаги. Сумма ваших акций как раз соответствует ее сумме.

И Вилен втянул свою маленькую голову с красной лысинкой в высокий крахмальный воротник, что всегда он делал при появлении в его кабинете кого-нибудь из подчиненных.

— Я вам это устрою,—добавил он, нехотя принимая от своего помощника радужный листок чековой книжки и давая этим понять, что беседа его с друзьями, к сожалению, должна быть закончена.

— Вилен очень остроумный человек,—говорил Нажуар, положив руку на плечо своего друга и провожая его по залу банка, где толпились и бегали люди, замороженные треском счетов, громкими звонками и отрывистым звоном монет, напоминающим звук разбившейся о камень ледяной сосульки.

Господин де-Феж вполне был согласен с Нажуаром:

— Вилен—гениальный человек.

Расставаясь, друзья перекинулись несколькими словами о своих семейных делах, и господин де-Феж не без приятной иронии, смеясь, спросил.

— А вы, как я слышал, в последнее время имеете склонность сочувствовать Испании?

Широкая улыбка Нажуара обнаружила его блестящую золотую челюсть и, приблизив к другу свою грудь, пахнущую дорогой сигарой он прошептал ему:

— Ради женщины я изменяю всякой политике.

И на этом друзья расстались.

Нажуар, увлеченный созерцанием молодой особы с японской собачкой, быстро скрылся в дверях соседнего магазина, а господин де-Феж повернул в другую сторону и двинулся медленным шагом, испытывая после посещения банка то легкое и восторженное чувство, которое можно сравнить только с религиозным экстазом.

Ни разу не ускоряя шага, господин де-Феж достиг перекрестка, остановился, прислушался к дневным известиям, которые выкрикивали зычными голосами бегущие газетчики, спросил у бедной женщины, почему она торгует фиалками, и даже понюхал их, и, наконец, свернув за угол, взялся за стеклянную ручку двери, но входить помедлил, а бегло просмотрел ювелирные новости, разложенные на витрине, и только тогда вошел в магазин.

— Чему приписать такую честь?—воскликнул ювелир Пуаре и выпорхнул из-за прилавка.

— Я давно вас не вижу, дорогой Пуаре, хотя мы и живем, кажется, совсем рядом,—сказал господин де-Феж, и довольный тем, что опечалил друга своим упреком, засмеялся и запросто, без приглашения поместился на мягком кресле.

— А поэтому,—продолжал он совсем уже добродушно,—я решил наказать вас своим посещением.

— Очень рад, очень доволен, польщен,—затрещал Пуаре.—С чудесной вас погодой. Как поживает почтенная супруга?

— Моя супруга и была сегодня причиной того, что я нахожусь у вас,—ответил господин де-Феж и изложил свое намерение приобрести некоторую вещь, которая могла бы порадовать его супругу и хотя бы отчасти вознаградить ее за хлопоты по устройству домашнего очага.

Пользуясь тем, что в магазине не оказалось покупателей, желание господина де-Феж было подвергнуто всестороннему обсуждению.

— Я не советую вам покупать такой браслет,—говорил Пуаре,—это вещь невидная и слишком дорогая, а здесь хотя и не настоящий камень, но сразу бросается на вид, ласкает и восхищает глаз.

Изогнувши корпус, склонив на бок голову и растопырив пальцы, Пуаре потрясал цепным браслетом перед самым лицом господина де-Феж, и делал это так ловко, что он, вот-вот, должен был задеть кончик его носа, и всё-таки не задевал, а вновь взметался в воздух и, позвякивая, падал на подставленную ладонь Пуаре, а господин де-Феж, стараясь ничем не выказать опасения за сохранность своего лица, восхищенно шептал:

— Очень мило! Очень, очень богато!

Это занятие так увлекло друзей, что они почти и не заметили вошедшего молодого человека, который терпеливо выждал того момента, когда Пуаре, сложив браслет, наконец, обратился к нему с вопросом:

— Чем могу служить?

— Мне нужно видеть ювелира Поля Пуаре,—ответил молодой человек, с легким иностранным акцентом.

— Это вам легко сделать,—затрещал Пуаре,—так как перед вами находится хозяин магазина, ювелир, мастер, Поль Пуаре, готовый к вашим услугам.

Молодой человек поклонился и, подыскивая слова, помял в руке свою шляпу.

— Вернее мне нужны не вы,—сказал он, еще раз поклонившись,—я хотел бы видеть вашу супругу Мадлен Пуаре.

— Это, сделать уже гораздо труднее,—заявил Пуаре, шаркнув ногой и многозначительно улыбнувшись в сторону господина де-Феж, который больше не разглядывал драгоценностей, а также обратил свое внимание на странного посетителя.

— Ее нет в Париже?—спросил молодой человек.

— О нет,—ответил Пуаре,—моя супруга, как истинная парижанка, никогда не покидает своей родины. Я могу указать вам ее точный адрес.

— Пожалуйста,—коротко сказал молодой человек, не успевая следить за слишком быстрыми движениями ювелира Пуаре, который уже оказался за прилавком.

— Вот ее адрес,—говорил он, записывая карандашом на своем блокноте.—Но только я должен перед вами извиниться за то, что отсылаю вас не в очень парадный квартал нашего города.

— Это неважно,—сказал молодой человек и, положив адрес в карман, откланялся.—Благодарю вас.

— А с кем я имею честь говорить?—спросил Пуаре.

— Это тоже не важно,—ответил странный посетитель и вышел из магазина.

— Каков!—воскликнул господин де-Феж.

— Мне кажется,—театрально провозгласил Пуаре,—что мы присутствуем при начале самого занимательного романа.

И вошедшая покупательница, с пунцовыми губами и совершенно белыми щеками, услышала громкий смех друзей.

ГЛАВА XI

Среди бесчисленных достоинств госпожи де-Феж следует отметить те верные чувства, которые она питала к своим умершим родителям.

Движимая такой верностью, два раза в год она посещала их могилу и потом в кругу родственников проводила вечер за обеденным столом у своей старшей сестры.

Накануне одного из таких дней занятия госпожи де-Феж с утра начались за письменным столиком. Она подробно исследовала меню прошлогоднего родственного обеда и сделала в нем некоторые исправления. По ее мнению, было недостаточно одного крема из спаржи, а следовало подать еще и суп жульен с жареными пирожками.

Проглядывая список жаркого, она вычеркнула свинину „по-русски“ и заменила ее козым седлом „по-тирольски“, ввиду того, что поведение желудка господина де-Феж за последнее время доставило ей немало огорчений.

Считая, что этой заменой она наносит чувствительный ущерб сытности всего меню, она к овощам добавила два соуса и, наконец, к сладкому присокупила особенно вкусный шоколадный торт, который она решила соорудить исключительно на свои средства. Это, казалось ей, должно было показать всем ее родственникам, что вкусы семьи де-Феж достигли в еде самой высокой изысканности.

О винах она не беспокоилась, так как их список еще месяц тому назад был подробно составлен мужем ее кузины.

Затем госпожа де-Феж написала письмо своей старшей сестре и в нем доказала необходимость таких нововведений. Письмо было переложено розовой душистой бумажкой и запечатано в конверт, на котором были изображены золотым тиснением целующиеся голубки.

После этого госпожа де-Феж приступила к обследованию своих туалетов.

Этот момент носил особенно торжественный характер. Посреди комнаты было поставлено кресло и на нем поместилась хозяйка, а около нее Октавия и Жанна раскрывали сундуки, вынимали платья и подолгу держали их перед взором госпожи, которая делала весьма ценные замечания о качестве их матерьялов и красоте самых разнообразных отделок.

По поводу одного платья Жанна, по неопытности, громко выразила свое восторженное удивление, за что получила строжайшую отповедь:

— Дальше своих обязанностей,—сказала госпожа де-Феж,—ты не должна совать своего носа. Молчаливость есть достоинство всякой порядочной служанки.

Платья, наконец, были уложены на прежнее место, и туалет следующего дня был предрешен: из тонкого коричневого сукна юбка, не слишком светлого тона, т.-е. не слишком молодо и не слишком старо, а главное неоскорбительно для такого печального дня. Кофточка была избрана фиолетового цвета, столь же подходящая к этому моменту, и шляпа с зеленым плерезом.

Однако туалет не завершал всех забот о завтрашнем дне, а поэтому госпожа де-Феж выслала служанок из комнаты и заперлась на ключ и разложила перед собой все свои драгоценности. И тут госпожа де-Феж решила использовать те украшения, которые еще никто

на ней не видал, и она отобрала: три браслета, два ожерелья, пять колец, золотые часы с эмалью на длинной цепочке и гребень, усыпанный камнями.

О своем выборе она сочла нужным поделиться с супругом.

— Браслет с бирюзой и браслет с топазом,—сказала она,—а также гранатовое ожерелье и три кольца я надену на кладбище, так как думаю, что родители, созерцая нас своими невидимыми очами, всегда радуются, замечая, что их ходатайство за нас перед всевышним не остается напрасным.

— Совершенно справедливо,—согласился господин де-Феж.— А поэтому и я решаю надеть второй бриллиантовый перстень.

Эти чрезвычайные занятия, казалось, должны бы были утомить госпожу де-Феж, но она была неутомима, и еще долго, призвав к себе в комнату служанку Жанну, об'ясняла ей, насколько важной вещью является письмо, написанное ее госпожей, как надо с ним обращаться и какая тяжелая ответственность ляжет на ее душу, если она вдруг его потеряет. Затем она указала самый подробный путь и точный адрес своей старшей сестры, которой надо было отнести письмо, а также преподала несколько правил поведения честной девушки, когда она ходит по улицам Парижа.

— Ты не должна подолгу вглядываться в лица встречных мужчин,—сказала она, ударяя пальцем по столу,—иначе они могут позволить себе некоторые вольности.

И Жанна с трепетом отправилась в свой первый самостоятельный путь по улицам Парижа, но не успела она выйти за калитку, как дорогу ей преградила мадмуазель Марина.

— Жанна, вы куда?

— К сестре моей госпожи с письмом,—радуясь встрече, ответила Жанна и, зажмурив глаза, прошептала:—так страшно идти одной.

— А где живет ваша тетушка Мадлен?—спросила мадмуазель Марина и, не дожидаясь ответа, взяла Жанну под руку и повлекла за собой.

— Идемте вместе, по дороге мы все решим.

Весело болтая, мадмуазель Марина и Жанна доехали на автобусе до станции метрополитена, пронеслись в грохочущей подземной тьме и достигли улицы, на которой отыскивали ту развалину, где проживала Мадлен.

Мадмуазель Марина вынула из кошелька несколько монет и, зажимая их в руке Жанны, сказала:

— Отсчитайте себе на обратный путь, а остальное передайте своей тетушке.

По счастливому лицу Жанны было видно, что она не в силах противиться поступку мадмуазель Марины.

— А как же письмо?—спросила она, испуганно ощупывая его в кармане.

— А письмо давайте мне, я его отвезу. Дорогу отсюда вы теперь найдете сами.

Быстро удаляясь, мадмуазель Марина крикнула:

— Идите же скорее!

Но Жанна не трогалась с места. Оставшись одна, она оглянула улицу, по которой не торопясь, словно не зная, куда себя деть, бродили странно одетые и полуодетые люди с напряженными и что-то ищущими глазами.

— Ты зачем здесь, краснощекая?

И прямо в упор перед Жанной на тонкой дрожащей шее появилось лицо с треугольной скважиной вместо носа и коричневым оскалом зубов.

— Навестить тетушку,—прошептала Жанна.

— Ага! Испугалась, сытая телушка!

В лицо Жанны загнусавил смрадный хохот.

Она вбежала во двор и боком стала пробираться по стене, боясь страшной погони. Ничего не различая от страха, она оступилась в подвале о камень и больно ударилась плечом о дверь пра-чечной.

— Кто смеет беспокоить принцессу этого замка!—крикнул громкий голос, и за ним последовал столь же громкий смех.

Жанна остановилась в нерешительности, но дверь открылась, и в полусвете она увидала перед собой молодого человека, который прижался к притолке, уступая ей дорогу.

— Ну, иди, иди, племянница,—крикнула Мадлен.

Разглядев ее тощую фигуру, согбенную все у той же печурки, только тогда Жанна поверила себе, что она не ошиблась в помещении, и вошла, кивнув головой незнакомцу.

— Итак, вы представились моему любезному супругу Полю Пуаре, и теперь понимаете, что я могу посылать его ко всем дьяволам.

— Если он знает, что вы...—начал-было молодой незнакомец, но Мадлен, не слушая его, быстро забормотала:

— Да, да! Ко всем дьяволам. Но какую новость узнает от вас Жюль Лиер! Несчастный Жюль Лиер! Проклятый Жюль Лиер! Он надоел мне своими жалобами. Вы не знаете его. Он добрый Жюль Лиер. Он от счастья сойдет с ума, и это вы принесли ему такое счастье. Как вас зовут, молодой человек?

— Зовите меня просто Жак,—потупя голову, сказал незнакомец.

Мадлен встала и, размахивая руками, устремилась к Жанне.

— Ты слыхала, племянница, ты видишь, приехал Жак, он привез моему старому дураку радость.

Жанна стояла с пылающим лицом и выжидала той минуты, когда она сможет вручить своей тетушке крепко зажатые в кулаке монеты мадмуазель Марины. Наконец, она схватила ее за рукав и, застыдившись, трепетно сказала:

— Тетушка, меня ждет госпожа... возьмите это...

Но рука Мадлен отмахнулась, и со звоном полетели на пол монеты.

— К дьяволу госпожу!—кричала Мадлен, топая ногами.—Нет у меня госпожи! Я сама принцесса Мадлен! Несчастный Жюль Лиер! Идите от меня прочь! Идите, ищите его, кричите по всему Парижу! Жак, дорогой мой Жак!

Сердце Жанны так сильно билось, что, выбежав от тетушки Мадлен, она не могла идти и часто останавливалась, чтобы передохнуть, и сама не замечала, как вместе со вздохом губы ее шептали:

— Жак... приехал Жак...

Но образ госпожи де-Феж стоял перед ней так же неотступно, и она напрягала все усилия, чтобы идти быстрее. Жанна не жалела ни о том, что не отсчитала себе денег на обратный путь, ни о том, что на нее рассердилась тетушка, но, когда она услышала за собой голос молодого незнакомца, она пришла в полное отчаяние.

— Жанна,—сказал Жак,—ваша тетушка просила меня проводить вас до дому. Где вы живете?

— Я живу на улице Булочников, глотая слезы,—ответила она и замахала руками.—Но только не надо, не надо!

Жак крепко сжал ее локоть и крикнул:

— Жанна, мы должны с вами встретиться.

Но Жанна вырвалась и побежала, стараясь не потерять в памяти направление к своему дому.

ГЛАВА XII

Когда после долгих блужданий по улицам Парижа Жанна вошла в свой двор и поравнялась с садовой калиткой, содрогаясь от одной мысли предстать с ответом перед своей госпожей, она услышала тихий и ласковый голос мадмуазель Марины:

— Скажите, что письмо опустили в дверной почтовый ящик и, позвонив, ушли.

— Я не могу... мне страшно...—едва проговорила Жанна, задохнувшись от быстрой ходьбы.

Она с трудом подняла отяжелевшие ноги на ступени крыльца и медлила переступить порог.

Октавия высунулась в окно, не скрывая на лице своем злорадного удовольствия, которое она испытывала, чуя гнев госпожи к своей товарке.

— Ну, иди, иди, гуляка!—крикнула она настолько громко, чтобы не обеспокоить хозяйку и вместе с тем оповестить ее о приходе тяжко провинившейся служанки.

Жанна вошла в кухню и в изнеможении опустилась на скамейку.

— Нечего сказать, хороша!—посмеялась Октавия и прошла в комнаты, но быстро вернулась и спросила:—Письмо передала?

— Передала...—прошептала Жанна.

Октавия опять исчезла и долго не возвращалась. Жанна знала, что теперь она должна явиться для нее страшным вестником, и в ожидании старалась уловить хоть какой-нибудь звук, напоминающий ее шмыгливые шаги, но в доме, казалось, стояла мертвая тишина. Потом ей вдруг почудилось, что за ней кто-то подглядывает в окно, но там никого не было. Увидав свои пыльные башмаки, она схватила попавшее ей на глаза полотенце и вытерла их, но сейчас же испугалась своего поступка и запихнула полотенце за посудный шкаф и не могла уже отделаться от того сознания, что на совести ее тяготеет новое преступление. Воображение ей рисовало всякие страхи и даже то, что ей отказывают от места, и это был такой ужас, от которого надо было хоть чем-нибудь отделаться, и, глядя в окно, Жанна стала гадать:

„Если пролетит воробей,—думала она,—то я останусь, а если нет...“

Но воробей не летел, и сердце опять ныло, и всем телом овладевала такая усталость, что глаза начинали слипаться, и она стала дремать.

А между тем госпожа де-Феж продолжала свое тайное совещание с Октавией. Все права в деле наблюдения за служанками настолько принадлежали ей, что в них не должен был вмешиваться никто, не исключая самого супруга, но гнев ее был так велик, что в этот раз она не могла молчаливо и наедине обдумать свои намерения о наказании Жанны и поэтому, удалившись в спальню, призвала Октавию и излила перед нею свое возмущение в целом ряде грозных тирад, которые, как она полагала, не мешало кстати прослушать и старой верной служанке. Сначала все, что говорила госпожа де-Феж, было истинным эхом ее душевной грозы, но постепенно гроза начинала утихать и только голос продолжал быть суровым, а на самом деле торжествовала необыкновенная доброта госпожи де-Феж, и в тайне она уже решила простить скверную девчонку, проходившую с письмом вместо одного целых четыре часа. Она уверила себя, что христианские чувства не позволяют ей лишить возможности несчастную дочь отработать долг своего беспутного отца, и тем самым освободить его душу от такого страшного греха, каким является для всякого покойника неисполненное денежное обязательство.

— Служанка для госпожи есть испытание, которое посылает ей всевышний,—сказала госпожа де-Феж.—Надо быть христианкой. Позови ее ко мне.

— Мать Пресвятая Дева!—воскликнула Октавия, застав Жанну дремлющей на скамейке.

Она прислонилась головой к стене и улыбалась тому сладкому, что начинало ей грезиться во сне.

— Посмотрите на нее, она еще спит!—расталкивая Жанну, начала Октавия, недовольная тем, что гнев госпожи смягчился, и Жанну не прогонят из дому, а поэтому в ее кухонном царстве останется нежеланный посторонний глаз.

— Иди на расправу!

И Жанна предстала перед госпожей, чувствуя, как воздух вокруг нее начинает холодеть и при всяком ее движении по телу пробегают озноб. Она ждала ужасных слов госпожи, но та молчала и быстро бегала по ней своими острыми глазами.

— Простите меня, госпожа де-Феж...— пролепетала Жанна, не веря в то, что ее просьба тронет сердце хозяйки.

Госпожа де-Феж все так же молчала и постукивала пальцами по ручке кресла. В комнате ото всего веяло необыкновенной серьезностью, к портретам покойных родителей де-Феж были прикреплены лавровые листья, и тонкой кисеей по случаю предстоящего печального дня было завешено зеркало, в котором увидала Жанна свое мутное отображение и поняла, что она совершила новое преступление, явившись сюда в своем верхнем платье. Она застыдилась и так жарко покраснела, что ей защипало веки.

— Ну?—промолвила, наконец, госпожа де-Феж.—Я вижу тебя насквозь, какая ты есть.

Жанна ничего уже не могла ответить и закрыла лицо ладонью, стараясь удержать слезы.

— Это совсем лишнее,—сказала госпожа де-Феж.—Хорошая служанка должна всегда иметь приятное и веселое лицо. Плакать или смеяться в присутствии хозяйки неприлично. Ступай в чулан и приведи себя в должный порядок, а потом мы поговорим.

Жанне было все равно, что станет с ней потом, и она вышла из спальни почти счастливой, но в коридоре ее остановил окрик госпожи:

— А письмо передала прямо в руки?

— Госпожа де-Феж,—послышался голос мадмуазель Марины,—по моему совету Жанна опустила письмо в дверной ящик.

— Вы очень любезны,—сказала госпожа де-Феж,—но я думаю, что служанка должна делать то, что ей приказывает госпожа. Письмо имеет очень важное и экстренное значение, а оно может завалиться в ящике.

— Я готова исправить свою ошибку,—спокойно возразила мадмуазель Марина и, подойдя к Жанне, погладила ее по волосам.—Простите меня, Жанна, я вам доставила большую неприятность.

Поступок жилицы столь грубо нарушал авторитет госпожи де-Феж, что она вынуждена была выслать Жанну из коридора и в повышенном тоне обратиться к мадмуазель Марине и выразить ей свое недовольство, на что она улыбнулась и, вынув из кармашка жакета портсигар, закурила папиросу.

Это было, конечно, слишком дерзко, но госпожа де-Феж, обладая необыкновенно тонким воспитанием, не выказала обиды и весьма сдержанно спросила:

— Не думаете ли вы, что куренье вредит вашему слабому здоровью?

— Меня это совсем не интересует,—сказала мадмуазель Марина.— Благодарю вас за вашу заботу.

И, молча поклонившись друг другу, жилища и хозяйка разошлись по своим комнатам.

Госпожа де-Феж была вне себя. В таких случаях она пила успокоительные капли и, распустив корсет, запиралась в спальней. Выполнив все это, она все же пребывала в неопишемом волнении, и, не смотря на то, что часы показывали уже такое время вечера, когда следует находиться в постели, госпожа де-Феж покинула свои покои и вошла в чуланчик Жанны, которая сидела за своим столиком, зажав в ладони голову, и думала о женихе Жаке, столь неожиданно появившемся в Париже.

— Ты просто шлялась по улицам,—гневно крикнула госпожа де-Феж.—А может быть еще где-нибудь была?

— Нигде... я заблудилась...—сказала Жанна и, испугавшись своей лжи, тихо добавила:—у тетушки Мадлен...

— Ага! Ты заблудилась у тетушки Мадлен! Ты, значит, соврала?—допытывалась госпожа де-Феж, и глаза ее пронизали Жанну.—А это что? Почему у тебя платье в таком беспорядке? Ты была где-то еще?

— Госпожа, я собиралась ложиться спать,—ответила Жанна, зажимая в руке, расстегнутый пояс юбки.

— Поддай мне стул и продолжай раздеваться,—приказала госпожа де-Феж и, усевшись, стала молча следить, как Жанна дрожащими руками, которые тщетно искали застежек и путались в складках, неловко скидывала с себя одежду.

— Ну, дальше, дальше!—торопила ее госпожа де-Феж, и с возрастающим любопытством разглядывала ее скудный туалет.

Когда Жанна, вся красная от стыда, осталась в одной рубашке и, не зная, куда девать руки, сложила их на груди и потупила голову, госпожа де-Феж несколько раз оглядела ее с ног до головы, с неудовольствием остановившись на некоторых подробностях.

Неловко сжатые колени девушки начинали дрожать, и краска стыда зажигала плечи и грудь.

— Ты дрожишь, стало-быть ты виновата. Ну, говори!—настаивала госпожа де-Феж.

— Мне холодно,—прошептала Жанна.

— Ты слишком толста. Для служанки неприлично быть такой толстой. Ты должна меньше есть.

И, хлопнув дверью, госпожа де-Феж, довольная своей ревизией, вышла из чуланчика Жанны.

ГЛАВА XIII

Поддерживаемая под руки Октавией и Жанной и овеванная запахами Кельнской воды и персидской сирени, госпожа де-Феж в день смерти своего родителя вышла из дома, и, хотя она и была поверг-

нута в глубокую печаль, но все же заботы о ближних не покидали ее сердца и дрожащим голосом она сказала своим приближенным:

— Позавтракать вы можете вчерашним супом, а вместо обеда я привезу вам с поминального стола хороших об'едков.

И только после этого она поместилась в авто, имея с левой стороны своего супруга, а на коленях замечательный шоколадный торт.

Октавия поспешила к своим занятиям на кухне, а Жанна должна была проводить госпожу, идучи рядом с дверкой кареты до тех пор, пока она не спустится с горы узкой улицы Булочников, несколько лет тому назад причинившей госпоже де-Феж большую неприятность.

Проводив авто, Жанна зашла к мяснику и об'явила ему о недовольстве своей госпожи по случаю недовеса в товаре, замеченного ею за последнюю неделю.

Призвав во свидетели высокие небеса, мясник доказал свою обыкновенную честность. Жанна молча выслушала его бойкую речь и, пользуясь свободой, не торопясь направилась домой.

Утро было жаркое и светлое.

Жанна остановилась на углу своей улицы, откуда тянуло легкой прохладой, и, заставив ладонью глаза, стала следить за полетом голубей, там и сям, словно из пригоршни брошенных в небо.

— Жанна!—окликнули ее сзади.

Она узнала голос Жака и вся затрепетала от радости и от страха.

— Не надо, не надо...—повторила она вчерашние слова, не обращившись и не трогаясь с места.

— Почему же вы не едете в Шуази ле-Руа?—робко спросила она, полуобернувшись наконец к Жаку и так же не глядя на него.

— В Шуази ле-Руа? Зачем?—удивился Жак.

— Вас ждут родители, они соскучились без вас,—строго сказала Жанна, огорченная удивлением Жака.

— Да, да... конечно, я поеду...—не сразу и нерешительно проговорил Жак. — Я поеду... Жанна! А что вы сегодня делаете?

— Я стану ждать свою госпожу и служить нашей жилище.

— А как зовут вашу жилищу?

— Мадмуазель Марина.

И, улыбнувшись, Жанна добавила:

— Она очень хорошая госпожа.

Губы Жака дрогнули, и лицо его слегка побледнело, но Жанна ничего этого не заметила, так как стояла все так же потупившись.

— Она иностранка. Она очень хорошо рассказывает,—говорила Жанна, теребя оборку своей кофточки и стараясь побороть смущение от присутствия того человека, о котором она давно мечтала и которого встретила только теперь и боится на него посмотреть.

— Она мне обещала рассказать об очень интересных происшествиях. И про свою родину тоже. Она не согласна с нашим парикмахером Полем, который передавал, что в России страшно жить от лесных разбойников.

— Жанна, дайте мне слово, что мы будем иногда встречаться,— умоляюще сказал Жак.

— Иногда!—невольно вырвалось у Жанны, но она быстро спохватилась и серьезно, сдвинув брови, повторила:—Иногда. Конечно, иногда. Пока я не смею часто с вами встречаться.

— Вы мне будете говорить о себе,—не слушая ее, говорил Жак,— что вы делаете и что вам рассказывает мадмуазель Марина, все, все... А это возьмите от меня в залог нашей дружбы.

Жанна почувствовала на своей руке прикосновение дрожащих пальцев Жака и прохладных лепестков фиалок, которые он старался положить ей на ладонь.

— Нет, нет, госпожа рассердится,— испуганно и вся зардевшись от радости сказала Жанна.

— Не бойтесь, возьмите,— торопливо говорил Жак, побеждая слабое сопротивление Жанны.—Пусть они будут стоять у мадмуазель Марины. Любуйтесь ими вместе. Слышите, Жанна?

— Ого! Какие прекрасные цветы вы купили для своей госпожи!— прохрипел над самым ухом Жанны старик Крашер, обитавший в доме супругов де-Феж.

Это случилось как раз в тот момент, когда Жанна осмелилась взглянуть на Жака, а поэтому испуг ее был так велик, что она бегом кинулась домой и опомнилась только у себя на дворе и только там заметила, что в руке ее крепко зажат пучок фиалок, который она быстро скрыла под фартуком и, незамеченная Октавией, прошла в комнату мадмуазель Марины.

— Мадмуазель,—сказала Жанна,—горячая вода для вашего кофе готова.

— Откуда у вас такие чудесные фиалки?—спросила мадмуазель Марина, когда Жанна, сияя счастливыми глазами, положила перед ней цветы.

— Я все вам сейчас расскажу,—радостно сказала Жанна и, поцеловав плечо Марины, выбежала из комнаты.

— Что ты скажешь, как дикая коза?—заворчала Октавия, застигнутая Жанной за совершением тайных кухонных дел. Она старалась что-то загородить на скамейке своим широким задом и злобно смотрела на Жанну.

— Октавия, не сердитесь на меня. Можно мне вас поцеловать?—спросила Жанна, блистая влажными глазами.

— Поцелуй лучше эту стенку, если у тебя чешутся губы,—прошипела Октавия и, потеряв самообладание, отлипла от своего места обнаружив за собой жирный край вестфальского окорока.

— Ступай сейчас же делать то, что тебе приказывала госпожа!—крикнула Октавия и шлепнула по полу своей увесистой пяткой.

Жанна попятилась к двери и, боясь еще раз рассердить Октавию, поспешила уйти из кухни.

Она прошла несколько раз по комнатам; не зная зачем—остановилась у литографии, изображающей Пальмерстона, и провела по ней пуховкой. То же самое совершила она над изображением Бастилии и потом загляделась в окно на двор, по которому одиноко бродил шестилетний сын Крашера — единственный ребенок, с лицом преждевременного старца, обитавший в доме супругов де-Феж.

Глядя на него, Жанна подумала такое, что вся мгновенно вскинулась и, отойдя от подоконника, прошептала:

— Нет, нет... этого не будет!

Пуховка ее выпала из руки.

Луч весеннего солнца загорелся на пылающем ухе Жанны, и высоко поднималась ее грудь.

Долго бы Жанна простояла так, если бы не вспомнила, что она обещала зайти к мадмуазель Марине. Однако после этой мысли, которая привела ее в такое смущение и заставила отойти от окна, уже нельзя было так просто исполнить свое обещание и рассказать ей о встрече с Жаком, а поэтому Жанна была рада, когда она, войдя в комнату жилицы, застала ее не на обычном месте за столиком, а на постели за ширмами.

Мадмуазель Марина лежала, полузакрыв глаза и как будто не замечая Жанну, на цыпочках подошедшую к ней. Она держала лист почтовой бумаги, свернутый пополам. На нем было что-то написано крупным мужским почерком.

Когда Жанна сделала движение, чтобы повернуться и уйти незамеченной, мадмуазель Марина вскинула веки, сунула под подушку листок и, положив обе ладони под щеку, повернулась на бок.

— Вы не уходите, я не сплю,—сказала она совсем тихо.

— Вы получили нехорошее письмо?—спросила Жанна.

— Нет, ничего,—нехотя ответила мадмуазель Марина.—Это письмо так себе... оно старое... обыкновенное... от моей матери.

И она опять закрыла глаза.

Жанна подумала, что она снова задремала, и хотела уйти, но мадмуазель Марина, сделав над собой усилие, привстала на локоть и, улыбнувшись, сказала:

— Ну, ну, сядьте, Жанна, и расскажите мне, где вы достали эти фиалки?

Жанна смутилась и, повторяя слова старика Крашера, ответила:

— Эти прекрасные цветы я купила для своей госпожи.

— Тогда зачем же вы поставили их у меня?

И, опять повторяя чужое и такое неожиданно радостное, Жанна сказала:

— Пусть они побудут у мадмуазель Марины, и мы вместе будем ими любоваться.

Жанна стояла, опустивши голову, и не смела поднять лица и поглядеть на мадмуазель Марину, так как чувствовала, что сейчас же выдаст себя и не сможет больше говорить неправды.

— Что с вами случилось, Жанна?—спросила мадмуазель Марина.—Подойдите ко мне поближе.

Жанна не решалась подойти и вместе с тем знала, что уйти она также не может, и не может уже избежать признания, но все-таки сделала последнюю попытку избежать его и, путаясь, пробормотала:

— Я, мадмуазель, насчет кофе, т.-е. хотела вас спросить, долго ли вы станете отдыхать?

Но мадмуазель Марина, потянувшись с постели, взяла ее за руку и привлекла к себе:

— Говорите скорей, откуда у вас эти цветы и почему вы так покраснели?

Жанна, как пойманный в шалостях ребенок, упираясь, шагнула к постели и, отвернувшись, глухо проговорила:

— Я сказала неправду... Приехал Жак... мой жених. Это его цветы.

И долго еще Жанна, сидя на постели мадмуазель Марины, плакала счастливыми слезами и шопотом умоляла ее:

— Только никому не говорите. Не говорите об этом моей госпоже.

Г Л А В А XIV

Путь до кладбища был совершен супругами де-Феж вполне благополучно и, как это соответствовало моменту, в полном молчании, которое господин де-Феж при вступлении за ограду неосторожно нарушил, высказав по поводу опередившей их дамы следующую мысль:

— Не думаешь ли ты, что эта особа напоминает ту женщину, которая в прошлом году убила своего супруга?

— Эта женщина была справедливо предана смертной казни,—сдержанно сказала госпожа де-Феж.—Помолчи, пожалуйста, и не мешай мне внутренне беседовать с моими дорогими покойниками.

Господин де-Феж извинительно и молча склонил голову и, подойдя к родительской могиле, вынул из своего маленького кожаного сака маленький бархатный коврик и расстелил его перед своей супругой, которая опустила на него колени, боявшиеся земляной сырости.

Внутренне беседуя со своими родителями, госпожа де-Феж весьма пристально изучила костюмы окружающих ее родственников и, пересчитавши всех собравшихся на этот печальный обряд, убедилась в том, что отсутствует муж ее кузины.

— А где же твой Теофиль?—спросила она кузину, покидая кладбище.

— Клянусь нашей могилой,—восторженным шопотом сказала она,—вам покровительствует небо. Теофиль прибудет к обеду с новостями, очень важными для господина де-Феж.

Когда, вернувшись с кладбища, все поместились за траурным и обильным столом, была раскупорена бутылка того именно вина, кото-

рое, по мнению знатоков этого напитка, больше всего напоминало кровь Господа Христа, а в ту минуту, когда все в молчании держали перед собой налитые бокалы и готовы были совершить это домашнее таинство, вбежал запыхавшийся Теофиль и, присоединившись ко всем, поднял свой бокал и воскликнул:

— За здоровье дорогих...

Здесь он немного запнулся и продолжал:

— ...вернее сказать, за небесное процветание наших дорогих покойников. Этот дар земли я выпиваю за них и за их покровительство нам. Чудесные признаки такого покровительства я увидел сегодня в том, что наши земные труды достаточно награждаются, а именно: я объявляю вам о том, что наше благотворительное общество, т.-е. богадельня для престарелых бедняков, вскоре посетит сам президент республики и сам передаст награды старейшим членам общества, в числе которых нахожусь я и вы, мой дорогой де-Феж.

И среди трапезующих, как единый вздох, пронеслось два слова:

— Почетного легиона.

Поминальный обед кончился совершенно неожиданной речью господина де-Феж, который встал и, заранее взволнованный своим остроумием, сказал:

— Прелестные дамы и почтенные господа. Мы все пьем вино, а поэтому я должен вам напомнить, что ветхий завет излагает нам прискорбный случай с первым виноделом и нашим праотцем Ноем, над которым надругался сын его Хам. Следовательно, последний наш тост должен быть выпит за брата его Сима, который, загладил поступок непристойного брата и который таким образом является нашим святым покровителем.

Эта блестящая речь закончила родственное свидание, и все разошлись в добром настроении, а супруги де-Феж всю дорогу вели оживленную беседу.

— Я начинаю серьезно подумывать о том,—сказал, между прочим, господин де-Феж,—что мне следует переменить марку моего вина и перейти на более дорогую.

ГЛАВА XV

Этот необыкновенно тонкий намек на свое новое положение в обществе города Парижа госпожа де-Феж нашла нужным подчеркнуть еще и тем, что, вернувшись в свой дом, она с особенно изнеженными манерами позволила раздеть себя своим служанкам, а когда правая рука ее была освобождена Жанной от шелковой метенки, она приблизила ее к губам девушки и слабым голосом сказала:

— Можешь поцеловать.

В это время Октавия, уже завладевшая свертком с хорошими остатками с поминального стола, стремительно прильнула к левой руке своей госпожи и трепетно прошептала:

— Сударыня, я не даром видела ваших родителей в кровавом венце нашего небесного господина.

— Ты, значит, без меня целый день провалялась на постели?—спросила госпожа де-Феж вполне окрепшим голосом.

— Возможно ль, сударыня! Я хлопотала на кухне,—пролепетала Октавия.

И она была, конечно, права, так как действительно, воспользовавшись отсутствием хозяйского глаза, целый день переправляла свои тайные с'естные запасы торговцу коксом и керосином на улице Булочников, в холостое обиталище которого она забегала раз в неделю и всякий раз возвращалась оттуда немного взволнованной.

— А ты?—сурово спросила госпожа служанку Жанну.

— Я убирала комнаты,—ответила Жанна и потупилась.

Это движение не ускользнуло от зоркого глаза госпожи де-Феж, и она сейчас же заметила:

— Когда служанка говорит со своей госпожей, то она должна прямо и честно смотреть ей в глаза. А что делает эта особа?

И госпожа де-Феж едва скосила глаза на дверь жилицы.

— Мадмуазель Марина нездорова и лежит в постели,—глядя на пухлый тройной подбородок своей госпожи, ответила Жанна.

Это известие оказалось крайне беспокойным.

— Наша жилица больна,—сообщила госпожа де-Феж мужу с тревогой в голосе, который, сменив парадные одежды, довершал свой туалет, обычный для посещения вечернего кафе.

— Мне очень хорошо известно,—продолжала госпожа де-Феж,—что в России целыми городами вымирают от тифа. Эти русские так нечистоплотны. Я думаю, что и наша особа, тем более при своих демократических мнениях, не представляет из себя в этом отношении особого исключения.

— Я советую не волноваться и только быть осторожнее,—сказал господин де-Феж.—Постарайтесь не подавать ей руки.

— Ах, какой ужасный народ! Какое наказание послал нам всевышний!—воскликнула госпожа де-Феж и, распуская корсет, добавила:—И всему миру.

И она с особой тщательностью обследовала свою кружевную рубашку, вспомнив, что, во время ее страстной молитвы на кладбище, она ощутила на своей спине нечто похожее на укус некоторого насекомого. После такого обследования она решила освежить свое тело влажной губкой, изменив своему обычаю делать это только один раз в месяц.

А между тем господин де-Феж направился в кафе.

Проходя по двору, он был всецело погружен в глубочайшие соображения по поводу новостей, сообщенных Теофилом, но вдруг его внимание было отвлечено необычным шумом, доносившимся с лестницы жильцов.

Будучи внимательным хозяином, господин де-Феж не замедлил заглянуть туда, чтобы распознать причины такого беспорядка, и взорам его представилась совершенно странная картина.

На второй площадке, лицом к выходу стоял бледный, как стена, Пуаре, а против него, могучим и обгорелым на солнце затылком к выходу, стоял матрос, намеревавшийся схватить своего слабого противника за узенькие плечи. До прихода господина де-Феж это действие было очевидно приведено им в исполнение, и, вероятно, не однажды, так как костюм Пуаре находился в полном беспорядке: белоснежная манишка вылезла из-под жилетки, а галстук с очаровательными зелеными горошинами по желтому полю развевался за спиной, и сам Пуаре бессвязно лепетал:

— Я вас прошу... я вас прошу... я вам скажу... я, я, я...

И вдруг от крепкого пожатия матросской руки, схватившей его за локоть, Пуаре жалобно заверещал:

— Пустите меня, мне больно!

С легкостью, с которой скачут молодые козлы, господин де-Феж прыгнул через три ступеньки, ведущие в нижнее помещение дома, и присел на корточки, чувствуя, как его сердечные стуки начинают перемещаться все ближе к горлу и мешают ему дышать, а руки и ноги холодеют и дрожат. И только, когда сквозь туман его омраченного взора проплыла у выхода широкая спина матроса, он почувствовал некоторое облегчение, привстал, прислушался и, настолько, насколько позволяли еще дрожащие колени, поднялся по лестнице, и позвонил в квартиру Пуаре.

— Я не пущу вас, негодяй,—раздался за дверью вполне смелый голос Пуаре.—Вы сейчас будете иметь дело с полицией.

— Дорогой друг Пуаре, это я,—полушопотом произнес господин де-Феж, и дверь быстро распахнулась и так же быстро захлопнулась.

Друзья кинулись друг другу в объятия, а Пуаре даже проследил за ними, припадая к плечу господина де-Феж, застонал:

— Поверьте мне, это все делает моя подлая, развратная супруга Мадлен.

— Верю, верю, дорогой мой друг,—утешал его господин де-Феж,—бедность и безделие развращают людей до неузнаваемости. Я бы убил на месте этого мерзавца, если бы только он не поспешил так скоро удалиться.

И через короткое время господин Пуаре, совершенно оправившись от пережитых им треволнений, провожал своего друга и, высунав за дверь только одну голову, оживленно говорил:

— Ценю ваше внимание, желаю доброго здоровья и радую вас новостью.

Здесь Пуаре запнулся и засмеялся.

— Есть достоверный слух о том, что русские платят свои долги.

А господин де-Феж с удовольствием медлил уходить, так как уже заметил поднимающегося по лестнице полицейского агента.

— Мне сообщили по телефону о бесчинстве,—важно сказал агент, немного разочарованный тишиной, царящей во дворе владения господина де-Феж.

— О, не беспокойтесь,—сказал хозяин дома,—мы сами справились с этим буяном.

И, указав на дверь, он внушительно добавил:

— Пройдите сюда, там есть нечто интересное для вас.

И с опозданием ровно на час господин де-Феж появился в кафе, что ему дружески было поставлено на вид седовласым представителем республиканской армии.

ГЛАВА XVI

— Это еще откуда такая гостья?—спросила Мадлен, разглядывая вошедшую за матросом женщину в желтой кофте.

— Пускай ее.

И, бросив под себя всякую ветошь, матрос устроился на полу около ящика, на котором стояли бутылки, зажег трубку и сквозь зубы процедил:

— Тебя как зовут?

— Жульетта,—ответила женщина и перекинула через плечо газовый шарф со ржавыми следами буйных попок.

— Дурочка, нашла к кому привязаться,—разминая щекой кусок жесткого сыра, промычала Мадлен.—Правда, что ли, музыкант?

Но Жюль Лиер продолжал молчать, и его лицо с закрытыми глазами казалось мертвым.

— Жульетта, так Жульетта,—сказал матрос, наливая вино.— Я знаю, тебе выпить хочется. Садись и пей.

— А на чем же тут садиться?—обратившись к хозяйке, насмешливо спросила гостья.

— Завтра для вас будет заказано золоченое кресло,—путающим языком проговорила Мадлен,—а сегодня я прошу вас отказать себе в таком удобстве.

Но Жульетта не заставила себя долго упрашивать. Она быстро очутилась на коленях у матроса, залпом выпила стакан вина, вынула из чулка остаток сигары, разожгла его от трубки и, похлопав матроса по щеке, брезгливо сказала:

— Какой шершавый. Для чего вы всегда бреете свои физиономии?

— А для того, чтобы акулам легче было тлотать нас бритыми, чем небритыми. Тоже и старым капитанским кулакам легче прохаживаться по нашим бритым скулам. От этого, говорят, и завелся у нас такой обычай.

— А тебя часто били?—равнодушно спросила Жульетта.

— Попробовали один раз поступить со мной так же, как я сегодня поступил с господином Пуаре, и не обрадовались.

Мадлен очнулась и вскинула свою охмелевшую голову:

— Ну, ну, рассказывай, что ты с ним сделал?

— Передал твои слова.

— Ну, ну,—все больше оживлялась Мадлен.

— Он даже и читать ее не стал. Сказал, что ему до тебя никакого нет дела после того, как прогнал тебя из дому, и ты стала такой женщиной.

— Какой женщиной?—взвизгнула Мадлен.

Матрос прищурил глаза, покусал трубку и бросил в сторону:

— А не все ли равно, какой?..

— Ну, ну, а ты что?—настойчиво выпытывала Мадлен.

— Тут я и показал ему тринадцатую заповедь,—сердито сплюнув табачную нагарь, нехотя ответил матрос.—Нехорошо, конечно, ну да что делать.

И он отхлебнул от стакана два крупных глотка.

— Молодец, Жак!—крикнула Мадлен и, потянувшись к спящему музыканту, стала теревить его за рукав.

— Жюль Лиер! Жюль Лиер! Ты слышишь? Этот Жак остался все таким же славным мальчишкой, каким он бегал у себя в деревне.

Жюль Лиер с трудом поднял набухшие веки и, припадая к ее плечу, простонал:

— Душа моя, Мадлен, не мешайте мне грезить. Я видел сейчас мою Леони.

— Он совсем сошел с ума,—сказала Мадлен.—Заявился тут один молодчик с поклоном от нее, вот и раскис старый дурак, только и думает об этом целые дни.

И Мадлен с трудом отстранила от себя отяжелевшую фигуру Жюль Лиера. Голова его снова упала на грудь, и он бормотал, пытаясь вялым языком вытолкнуть изо рта попавшие туда усы.

— Она там погибнет... Она погибнет, моя Леони, среди грубых нравов русской нации.

— Нет, русские молодцы,—потягиваясь на коленях Жака, сказала Жульетта.—Там, говорят, нашему брату хорошее житье.

— Не ври, если не знаешь,—остановил ее Жак.

— В газетах пишут.

— В газетах врут. Так приказано писать. В России другое. Это страна необыкновенная.

— А ты не врешь?—Жульетта громко засмеялась и вскинула ногами, обнаружив свои красные, исцарапанные колени.—Вы сами ничего не знаете, вам бы только с девками по портовым кабакам шататься.

— Неправда,—отозвалась Мадлен.—Жак еще чист. Он сюда жениться приехал.

— Жениться,—злбно воскликнула Жульетта.—Нет, ему еще рано. Он еще подождет. У него еще спина не скрючилась и тело не стало гнить.

Жак молчал, но Жульетта, жадно глотая вино, задорно повторила:

— Он еще подождет. Он еще не скрючился. Ему еще рано. Он еще здоров.

— А я говорю, не рано,—спорила Мадлен, отнимая у Жульетты пустую бутылку.—Он женится, у него будет ферма, у него будет красивая жена, да, да, она очень красивая и молодая. У него будет свой дом, свой клочок земли.

— А чего этой землей добьешься?—тихо спросил Жак, боясь огорчить Мадлен.

— Денег. Денег. Денег,—крикнула Мадлен, ударяя по ящику длинными сухими пальцами.—Проклятых денег.

Жульетта торжествовала. Она обняла Жака и, привлекая к себе, зазывно говорила:

— Мы еще погуляем. Нам еще рано. Экая невидаль деревенские женщины. Вечно они в грязи и в навозе...

— Не в этом вопрос, что грязные,—сказал Жак, освобождаясь от липких объятий Жульетты,—а в том, что этой грязью никого не победишь.

— А тебе бы только по морям шататься,—рассердилась Мадлен.

— Да, и по морям,—твердо сказал Жак.—И не в этом тоже дело. А вот, когда стоишь на корабле за орудием, то уж здесь ты можешь быть настоящим хозяином, это уж не на огороде, а вообще... К тому же с моря человек всегда страшнее.

— Калек размножать. Крови хочешь,—почти стонала Мадлен, опершись на грудь Жюль Лиера и напрасно пытаюсь подняться.

— Не крови, а власти хочу,—тоже крикнул Жак.—Приказывать хочу. Всего хочу, как и все.

— Душа моя, Жак,—борясь с удушьем, прохрипел Жюль Лиер,—милый человек, Франция уже достаточно сильна, она идет во главе всей мировой культуры. Берегите достояние культуры.

— А я в этом достоянии хочу пробоину сделать, сквозняк. Тогда посмотрим, куда повернется наша голова. Как бы она совсем прочь не отлетела.

— Грубиян, мальчишка,—бормотала Мадлен, сваливаясь на ящик,—ты должен жениться, если ты обещал.

Жак налил себе вина, но пить не стал и протянул стакан Жульетте:

— На, пей, а мне не надо, у меня дело есть... Пусти меня, я пойду.

— А я не пушу,—плотнее устраиваясь на его коленях, сказала Жульетта.—Ты со мной пойдешь.

Жак ловко выскользнул из-под ее рыхлого тела и вскочил на ноги. Жульетта схватила его за руку и еще пыталась удержать, но он без усилия высвободил руку и мягко сказал:

— Не надо.

— Тогда давай мне денег,—крикнула Жульетта, но голос ее оборвался и она плаксиво пропищала:—Мне есть тоже хочется.

— Нет у меня денег,—говорил Жак, разыскивая свою табакерку.— Ты думаешь, что я тебя накормлю, если дам тебе денег.

И он подошел к Мадлен, которая спала, свалившись на пустые бутылки. По лицу ее ползала муха и, заглядывая в черную дыру ее рта, с жужжаньем отскакивала и путалась в жидкой седой пряди волос, намокших в вине.

— Мадлен,—позвал ее Жак.— Мадлен, передай этой девушке, что я не приеду. Мадлен.

И он потянулся, чтобы разбудить ее, но его с силой оттолкнула Жульетта, и на лицо его брызнуло несколько капель вина из стакана, который вылетел из руки Жульетты и со стеклянным скрежетом разбился в углу.

— Ууу... дьявол. Цела твоя морда,—захлебываясь слюной, прошептала Жульетта и тут же захрипела, сжатая сильной рукой Жака, на которой она повисла, как мокрая тряпка, а в ее глаза, глубоко запавшие в орбиты, как два тусклых застарелых синяка, впился взор Жака, ярко блистающий, словно корабельная сталь, и на бронзовой шее его, внятно для слуха, билась тугая жила. На Жульетту уже готов был обрушиться плотный тяжелый кулак, но у самой головы ее он остановился и замер.

— Глупая ты,—сдерживая смех, сказал Жак и, положив на потный лоб Жульетты свою широкую ладонь, потряс ее головой и всю ее скинул на пол.

— Ничего ты не понимаешь,—опять спокойно говорил он, раскладывая по карманам трубку и табакерку.— Человека мне нужно найти в Париже. И какого человека.

Жак еще раз оглянул нищенское жилье Мадлен и, махнув рукой, сказал:

— Ничего вы, друзья, не понимаете.

И его могучая спина потонула в подвальном мраке.

Бросив ей вслед площадную ругань и расплющив на полу свое дряблое тело, Жульетта сипло забормотала:

— Мне бы сейчас к мушкетерке пойти... за двадцать пять сантимов.

Жюль Лиер, разбуженный шумом, поднял набухшие веки и пролепетал:

— Душа моя, Мадлен, она погибнет, моя Леони, среди грубых нравов русской нации.

Но Мадлен, казалось, заснула навеки.

ГЛАВА XVII

У Жанны была радость, и не одна, а много радостей. Иначе говоря, не было на свете ни одной вещи, которая не радовала бы Жанну.

Сердце ее было преисполнено такой нежностью ко всему существу, что даже муха, сонно бродящая по краю блюдца с ядовитой жид-

костью, вызывала в ней сожаление, и мушиная смерть исторгала из ее груди искренние вздохи.

Но сегодня эта всепобеждающая радость заключалась в том, что ее шкафчик в чулане обогатился голубой коробочкой с папиросами, которые ей подарила мадмуазель Марина и которые она предназначала в подарок Жаку.

Жанна весело хлопотала по дому и разглаживала платье своей госпожи, собиравшейся с визитом к одному очень влиятельному члену благотворительного общества помощи раненым и увечным воинам.

Выбежав в сад нарвать цветов для букета госпожи де-Феж, она ухитрилась на обратном пути заглянуть за калитку, но улица Булочников была пуста, и, как ни хотелось ей, но она не увидела высокой стройной фигуры Жака и его лица, столь напоминавшего ей картинку из школьного учебника.

— Никогда не догадается,—капризно подумала она,—что я могу выглянуть за ворота.

Но его отсутствие опять-таки не огорчило Жанны. Она знала, что он придет не сюда и гораздо позже, и именно тогда, когда не будет дома ее господ.

— К вам это очень идет,—искренно восхищаясь, сказала она, передавая своей госпоже набранный ею букет, томящийся в пряном запахе резеды.

Но с госпожой де-Феж произошла неожиданная и внезапная перемена. Из благодушно настроенной и всем довольной хозяйки, какой она была за последние дни, она превратилась в ту же недоступную и строгую особу, которая пыталась ее своим пронизывающим взглядом за всякую малую оплошность.

— Я не хочу сейчас себя расстраивать,—сурово сказала госпожа де-Феж,—но потом мы с тобой поговорим.

Однако то, что раньше заставило бы Жанну промучиться целый день и в страхе трепетать, теперь показалось совсем незначительным, и, провожая за калитку своих господ, она даже осмелилась, вслед за Октавией, прикоснуться губами к голому напудренному плечу своей владычицы.

— Не смей! — крикнула госпожа де-Феж и брезгливо повела плечами, как бы стараясь сбросить с себя это нежеланное прикосновение.

Но и это не огорчило Жанну, так как впереди ожидала ее беседа с мадмуазель Мариной, которая все еще не покидала постели, жалуясь на потерю сил и на головокружение.

К великому удовольствию Октавии, Жанна никогда не входила в подробности ее кухонной жизни, а поэтому, проводив господ, она решила сама поощрить ее свидание с жилицей и благодушно сказала:

— Ступай, спроси, не нужно ли чего нашей больной...

А когда Жанна исчезла за углом господского флигеля, Октавия решительно и поспешно тронулась в том направлении улицы Булочников, где должно было находиться холостое обиталище торговца керосином и коксом.

ГЛАВА XVIII

— Когда я вас вижу, мне становится лучше,—сказала мадмуазель Марина, усаживая Жанну к себе на постель.—Ну, как же поживает ваш жених?

— Хорошо,—радуясь и краснея, ответила Жанна.—Я увижу его сегодня, а может быть и нет. Он ведь должен уехать к своим родителям в Шуази ле Руа.

— Он очень вам нравится?

— Да,—прошептала Жанна,—но только я не думала, что он станет таким. Я его знала маленьким, а теперь он большой, и он совсем, совсем не такой. Высокий, смуглый.

По лицу Марины промелькнула тень, она закрыла глаза и, не открывая их, спросила:

— Что же вы замолчали? Рассказывайте.

— А может быть вы, мадмуазель, расскажете,—робко сказала Жанна,—помните, вы начали чью-то повесть, и нам помешала Октавия.

— Ааа,—вспоминая, протянула мадмуазель Марина, но Жанне показалось, что она застонала от боли.

— Мадмуазель, вам нехорошо?

— Нет, ничего,—ответила она.

— Я вам дам воды.

И Жанна потянулась к графину, но мадмуазель Марина быстро открыла глаза и отрицательно покачала головой.

— Так вот, слушайте, Жанна,—сказала она твердым и сильным голосом и, помолчав, произнесла по-русски:

— Жили-были...

Жанна улынулась, а мадмуазель Марина пояснила:

— Так всегда начинаются все русские сказки.

— Ж и л и - б и л и, — повторила Жанна, вытянув розовые губы, и весело засмеялась.

В ответ ей мадмуазель коротко улыбнулась и продолжала:

— Так вот, жил в Москве один богатый человек. Очень богатый.

— Ой, как интересно!—воскликнула Жанна и пожала плечами, словно ей стало холодно от этих слов.

На лбу мадмуазель Марины легла тоненькая морщинка.

— И был он, Жанна, в молодости очень красивым и имел много женщин, которых он менял, как белье, так же легко и часто, но все-таки в конце концов женился. Жену свою он не любил, а любил ее

деньги. У него родился сын, а потом дочь. Это было давно, тридцать пять лет тому назад. Дети росли и почти не видели своего отца, потому что он сидел в своем магазине и торговал или уходил к своей любовнице, которую завел себе через месяц после свадьбы.

— Что же она смотрела!—возмущенно сказала Жанна.

— Смотрела и терпела, оттого, что так делали все, кто ее окружал. Я сказала, что он не любил свою жену, но этого мало, он истязал ее, он мучил ее. Правда, в нем текла горячая дикая кровь, он—кавказец. Впрочем, это неважно, просто он жестокий человек, и сейчас все такой же.

— А разве он жив?—спросила Жанна и удивленно раскрыла глаза.

— Жив. А почему вы удивляетесь?

— Вы сами сказали, что он был богатый, — смущенно проговорила Жанна,—а я слыхала от нашего парикмахера Поля, что в России собрали всех богатых людей, связали вместе и утопили в море.

— Это неверно,—строго перебила ее мадмуазель Марина.—Вы слушайте меня.

И она ласково положила руку на колени Жанны, как бы прося прощения за свой строгий тон.

— Когда дети выросли,—продолжала она,—они стали заступаться за мать. Отец их за это возненавидел, и они возненавидели отца и всех таких людей. Они стали думать о лучшей жизни, они научились думать о людях иначе, чем думал их отец. Они ушли от отца и взяли с собой мать, потому что отец привез в свой дом отсюда, из Парижа, новую женщину—мадам Леони, которую он похитил у ее мужа.

— Как странно,—вырвалось у Жанны.

— Вы что?—спросила мадмуазель Марина.

— Я лучше потом скажу. Мне пришла в голову очень смешная мысль. Простите меня, я вас перебила,—сказала Жанна, помогая мадмуазель Марине сесть на постели.

— Но это не все, Жанна,—волнуясь, рассказывала мадмуазель Марина.—Поведение отца было настолько гнусно, что сын однажды не выдержал и оскорбил его. Он ударил его на улице по щеке. И отец отомстил. Он пришел в дом своих детей, ночью, с полицией, и их увели в тюрьму, потому что у них нашли то, за что тогда преследовали людей и даже казнили.

Мадмуазель Марина замолчала и, пытливо глянув на Жанну, сказала:

— Вы слыхали когда-нибудь о том, что в России были такие люди, которых ссылали на каторгу или туда, где несколько месяцев в году бывает вечная ночь?

— Да, я слыхала,—неуверенно ответила Жанна.—О них рассказывал моему благодетелю парикмахер Поль, но всегда шопотом, и я только знаю, что наша Франция оказывала им свое гостеприимство, а они поступили очень неблагородно.

— Ваш парикмахер Поль истинный француз, — скривив губы, сказала мадмуазель Марина. — Но это ничего, вы еще о них узнаете.

— И детей тоже сослали на каторгу? — печально спросила Жанна.

— Да, их сослали на каторгу, и дочь умерла там от чахотки, но сын вернулся, когда в России началась революция.

Мадмуазель Марина закурила папиросу, и руки ее дрожали.

— Но он вернулся не к отцу, конечно, и не к матери, а к одной девушке, которую он полюбил еще до ссылки, и они стали вместе работать. Но однажды он сказал ей: „Ты должна исполнить волю своих товарищей, ты должна поехать к нашим немецким друзьям и сделать то, что нужно и очень важно. От этого зависит успех нашей работы“.

— А почему же в Германию? — спросила Жанна.

— И во Францию тоже... — невнятно проговорила мадмуазель Марина и стала молча сощипывать с рукава своего платья чуть видные пылинки.

— И она, конечно, послушалась его и поехала? И что же она сделала? — восторженно сказала Жанна.

Но мадмуазель Марина продолжала молчать. Замолчала и Жанна, заметив, что лицо ее побледнело, а рука с папиросой бессильно упала на колени.

— Вам опять дурно? — спросила Жанна и помогла ей лечь.

— Ничего, это пройдет, — скрывши лицо в подушку, прошептала мадмуазель Марина, а Жанна насторожилась, услышав в коридоре шаги Октавии, которая вернулась от своего друга по обыкновению очень взволнованной.

— Мадмуазель Марина, — таинственно сказала Жанна, — вы мне потом доскажите, а мне нужно быть на рю Клюни. Я скажу Октавии, что я была для вас в аптеке.

И Жанна на цыпочках вышла из комнаты через балконную дверь, чтобы не быть замеченной.

ГЛАВА XIX

Проходя мимо часового магазина, Жанна увидела, что она опаздывает уже на целый час и что приближается то время, когда с минуты на минуту надо ждать возвращения своих господ.

Ею овладело отчаяние. Слезы защипали горло.

— Теперь все кончено, — подумала она и хотела бросить на мостовую голубую коробочку с папиросами, которую она крепко прижимала ладонью в карманчике своего фартука, но ей навстречу шел Жак.

— Жанна, хорошо, что вы пришли, — сказал Жак, протягивая ей руку. — Мне вам нужно кое-что сказать.

— Простите меня, — еле вымолвила Жанна, тяжело дыша и вся пылая от этих слов Жака, прозвучавших ей сладким обещанием.

— Вы обо мне думаете не так, как нужно,—сказал Жак, улыбаясь смущению Жанны.—От вашей тетушки Мадлен я все узнал. Вы ошибаетесь.

— Наконец,—подумала Жанна.—Он просит у меня прощения за то, что до сих пор не едет к своим родителям в Шуази ле Руа и мучит меня ожиданием.

— Я понимаю, я все знаю,—прошептала Жанна, любовно и благодарно глянув на Жака.

— Вот и хорошо,—заметив этот взгляд, строго сказал Жак.—Я скоро еду. Но вы мне должны оказать услугу и сказать, откуда и когда приехала в Париж ваша жилица мадмуазель Марина.

— Жак, вы не кстати любопытны,—с чуть внятным жеманством перебила его Жанна, но мгновенно спохватилась, испугавшись своего кокетства.

— Я скажу, я вам скажу,—лепетала она,—я понимаю, она меня любит, и я ее тоже, и вы, я понимаю...

— Она может оказаться моей знакомой. Она не из Марселя?—допрашивал Жак.

— Не знаю, как будто нет, она, кажется, приехала из Германии,—с трудом напрягая память ответила Жанна, борясь с волнением и боясь неудачным ответом огорчить Жака.

— А когда она приехала?

— Не больше трех месяцев,—уже бойко и весело сказала Жанна, но перед ней было совсем холодное и суровое лицо Жака, и она испугалась его и, желая хоть чем-нибудь загладить свою вину, достала из кармана фартука свой заветный подарок и протянула ему.—Это она мне дала, и для вас...

— Тогда, значит, я ее не знаю,—отчеканил Жак.—Я тороплюсь, прощайте, Жанна. А завтра я прошу вас быть около ворот вашего дома в четыре часа.

И, крепко пожав кисть ее руки, в которой дрожала голубая коробочка, он быстро исчез в толпе.

ГЛАВА XX

Визиты супругов де-Феж подходили к концу.

Они посетили два вполне официальных дома, три не совсем официальных, но вполне дружеских, двух сотрудников парижских газет и, наконец, одного архиепископа.

В результате этих посещений создалась полная уверенность в том, что все симпатии парижского общества на их стороне, а поэтому господин де-Феж уже не раз заглядывал в магазин, где продаются ордена и знаки всех военных и гражданских отличий, а его супруга в подражание генеральши Севе, ввела себе в правило выпивать по утрам, лежа в кровати, чашку голландского какао.

— Довольно, довольно, мой друг,—сказала она мужу, совершая этот благородный жест,—довольно нам визитов. Ведь только один неосторожный шаг и нас могут заподозрить в искательстве у людей малозначущих и дурно аттестованных в обществе.

Вследствие такого мудрого заключения жены, господин де-Феж изменил расписание своих дней и на сегодня задал себе задачу просмотреть свое генеалогическое древо, с тем, чтобы окончательно убедиться в том, что один из его славных предков несомненно участвовал в крестовых походах и умер среди некоего монашеского ордена, братья которого не носили кожаной обуви, чтобы не быть даже отдаленными соучастниками убийства животных.

А госпожа де-Феж занялась написанием очень важного письма.

Но этот день был полон всяких неожиданностей.

В то время, как господин де-Феж принялся за тщательный просмотр первой папки своего семейного архива, а госпожа де-Феж обдумала первую мысль своего письма, в кухне появился человек со свертком и конвертом на имя господина де-Феж.

Письмо было от Теофиля.

В торжественных выражениях он сообщал о состоявшемся награждении господина де-Феж крестом почетного легиона и просил принять от него ту бутылку старого „альтфатера“, которую он проиграл зятю, втайне от него утверждая, что это событие произойдет не раньше, как через месяц.

— Теофиль очень остроумный человек, он умеет шутить,—сказала госпожа де-Феж, сияя от счастья и в волнении опуская духовку в баночку с помадой для мужниных усов.

— Безусловно это так, но он забывает о том, что у меня тоже найдется для него бутылка старого „бенедиктина“,—отозвался господин де-Феж, направляясь к потайному стенному шкапчику, где хранилась лучшая часть его винного погребка.

— Что ты делаешь,—в страхе остановила его супруга.—Прежде, чем ответить Теофилю, мы должны возблагодарить нашего святого покровителя.

И она первая опустилась на колени перед изображением святого Бенедикта, а за ней последовал и сам господин де-Феж.

— Святой отец,—воскликнула в молитвенном трепете госпожа де-Феж.

— Великий покровитель,—так же воскликнул муж.

— Это событие,—сказала госпожа де-Феж свою молитвенную беседу,—ставит меня в необходимость усилить те меры, которые я излагаю в письме. Его содержание будет тебе вскоре известно.

И супруги де-Феж снова принялись за свои важные дела, но и тут не суждено им было довести их до конца, так как в кухне появился другой человек с двумя корзинами и конвертом на имя госпожи де-Феж.

Письмо было из провинции от ее старого друга Готье, который каждый год не забывал радовать ее присылкой чудесных вишен из своих садов, обладавших изумительными сортами всяких фруктов.

И каждый год госпожа де-Феж особым способом заготавливала их впрок, и стол ее славился изумительными компотами, про которые кюрэ церкви святой Женевьевы изволил выразиться так:

— Божий дар на вашем столе расцветает второю благодатью.

Госпожа де-Феж просила посыльного передать всяческие приветствия своему другу Готье, а так как этот посыльный оказался не старшим садовником и даже не старшим его помощником, то Октавии велено было напоить его кофеем на кухне.

Корзины с вишнями были перенесены Жанной в столовую, и там было приказано ей чистить их с величайшим вниманием.

— Экстренные дела,—сказала ей госпожа де-Феж,—не дают мне возможности поговорить с тобой серьезно. Но я это сделаю сегодня. А пока твоя работа должна быть особенно тщательна. Помни, что вишни редчайшего сорта из долины Кро с берегов Роны. Здесь два пуда, и мне известно их количество в каждом фунте.

И госпожа де-Феж прошла в свою спальню, а Жанна насыпала на блюдо блестящих ароматных вишен и обильный их сок обагрил ее пальцы.

Гнев госпожи и неведомые причины его смущали сердце Жанны и этот дом, и весь этот город показался ей страшной тюрьмой, а от вишен веяло на нее той деревенской волей, в которую уплывали все ее мечты о том ослепительном дне, когда она, наконец, в белом платье и с цветами в прическе, сделанной искусными руками парикмахера Поля, спустится со ступеней своей церкви, рядом с желанным другом.

„А все-таки главным распорядителем обряда будет старый Феликс, который знает все древние французские обряды“, — подумала Жанна, вспоминая его чудесные рассказы о его родном Провансе, где зреют такие же вишни, пахнущие благодатным воздухом долины Кро.

Она ясно представила себе его крепкую фигуру, и жилистую шею, и строгое лицо в очках, склоненное над книгом в зимний вечер, когда они оставались одни в молочном домике, на ферме, где они работали и сторожили добро ее благодетеля.

— Ты мне напоминаешь Мирейо,—говорил старый Феликс, перелистывая книгу Мистралья,—эту девушку, которую называют в каждой убогой хижине, когда хотят растрогать свое сердце сладким именем добродетели.

И он спускал очки на сизый кончик своего носа и громко читал:

Лица ее стыдлива краска!
 Ни тканей пышных из Дамаска,
 Ни диадемы золотой!
 Но наш язык, пускай презренный,
 Совет ей ласки лавр нетленный,
 И пусть язык мой вдохновенный
 Поет для хижины простой.

— Ты слышишь,—кричал он, поднимая палец,—для хижины простой! Мистраль был тоже простым крестьянином. Мы все крестьяне! Мы презираем ваш Париж, потому что наши добродетели воспитаны мозолями. Ты еще не знаешь всей правды нашей жизни.

И он снова сдвигал очки и читал:

У Роны тополя и ивы
Под сенью, серебром шумливой,
Хранили домик бедный. В нем
Корзинщик с сыном тихо жили
Иль с ремеслом своим бродили,
И их едва-едва кормили
Корзины с пролетевшим дном.

— Это был бедняк Винсен, жених Мирейо,—подняв палец, повествовал старик Феликс.

Очнувшись от этих воспоминаний, Жанна услышала, как счастливо бьется ее сердце, и поверила в то, что оно так же бьется и у того, кому она сбережет эту ароматную горсть сочных вишен.

И Жанна сбегала в свой чуланчик и присоединила к голубой коробочке новый подарок Жаку.

Вернувшись в столовую, она с удвоенным старанием принялась за работу, чтобы умиловить свою госпожу и под каким-нибудь предлогом получить разрешение выглянуть за ворота и там напутствовать Жака, который едет сегодня в Шуази ле Руа.

„Он решил, должно быть, что я на него сержусь, и даже постеснялся принять от меня подарок,—подумала Жанна.—А я ему сегодня дам еще вишен“.

И, вся сияя, она громко прошептала:

— Они сла-а-адкие, сладкие.

— Да, я вижу, что они сладкие,—грозно сказала госпожа де-Феж, стоя в дверях.—Иди сейчас же за мной!

Когда Жанна по строгому правилу остановилась в почтительном расстоянии от письменного столика своей госпожи и когда ее госпожа приподняла свой носовой платок и под ним обнаружила на столе голубую коробочку и горсть блестящих вишен, ей стало ясно, что она погибла.

— Ну? — промолвила госпожа де-Феж и, подбоченясь, ждала ответа и пыталась служанку сверкающими от ярости глазами.—Ну, ну, говори, что это?

Жанне нечего было сказать. Во рту ее пересохло, и язык не двигался, а ноги словно налились свинцом.

— Подлая воровка! — крикнула госпожа де-Феж и, вскочив с кресла, кинулась к Жанне, и та почувствовала тягучую боль в волосах и стала беспомощно двигать головой вслед за рукой своей госпожи, во власти которой находилась вся ее судьба.

— Так вот что, моя любезная, — запыхавшись и падая в кресло, сказала госпожа де-Феж.—Твоя кража папирос у этой тоже развратной женщины мною обнаружена еще вчера утром. Об этом гнусном

поступке я сообщила твоей матери в своем нынешнем письме, которое сейчас же должна отвезти Октавия в Шуази ле Руа. Но эти вишни ставят меня в необходимость сесть за новое письмо и сообщить о твоих страшных пороках соседу твоей матери, сын которого надеется найти в тебе достойную подругу жизни. Иди с моих глаз, подлая воровка!

И госпожа де-Феж дрожащей от гнева рукой указала на дверь.

Жанна, бледнее и холоднее, не двигалась с места.

— Анатолий! Анатолий!—проходя в кабинет мужа, стонала госпожа де-Феж.—Скажите, скажите мне, как имя отца этого несчастного молодого человека!

Слова эти гудели и грохотали в ушах Жанны, когда она остановилась на пороге комнаты мадмуазель Марины.

Жанна, вы зайдите ко мне потом,—увидав ее, сказала мадмуазель Марина, отыскивая сумочку.

Жанна в отчаянии приблизилась к ней.

— Я вероятно скоро уеду, я больше не могу,—рассеянно говорила мадмуазель Марина, не замечая, что Жанна еле держится на ногах и пытается схватить ее за руку.

— Мадмуазель,—с трудом шевеля языком, проговорила Жанна.— У наших ворот стоит Жак. Он высокий и смуглый... Он ждет меня... но я не приду... никогда.

— Хорошо, хорошо,—заметив бледность Жанны и усаживая ее на стул, торопливо сказала мадмуазель Марина.— Я все сделаю. А вы лучше пойдите к себе в постель, вы нездоровы. А я тороплюсь на почту.

И с этими словами Марина вышла на балкон, и когда ее шаги послышались под окном, Жанна уже в полном отчаянии несколько раз оглянула ее комнату, и взор ее остановился на клочке бумаги, который лежал на столе и в солнечных пятнах шевелился, овеваемый теплым ветром, тянувшим в комнату через балконную дверь.

Жанна нашла карандаш и слипающимися от сладкого вишневого сока и дрожащими пальцами стала водить им по клочку бумаги. Но пальцы не слушались, и буквы прыгали на ярком солнечном пятне.

— Никогда,—шепнула Жанна, медля у двери в спальню своей госпожи.

— Никогда,—повторила она, положив на письменный столик клочек бумажки с прыгающими каракулями и, придерживаясь о стены, пошла в свой чуланчик.

ГЛАВА XXI.

Мадмуазель Марина, торопясь, вышла из ворот и стала спускаться по улице Булочников, но, вспомнив просьбу Жанны, обернулась, и вдруг лицо ее озарилось и засияло.

— Як! Як! Мой милый!—крикнула она по-русски, бросаясь к высокой фигуре смуглого человека.

Но лицо мужчины оставалось все таким же невозмутимо строгим, и еще строже глянули его глаза, когда Марина, прижавшись к нему и затрепетав от счастья, прошептала:

— Ты меня не забыл? Ты меня простил? Я люблю тебя.

— Марина,—сказал он,—ты не сделала того, что ты должна была сделать по нашей общей воле. Ты обманула своих друзей. Ты провалила чрезвычайное дело. Я не хотел тебя видеть. Только глупая случайность удержала меня здесь.

— Я не нашла в себе сил, я слаба,—пролепетала Марина и еще ниже опустила голову.— Но я люблю тебя,—разве этого мало?

Но Як молчал.

— Скажите, не здесь ли проживает Жанна Жиго?—поровнявшись с ними, спросил матрос.

Боясь услышать от Яка те ужасные слова, под страхом которых были проведены долгие месяцы в Париже, Марина, как за соломинку спасения, схватилась за руку матроса и, увлекая его за собой, радостно сказала:

— Идемте, идемте, она вас ждет. Ведь вы ее жених Жак?

— Да, считаюсь,—сказал Жак, подчиняясь ей, как малое дитя, и с трудом протискивая в калитку свои широкие плечи.

Вглядевшись в его лицо, за ними последовал и Як.

— Идемте, идемте скорей,—торопила Марина,—увлекая их обоих. Как она будет счастлива!

Но в эту самую минуту в доме ее хозяев творилось нечто необычайное.

— Октавия! Октавия!—металась и истерически призывала на помощь госпожа де-Феж, потрясая в воздухе листком бумаги.

— Она хочет опозорить мой дом!

А господин де-Феж то устремлялся за нею в коридор и двумя пальчиками, словно боясь запачкаться, толкал дверь в Жаннин чулан, то снова возвращался к телефонной трубке и, напрягая лоб, начинал нечто соображать, и снова бежал за супругой и взвизгивал фальцетом:

— У меня! У меня в доме! Не позволю!

— Идемте, идемте за мной, я теперь знаю, что случилось,—задыхаясь от волнения, сказала Марина и, собравши все свои силы, потащила Жака к двери Жанны.

— Жанна! Жанна! отойдите! — крикнула она и прильнула к двери.

В чуланчике что-то с шумом повалилось и ударилось об стену.

— Ломайте двери! Ломайте!—приказывала Марина.

Жак с той же детской докорностью нажал своим тяжелым плечом на дверь и с легкостью сорвал ее с запора, и когда перед глазами его заболтались в воздухе ноги в войлочных туфлях, он быстрым прыжком вскочил в чуланчик и через короткое время вышел оттуда,

неся на руках Жанну и неловко прижимая ее белое лицо к бронзовому волосатому бугру своей сильной груди.

Помогая ему, Як бережно подняя ее ноги, и они опустили ее на постель Марины.

— Сердце работает,—сказал Як и стал пытливо ощупывать своим цепким взором, каждую черту лица Жака, который пытался привести в порядок свою разорванную впопыхах матроску.

— Она дышит,—тихо сказала Марина, наклоняясь к Жанне.

Жанна открыла глаза и, слабым манием головы позвав к себе Марину, шепнула ей:

— Я не воровка... я для него...

И, снова закрывши глаза, счастливо улыбнулась.

— Жак, вы слышите?—спросила Марина.—Вы, конечно, возьмете ее с собой?

— Нет, я не могу. Я не женюсь,—смущенно сказал Жак, разглядывая свои большие ладони,—я не могу; я не умею жалеть таких, я сам ведь не такой. Мне надо ехать в Марсель к своим товарищам.

Як подошел к Жаку и, еще раз быстро оглянув всю его фигуру, протянул руку и уверенно и строго отчеканил:

— Я не ошибаюсь. Марсель? Порт? Таверна „Черного Кулака“? Товарищ Жак Анколи?

Лицо Жака осветилось ярким стальным светом его глаз.

— Есть, товарищ!—весело сказал он, пожимая руку Яка и, по-детски улыбнувшись, проговорил ломанным языком:—И а к о ф ф Н и к о л а и ш...

И две сильных руки еще раз обнялись в крепком пожатии.

— Вот мы где нашли друг друга!

— Мы едем?—спросил Як.

— Едем,—ответил Жак.

— Сегодня?

— Сейчас.

— Прощай, Марина,—холодно сказал по-русски Як и взялся за шляпу.

— Ты можешь ехать в Россию, но помни, что друзья не простят тебе твоей слабости.

Но Марина молчала.

Лицо ее было мертвенно бледно. Не видя ничего, она устремила глаза свои на дверь, которая слегка приоткрылась, и сквозь щель ее просунулась пухлая рука госпожи де-Феж с розовым листком почтовой бумаги, на котором четким почерком самого хозяина было написано:

Милостивая Государыня,

Мадмуазель Марина!

Ввиду того, что наш дом желают посетить на некоторое время почтенные родственники моей супруги, я прошу вас освободить занимаемую вами комнату от вашего присутствия, тем более, что вы изво-

лили проявить сочувствие по отношению к преступной служанке Жанне, с поличным уличенной в краже вишен, предназначенных для сладких компотов, а также опозорившей наш дом своим последним гнусным поступком.

Пребываю с уважением

Кавалер Почетного Легиона

Анатоль де-Феж.

Душистый дар

ДМ. СЕМЕНОВСКИЙ

Я собрал у тебя, придорожный покров,
Дань усатых колосьев и пестрых цветов.

Шел путем полевым, шел дорогой лесной.
Хоровод комариный кипел надо мной.

Никого! Только небо глядело из луж,
Только прясла хромали в зеленую глушь.

Только ветер, слетев с шопотливой листвы,
Овевал одуванчик моей головы.

Перелески, поляны, опушки, бугры,
О, спасибо вам, братья, за ваши дары!

Для того собирал я цветы при пути,
Чтоб, как жертву, любимым глазам принести.

Я принес им душистую жертву полей —
И они на меня посмотрели теплей.

Товарищу поэту

МИХ. РУДЕРМАН

Иосифу Уткину

Вот —
Подозрительная мгла
В глазах твоих
И утомленье.
Мой друг, и у меня была
Глухая боль разуверенья.

Как часто я по вечерам
Не верил никому на свете,
Себе не верил
И друзьям,
Изображавшим добродетель.

И облик неба голубой,
И рек вскипающие воды
Казались глупой похвальбой
И чванством «матери-природы».

О, мыслей темные леса.
Я ждал
Покой придет ли?
Нет ли?
Мне даже синие глаза
Любимой
Были точно петли.

Но все прошло, и я опять
Живу спокойно и небрежно
И успеваю отвечать
Словам любви
Как прежде
Нежно.

Оставь, мой друг, и скорбь и грусть,
Вглянись на руки
И на зданья.
Ведь эту радость наизусть
Ты знаешь,
Радость свиданья.

Как эти своды высоки.
Хандрить и мучиться
Тебе ли?
Когда смеются родники
Твоей мальчишеской свирели.

Морские рассказы

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

1. Мертвая зыбь

Дни были голубые и ясные. Днем над морем подувал легкий ветер, а по ночам было тихо и в небе зажигались звезды. От берегов пахло кипарисом и нагретой землей.

На пароходе было мирно, тихо, уживчиво, как где-нибудь на хуторке под черниговщиной. И все было привычно и заведено раз-навсегда: в Константинополе ходили на Тартуш к хитрому Лейзеру, напивались в меру, гуляли, покупали фуражки с лаковыми козырьками и подарки в Россию. А в море были трезвы и строги, и только кочегар Кулаковский, огромный и неуклюжий, ко всему на свете относившийся, как к трын-траве, ежедневно перед завтраком и обедом выпивал по чашке разведенного спиртом чаем спирта, но так это и шло к Кулаковскому. И каждый о каждом знал точно: знали, что голубоглазого Баламута второе лето поджидает в России невеста и что давно лежит в его чемодане, завернутая в папиросную бумажку, пара золотых толстых колец; — знали, что крепкий, счастливый в любви Жук спит и видит во сне зеленую черниговскую деревеньку и своих чернобровых голосистых дивчат. Почти все были хохлы, с Украины, все прежде служили на военном флоте за исключением длинноногого Назаренка, которого кликали на пароходе цаплей, за что он не раз, с ножом в руках и выкатывая страшно белки, гонялся за насмешниками по спардеку. И только боцман был из кацапов, смоленец, с такими огромными кулаками, что глядеть на него было страшно. В матросском кубрике жила женщина — горничная Алеша, так прозвали ее матросы за мальчишеский вид, за пристрастие к развеселой одесской песенке. Она говорила басом, курила и носила светлые волосы, обстриженные по-мужски в скобку. Спала Алеша на верхней койке, над Жуком, и всякое утро, когда боцман приходил поднимать на работу матросов, у них происходил разговор, от которого слегка потрескивала в палубе конопатка... На пароходе у нее был полубовник — кочегар Володя, сорви-голова, пьяница и блатной. После каждого рейса бил он ее на берегу смерт-

ным боем, отнимал деньги, и всякий раз после этого она приходила на пароход в слезах, клятем проклинала Володю, божилась его забыть и зло грызла подушку. Однажды Володю нашли на Тартуше, с ножом под лопаткою, раздетого догола, в одних носках, из которых мертво сквозили синие пятки. К удивлению всего кубрика, целый месяц Алеша проливала горькие слезы, и хоть видели ее через неделю на юте с капитанским сыном Шуркой, плававшим на пароходе в матросах, это не помешало ей после первого же рейса поставить над затерявшейся в греческом кладбище могилой Володи мраморный белый крестик — на все свое месячное жалованье.

Иногда пароход приходил в город, веселый и белый, прикрытый садами. Когда-то в эти месяцы было в городе пестро и шумно, горячо грело солнце. — Теперь от прежнего оставалось солнце и зеленая тень бульваров, но были непривычно бедны и пустынные белые улицы. Как и прежде, когда останавливался пароход, всходили на него люди в потертых фуражках с зелеными кантами, глядели на матросов прищуренными хохлацкими глазками. Они обнюхивали пароход, выстукивали костяшками пальцев обшивку, были строги и молчаливы, а через час сидели с матросами в кубрике за длинным столом. Спирт стоял прямо в жестяном бидоне, пили его почти голый, приправляя для вкуса чаем, закусывая разрезанным помидором.

А вечером матросы и кочегары уходили в город: принарядившиеся, в ярко начищенных ботинках, помолодевшие от бритья и новых костюмов. И, как это ведется, многие возвращались на пароход с женщинами, неумело ступавшими по железной палубе, конфузливо улыбающимися, мявшими в руках платочки. И лишь один Кулаковский, огромный и косоглазый, почему-то ненавидевший женщин, подперев черными кулачищами голову, дышая спиртом и кривя рот, шумно запевал ходку в тот год „Улицу“:

Улица, улица,
Улица веселая...

И, остановившись, набрав воздуха и тряся стриженной головой, вдруг перемахивал на фальцет:

Ах-и-ты, время-времячко,
Времячко еловое...

В одну из таких стоянок кочегар Соколов, русоволосый и сероглазый, привел из белого города женщину. Что на пароход пришла женщина, никому не было в редкость, женщины ходили ко всем, но та, которую привел Соколов, особенно показалась всем. У нее было широкое белое лицо, крупные руки и зеленоватые, прозрачные глаза. Она вошла просто, улыбнулась, присела на скамью и, подняв локти, поправила волосы. И по какому-то неуловимому признаку, по ее улыбке, поняли хлопцы, что баба-бой, что за таких-то и пропадают люди. И все дни, пока стоял пароход в порту, она приходила,

со всеми была ласкова и проста, для каждого у нее находилось словечко. — „Этакое Соколову счастье!“ — говорить в глаза не говорили, а уж думали непременно.

В порту пароход стоял неделю: выгружали уголь. И всю неделю море было тихое, иззелена-голубое и над морем высокое простиралось небо. И оттого, что было море просторно и тихо, что пахло от берегов кипарисом и цветущей акацией, люди были веселы, приветливы и просты.

Накануне отхода Соколов стоял в каюте перед капитаном, коренастым и бритым, видавшим на своем веку виды. Капитан набивал над столом папиросы и под тонкой расстегнутой рубахой была видна его белая, голая грудь.

— Ну, что? — спрашивал капитан, поглядывая на кочегара умными зоркими глазками.

— Александр Александрович, — говорил Соколов, застенчиво смотря на белые капитанские руки, разминавшие на столе табак, — разрешите взять на пароход женщину, на один рейс.

Капитан взглянул еще раз, чуть-чуть, уголками губ, улыбнулся:

— Бабу берешь? — Добру не быть.

— Разрешите, Александр Александрович.

— Команда разрешает, — бери.

В тот день они устраивались на баке. Она сама раскинула за кнехтами положек, разостлала на палубе тигровое одеяло. Утром на другой день уходили. Дул с моря ветер, кликали за кормою чайки. Белая шлюпка прошла под самой кормою и кто-то в голубом помахал из нее платочком.

Женщина впервые плыла в море. Она стояла на баке, опершись на поручни, глядела в море, и нежно на свету розовели ее уши. По баку взад-вперед пробегали матросы, укладывали мокрые, тяжелые концы, расстилали тент, и она смотрела на них ласковыми, ободряющими глазами, и каждому это было приятно. Утро Соколов был на вахте, работал в кочегарке. В полдень он вышел, черный от угля, облитый потом, с блестящими на лице глазами. И она встретила его улыбкой, покрасневшая, возбужденная морем. И опять, на них глядя, думали про себя матросы: „этакое Соколову счастье!“.

Вечером на другой день пароход подходил к Босфору. Его долго держали в карантине в Каваках. На закате Босфор полыхал золотом, неподвижно лежали берега и медленно, по золотому, проходили меж берегов черные фелюки, а над самою водою неугомонно пролетали стайки черноспинных маленьких птиц — „драгоманов“. Утром весь экипаж съезжал на берег мыться в карантинной бане, где черный, с усиками, доктор-француз каждому прививал холеру, и длиннорукие бойкие люди в серых обмотках, до-черна обожженные солнцем, вынимали из дезинфектора смятое, связанное в узелки матросское платье.

В полдень опять тихо шли по Босфору и мимо текли берега: правый — зеленый и гористый, весь в маленьких домиках, ступени кото-

рых иногда купались в море; — левый — желтый и дикий, сурово закрывавший сухие пространства. Две башни, одна над другою, открывали поворот к городу. И пароход шел, следуя извилам пролива; по-домашнему ходил по мостику капитан, спокойно стоял над штурвалом высокий рулевой. Сутки пароход стоял на рейде, у белой башни Лаванда, о которую разбивались бегучие струи, и рядом мертво дремал греческий грузовик, рябой от ржавчины и свежей окраски, шибко пробегал, пыхая дымом, портовой катер. Впереди открывалось море, туманно-голубое, с белыми жилками, и, как под вуалью, зыбились далекие острова. Город лежал на скалах, в зыби горячего воздуха, пронизанный светом, таинственный и прекрасный. Вечером над ним по всему небу половодьем разливалась золотая заря и четче и синее чеканился в ней абрис древнего города.

Путру спустили шлюпку. В нее сели матросы — гребцы и артельщик. С ними спустился Соколов и женщина. Она неловко сошла по штурм-трапу, неловко, по-женски, подбирая платье, уселась в шлюпке. Гребли долго, перерезая течение, и все время она сидела с широко открытыми поглубевшими глазами, в которых отражалось море и синевший впереди город. Там, где остановилась шлюпка, у каменной пристани, густо кучились лодки, в них сидели черные турки. Сквозило и переливалось золотом зайчиков зеленое дно.

Весь день они бродили по городу. Он водил ее по шумным, переполненным толпою улицам, пахнувшим анисом и ладаном. В полдень они ходили по полутемному и прохладному Чарши, где на истертых каменных плитах, на разостланных коврах, молчаливо сидели старые турки и подувал легкий сквозняк. Под вечер обедали в ресторане, ели турецкий шашлык и пили вино, темное и густое, как кровь. И оттого, что нестерпимое над городом светило солнце, что остро пахло вином и анисом, у женщины хмельно кружилась голова и хотелось болтать и смеяться.

Вернулись они на пароход под вечер, усталые, на легкой, как гусяное перо, лодчонке, в которой сидел молодой горбоносый турок с высокой, повязанной белым платком головою, — он протянул им темную руку, приложил ко лбу и улыбнулся, враз показав все свои белые зубы. И женщина вбежала на пароход веселая, немного хмельная, вся теплая от солнца, возбужденная впечатлениями дня.

А утром на другой день стало известно, что пароход идет в Смирну и дальше — и что в Россию вернутся не скоро. И матросы, встречая на палубе женщину, шутливо ей говорили:

— Покатаетесь с нами, привыкнете.

Весь июнь ходили в море. Подолгу стояли в Смирне, в большой круглой бухте, похожей на голубую чашу. И весь июнь легкий подувал над морем ветер, море было синее, город был в солнце и высоко над городом, на вершине, похожая на клочок снега, белелась древняя крепость. Опять они бродили по базару, еще более пестрому, уходили за город, где по кирпично-красным дорогам тихо проходили

верблюды, а на старых кладбищах неподвижные высились кипарисы. Вечерами над улицами и кофейнями в свете дуговых ламп падали и пропадали беззвучно больше летучие мыши.

Так проходили дни. Пароход жил своею жизнью. Женщине была тяжела эта жизнь, так непохожая на береговую. Она улыбалась по-прежнему, глядела привычно, но уж по тому, что ходил Соколов не веселый, заметили кочегары, что не все у них ладно. Не даром Кулаковский, лежа на взбитой койке, заломив за голову руки, дыша спиртом, чаще говаривал:

— Верьте моему слову: с'ись хлопца баба!

В конце месяца опять шли в Зунгулдак. Перед тем дул норд-ост, море было сизое и по нему без конца-края катилась мертвая зыбь. Как всегда перед качкою, моряки были слегка возбуждены, точно от чарки, с'ели за обедом вдвое. Женщина, вдруг подурневшая, бледная, с синими провалами под глазами, неподвижно лежала на юте, где от больших черных клеток тяжело пахло птичником, недобро молчала и смотрела на ходившего за ней Соколова потемневшим недружелюбным взглядом.

В Зунгулдак пришли в полдень. С моря был виден берег, иссиза-желтый, обдутый ветрами. Невысокие горы были покрыты мелким сквозившим лесом, с моря похожим на барашек старой вытершейся шапки. Внизу желтел город, рассыпались охряные домики, краснела поднимающаяся дорога. И казался городок неживым и безлюдным, скучным безмерно.

Всю неделю простояли на рейде, не подходя к берегу. И всю неделю зыбь шла с востока, по открытому морю. Казалось, что море было живое — так тяжело оно поднималось, вверх и вниз, словно грудь человека. И небо было над ним, как изнанка птичьего сизого крыла. Ближе к берегу, на тяжелой воде качались железные барки и три парохода, каждый по-своему, вдоль и поперек зыби, и было тоскливо на них смотреть.

Женщина лежала внизу, в машинном, где качка была легче и можно было не видеть моря. Всю неделю за ней ходил Соколов, похудевший, с вылупившимися скулами, ставший вдруг ниже ростом. Над ним подтрунивали кочегары, и он молчал терпеливо, теребил надо лбом волосы, слушал, что бубнит по кубрику Кулаковский:

— Слопает хлопца баба!

Всю неделю мотало. Поднималась и падала палуба, чертили по небу мачты, палубу переходить было трудно. Ночами было невыразимо душно, казалось, что падает и взлетает над пароходом небо, тошно было глядеть на звезды, на пляшущие отражения желтых рейдовых огней. Матросы тяжело спали, коленками упершись в бортики коек. Тошно колыхалась над столом лампа.

На восьмые сутки стали под кран в маленькой бухте. Женщина поднялась к обеду. Нетвердо ступила она на берег на желтые камни мола. Болезненно жмурясь, чувствуя, как ходит и колышется под но-

гами земля, как падают и поднимаются портовые постройки, сжимая пожелтевшие виски, она с трудом пошла за Соколовым в город, где на единственной, поднимавшейся от моря улице, сидели продавцы овощей и раннего винограда, по которому кишмя ползали осы. И, не обращая ни на что внимания, с наслаждением опустила под первое дерево, прямо на сухую неподвижную землю.

На пароход она пришла только вечером, когда зажигали огни. Запах парохода, краски и угля показался ей отвратительным. Борясь с тошнотой, закрывая платком лицо, она быстро прошла на ют и молчаливо просидела до ночи, с тоской смотря, как колышатся над водою красные и зеленые огни баканов...

А потом произошло все очень просто.

В Константинополе, куда пришли через день, женщина сошла на берег и не вернулась. Соколов, вдруг посеревший, весь день бегал по пароходу, ездил в город, и был смешон. А через день узнали, что она на „Бештау“, что там у нее приятель-боцман, и она у него в каюте, и что они на днях уходят в Россию. К нам она пришла на третий день, за вещами. Пришла просто, как приходила раньше, и только холоднее были ее глаза, чаще и нервнее она поправляла прическу. С Соколовым она была молчалива и сдержанна, непоколебимо тверда.

В тот же вечер, сидя за столом и подперев угластую голову, жмуря маленькие карие глазки и шепелявя (они были вдвоем в кубрике), Кулаковский говорил Соколову:

— Ты бабе не верь. Баба тебе с сапогами с'ись и конфеткой прикусит. Ихний брат—курва.

А Соколов сидел на койке, измятый, светлые его волосы мокро прилипали к лбу. В серых глазах была тоска.

— Так-то, браток,—продолжал Кулаковский, играя желваками,— а ты не тужи, плюнь. Курва—курва и есть. Мотайся до Лейзера!

Тогда же черный турок, с глазами, похожими на чернослив, перевез их через залив к берегу. По воде плавали куски размякшего хлеба, и множество мелкой рыбешки разбегалось под лодкой. Они сошли в том месте, где каменная набережная круто обрывалась в воду. Рядом грузился почтовый французский пароход, и было видно, как шибко поднимаются на воздух и, медленно поворачившись, с грохотом опускаются в трюм желтые ящики. Это было знакомое, как мужику поле, и кочегары прошли мимо, взглянув на пароход только мельком. Они прошли набережную, где в больших открытых кофейнях, раздвинув колени, сидели толстые люди в летних костюмах, с тростками в пухлых руках, с круглыми обтянутыми животами. Кочегары прошли быстро и свернули в одну из улиц, и тотчас их накрыл город, как вода накрывает брошенный на дно реки камень.

На углу узкой, вонючей, переполненной суетливою толпою улочки, они зашли в знакомое заведение Лейзера—небольшую скучную комнату, с мраморной стойкой и двумя парами столиков. Над входом в заведение красовалась вывеска, изображавшая подгулявшего моряка, окон-

ные стекла были расписаны скрещенными флагами. В углу за маленьким столиком сидели музыканты, флейтист и скрипка и, подобрав под клеенчатый диван ноги, сгребая ладонями со стола крошки, обедали. У флейтиста была большая круглая голова, и из ушей торчала серая вата. Моряков встретил сам Лейзер, бритый и белолицый, с воспаленными от неспанья и работы глазами, похожий на адвоката. Он приятельски и сдержанно подал кочегарам руку, спросил, немного картавя и блестя золотыми зубами:

— Гуляете, братишки?

Через час кочегары сидели за столиком, допивали водку, отдающую тмином, и Соколов хмелел. К ним подседа женщина с черными, как уголь, бровями, слушала равнодушно и, подняв на стул ноги, жевала серу и ловко выдувала лопавшиеся на губах пузыри Соколов сидел над столом, подперев голову, и волосы его мокро свисали. Он был очень бледен, глядел в одну точку и говорил срывающимся голосом:

— Ведьма! Погубила мою душу.

Кулаковский смотрел на него хитро, играл муслуками, отвечал скороговоркой:

— Все они ведьмы, одним мазаны миром. А ты плюнь, пей!

И Соколов, вдруг скрипнув зубами, обхватил ладонью стакан и, мелово побелев, швырнул окровавленные осколки на пол.

— У-их, пропадай моя душа!—процедил он, заливаясь слезами и смотря на стекавшую с руки кровь.

Лейзер, давно следивший за ними от своей конторки, ко всему приглядевшийся, привыкший обращаться со своими гостями, как конюх привыкает к лошадям, насквозь знавший этих больших детей, положил перо в книгу, подошел к ним и заговорил фамильярно-строгим, поддельваясь под язык:

— А ну, хлопцы, выметайтесь... У мене благородная заведение.

— Брысь!—сказал Кулаковский, отстраняя его рукой.

Они знали, что Лейзер ведет большое дело, что где-то в Буэнос-Айресе, откуда иногда приходили пароходы, у него большая агента по вывозу и вербовке женщин и может поэтому был у него такой, подчинявший простых людей, строгий адвокатский вид. И Кулаковский вдруг успокоился, протягивая свою широкую лалицу:

— Есть, братишка, молчим!.. Вира!..

Весь тот вечер бродили они по Тартушу, где их останавливали женщины, ломано кричали вслед. Кулаковский отзывался им солоно и шел упрямо, как бык, локтями задевая прохожих. Так они забрели в конурку, ярко освещенную лампой, где их встретила женщина, зашивавшая какую-то тряпку и деловито, не снимая с пальца наперстка, разделась. Соколову было невыразимо тошно ее лицо, золотые зубы, голый холодный живот. Он сидел молча, смертельно-бледный, с прилипшими волосами, с отвращением глотал теплую водку.

В полночь они ввалились в заведение, где было очень светло, играл оркестр, шипя горела под потолком калильная лампа. У стены за сдвинутыми столами сидели американские военные моряки, молодые и бритые, в белых поварских шапочках на розовых девичьих головах. Два английских солдата, в защитных мундирах, с высокими поясами, с рыжими веками и бровями, держа за талии толстых девиц, отстукивали посреди комнаты польку. У девиц были усталые, густо напудренные и равнодушные лица. Заведение было новенькое, с пахнущими краскою столами и стульями, с желтою эстрадою для музыкантов.

Кочегары ввалились шумно, спотыкаясь и валяя стулья, опрокидывая на столах стаканы. Их усадили в угол, за липкий от пива столик, и они сидели долго, жмурясь от света, пьяно расплескивая рюмки.

Соколов мутно и тяжело глядел на солдатские ботинки, топтавшие по пыльному полу. То, что накопилось в нем за все дни, разразилось вдруг припадком неожиданной ярости. Матюгаясь и скрипя зубами, опрокидывая стол, он бросился на рыжего солдата, танцовавшего польку, и, валясь, укусил его за ухо. Девицы, почти не изменяя выражения равнодушных лиц, торопливо отбежали в сторону за буфет. Кочегаров били долго, по всем правилам бокса, и, избив до полусмерти, вытолкнули на улицу, где не умолкая треникали шарманки и город продолжал жить ночной полной и страшной жизнью.

На пароход они притащились поутру, избитые тяжело; дочиста обворованные, с запекшейся на лицах кровью. Два дня Соколов продолжал пьянствовать, спустил с себя все, а на третий, накануне отхода, бросился в море. На пароходе заметили, стоявший на вахте Жук; матерясь, скидывая на бегу бушлат, сиганул за ним с борта. Соколова вытащили мокрым, с облипшими волосами, отрезвевшего, не глядевшего матросам в глаза. И нервный, прямой на слово Жук, подрагивая портками, с которых сбегала на палубу вода, темнея в лице, говорил ему зло:

— Этакой ты, туды твою так!.. Из-за бабы...

А утром пароход уходил в море, в сизую даль, и опять мимо плыли зеленые берега, быстрые сновали над водой птицы. С утра, вместе с другими, работал Соколов внизу, в кочегарке. В топках гудел огонь, теплым ветром обвевало шею и голые руки. В обед были в море, и когда кочегары вышли, — над палубой подувал ветер и навстречу широкое, все покрывавшее, простиралось море.

II. Ч а р ш и

Нет, никогда-то, никогда, не быть мне дельным хозяином, никого я не собираюсь учить, и ночевка у охотничьего костра, в весеннюю глухариную ночь, мне милее теплой постели. Я счастлив тем, что простые люди меня любят, и я люблю людей, что не был я никогда на земле одинок.

Вот почему на этот раз хочется мне рассказать о самом простом: об одном жарком лете, о пароходе, о голубых днях и о большом базаре.

Это было в то лето, когда мы ходили из Зунгулдака с каменным углем, из Евпатории — с ячменем. Раз в две недели мы заходили в Стамбул, раз в месяц — в Смирну. В Стамбул мы приходили утром, когда разводились мосты Золотого Рога и город тонул в сизом тумане.

Было славно стоять у штурвала на вахте... Солнце, еще невидное на воде, уж золотит на берегу верхушки самых высоких кипарисов. Вода на Босфоре темна и густа. Ключья разорванного тумана, едва касаясь ее, бегут нам навстречу. Тихо подувает в лицо утренний свежий бриз. Тихо текут еще не пробудившиеся туманные берега. Чуждо в утреннем зеленоватом свете горят непотушенные огни баканов. И пахнет от берегов так, как пахнет на одном Босфоре: внутренностью древнего храма и свежестью цветущих садов.

По мостику ходит взад-вперед капитан: он по-домашнему, в старом расстегнутом кителе, в ночных мягких туфлях. Иногда он останавливается, прислонясь к широкому поручню, и, не оборачиваясь, говорит:

— Лево помалу!

— Есть. Лево помалу! — отвечаю я и кладу лево.

— Одерживай! — говорит капитан.

— Есть. Одерживай! — отвечаю я, напряженно глядя вперед.

И бегут, бегут по бугшприту белые домики, купающие в темной воде ступени своих порогов. Мне весело, молодо, — потому, что кругом утро, кружится от неспанья голова, и так хорошо чувствовать покладную покорность руке парохода: ибо моряком может стать всякий, но не всякий моряк — рулевой, и для этого нужно особое, почти музыкальное, чувство

— Так держать! — заключительно, отходя, говорит капитан.

— Есть. Так держать! — весело отзываюсь я, примечая на синем берегу высокий, как свеча, кипарис, и веду на него прямо.

Так проходим и пересекаем Босфор, его бегучие темные воды, над которыми, подчеркивая пучинную глубину, все еще скользят ключья сизого ночного тумана. Мне знаком каждый поворот, каждый извив его широкого, отливающего стальной синею русла, и, как всегда, ощущение радости, свободы и здоровья охватывает меня широко и полно. Проходим усыпанные постройками, заросшие кипарисом и темными платанами, берега, — слева, над самой водой, бледно белее древняя башня Лаванда, и мы поворачиваем в Золотой Рог. Над скутарийским палевым берегом раскаленным краем поднимается солнце, похожее на большое огненное и живое сердце: так оно, восходя, переливается, играет, бьется беззвучно. Чайка, поднявшаяся над кормой становится вдруг золотою.

Медленно проходим разведенные, потемневшие от ночного тумана, мосты. Большие темные пароходы кажутся мертвыми. Проходим

порт, Валиде, сизую набережную Галаты. Там, где вправо заворачивает Рог, в редком тумане, в сереющей груди старых военных кораблей, я узнаю легкий, с откинутыми кзади тонкими мачтами, профиль „Ольги“, на которой плавал в год войны, захваченной в плен и превращенной турками в посылное судно.

Город едва просыпается. Он весь еще в голубоватой дымке, тающей под лучами. Звонко по-утреннему, и так неожиданно, что вздрогнешь, звучит команда:

— Отдать! Якорь!

На минуту, точно для того, чтобы потом подчеркнуть безмолвную торжественность утра, оглушает грохот и лязг падающего в неподвижную воду якорного каната. В последний раз хрустально тренькает звонок телеграфа: стоп-стоп!

Приятно, сменившись, пробежать по скользкой, еще не обсохшей от ночи, палубе в пахнувший жильем и едою кубрик, где стоит на столе чайник и маленький, бойкий матрос Жук, сидя верхом на скамейке, цедя кипятком, уж подсмеивается над угрюмым Котом, неловко, через голову, натягивающим на толстое тело забрызганную краскою рубаху:

— Ух, котюга... Толста стала, много сметаны ешь,— рубаха не лезет...

Утро проходит неприметно, и когда завтрак окончен,—над заливом и городом высокое стоит солнце, без числа скользят по зыблущейся воде легкие ясеневые лодки, доносятся с берега крики разносчиков, продающих рыбу и зелень, по-бабьему тонкий, слышится свисток паровоза.

Палубу наполняют шумливые, обожженные солнцем, лиловые грузики. Они привычно и шумно снимают с задраинных трюмов громыхающие шины, волокут и складывают на палубе тяжелые люки и уж крепко стоит над пароходом тот, свойственный каждому порту, запах, по которому опытный моряк с завязанными глазами безошибочно отличит — Одессу от Константинополя, Владивосток от Джедды, Ливерпуль от Марсея...

Солнце светит полно и ярко и по борту парохода, по смоляным краям подведенных под уголь бароц, зыблются и бегают быстрые блики. Город живет полной жизнью, и его шум доносится, как шум морского прибоя.

Теперь так славно спуститься по веревочному трапу в узкую легкую лодчонку черного молчаливого сандалжи, уютно сидящего на низкой скамейке, прикрытой стареньким ковриком, задирающего вверх свою лиловую, покрытую седеющей щетиною, носастую голову. Славно ступить на берег, уже прогретый солнцем, выбитый миллионами ног, и, как в море, погрузиться в кипучую, пеструю, милую моему сердцу, людскую сумятицу.

На базаре светло и шумно. Красные, как кровь, помидоры, стручковый перец, лиловые баклажаны, розовая морковь, густая пахучая

зелень петрушки, полосатые и зеленые арбузы, бледные капустные кочаны, укроп, сельдерей, лук, — все это высокими грудами разложено на земле, окраплено водой из фонтанов, пахнет густо и весело. Толстые черноглазые греки, с по-локоть засученными рукавами, со щеками, лоснящимися от солнца и сытости, стоя за горами овощей, перебираются тараторящими словами. А дальше, под парусинными козырьками, — мясные ряды: темно-синие, с радужным блеском, с узелками белого жира, висящие бараньи туши, мертвые бараньи головы с высунутыми сизыми языками, красное воловье мясо и нежно-розовая молодая говядина. Ниже к морю — длинный и узкий рыбный ряд, в самом конце которого виден клочек воды, отражающий небо и черные носы лодок. Тут всего сильнее пахнет морем: на мокрых, засыпанных рыбьею чешуею, прилавках навалена толстоспинная кефаль, серебряная, со стальной синевою, скумбрия, шишковатая камбала, и огромная, в добрую сажень, меч-рыба, с длинейшим костяным носом, похожим на эскадрон. Ближе к морю, где у берега жмутся рыбацьи просмоленные лодки, осыпанные подсохшею рыбьею чешуей, рыбаки-греки, сидя на низких камышевых табуретках, под навесом миниатюрных кофеен, пьют из белых чашечек кофе, играют в кости. Можно без слов присоединиться к ним, спросить мастики и кофе, которое тут же неторопливо сварит на угольях старый носастый хозяин грек, в фартуке кофейного цвета, в кожаных крючковатых туфлях на босу ногу, — позавтракать свежей рыбой, испеченной на угольях, на раскаленной решетке, слушать и глядеть...

Весело бродить по базару вместе с парходным артельщиком Баламутом, веселым и говорливым, жевать теплые абрикосы и кидать в пыль скользкие косточки, — слушать, как смешно и весело торгуется на всех языках Баламут, — класть в мешок кочаны, зеленые огурцы и румяные помидоры — и потом, с мешком на плечах, пробираться к лодке на пристань, где сквозь зелено-синюю воду видать, как по бархатистому дну скачут зыбкие зайчики.

А еще славнее, расставшись с товарищами, остаться в городе одному, стать на углу круто загибающейся в гору, залитой солнцем, узенькой улицы, пошире вздохнуть, улыбнуться себе самому, почувствовать, как сладко и здорово ноют повыше локтей от недавней работы руки, — и пойти наугад, не спрашивая, куда заведет дорога и случай. Так бродить весь день из улицы в улицы, счастливо чувствуя себя заблудившимся...

Так итти дальше мимо небольших каменных домиков, на порогах которых, вытянувшись в рост, греются на солнце серые ленивые коты. Улица выстлана камнем, горячим настолько, что нога чувствует жар сквозь подошву. Там, где улица упирается в стену, выложенную белым камнем, бьет из стены фонтан и проложена узкая, вытертая подошвами ног, каменная лестница. Надо подняться, и тотчас поверх черепитчатых, рассыпанных беспорядочно крыш откроется блестящее, изогнутое ятаганом, лезвие Золотого Рога, серые скаты Галаты и Пера,

древние кладбища, заросшие синими кипарисами, а на этом берегу — ближе — черная крыша Валиде и Чарши — Великий Базар, своими бесчисленными, темно-охряными куполками похожий на огромное осиное гнездо. Насмотревшись, итти дальше, под прохладную, зеленоватую тень деревьев и деревянных турецких домов, с зарешеченными окнами, таких тихих, что весь город вдруг начинает казаться вымершим или спящим, пахнущим чем-то древним, сухим и пряным, совсем как пахло в детстве от старого бабушкиного кивота. Итти дальше и выше мимо большого вишневого здания, где стоит на часах чернолицый солдат и верхом на белой арабской лошади гарцует французский или итальянский офицер. В небе купается, вспыхивая на солнце, стайка бело-коричневых голубей, а на земле переливаются, перебегают серо-зеленые тени листья и золото зайчиков...

Дальше — мертвый каменный город. Он спускается вниз, к иссиня-светлому морю, перевитому белыми струйками течений. Разрушенные землетрясениями, обглоданные тысячелетием стены отжившего города белы и открыты, залиты солнцем.

Там, где мертвая улица выходит на твердую, белую, обдутую ветром, проезжую дорогу, прямо на горячей земле сидит человек.

Он босой. Его сухие, сизые, обросшие блестящим волосом, голени тонки и покрыты зажившими шрамами. Острые поднятые колени он держит широко врозь, подобрав под себя пятки. Большие узловатые руки свисают между ними. Он долго и внимательно глядит на меня, и его запекшиеся губы чуть шевелятся. Кто он: нищий, крестьянин, приходивший по делам в большой город, погонщик мулов или бездомный бродяга? Какое мне до того дело! Я чувствую лишь одно, что этот, обглоданный солнцем и нуждою человек, черный как деготь, говорящий на непонятном мне языке, — мой родной брат.

— Селям! — говорю я, подходя ближе.

— Селям! — отвечает он, прикладывая большую черную руку к блестящему лбу и прибавляет по-русски: — Здырастуй!

— Здравствуй! — говорю я и сажусь рядом на прогретые солнцем камни, выпавшие из стен мертвого города, обхватываю руками колени, но нет, не научиться мне сидеть с таким живописным удобством на собственных пятках...

Мы сидим молча, припоминая слова, и смотрим под солнце. Серо-зеленая, точно шитая бисером, ящерица, выбежав из-под камня, вдруг замирает у его ног, таких же черных и сизых, как сама земля. Мне видно, как часто-часто дышит ее светло-синеватое скользкое горло.

Мне хорошо, как бывало хорошо только в дальнем детстве, когда заберешься тишком в высокую, зыбко ходячую рожь. Высоко в небе поет и купается жаворонок, и по высоким, коленчатым, нежно-зеленым былинкам цепко ползают божьи коровки. От земли пахнет сыростью и чем-то таким волнующим, близким и теплым, что хочется упасть и прижаться...

— Война нет карошо! — говорит турок, покачивая черной высокой головою. — Рус — кардаш, турк — кардаш. Инглишь нет карошо!

Сидим долго. Солнце, стоящее над нами, прозрачно печет. Тени коротки и лиловы. В глазах от яркого света рябит и, если зажмуриться, — в малиновом поле серебряные быстро катятся шарики..

И как бывает со мною всегда, когда я нахожу в человеке то, что мне всего дороже, — большое и легкое наполняет меня чувство и, не желая себя сдерживать, я беру его большую, тяжелую от солнца руку ижимаю крепко.

Когда ухожу в город, он долго провожает меня глазами, оставаясь по-прежнему неподвижным, точно темный и древний камень среди камней. Оставшись один, проходя дорогой, по которой вдруг, поднимая сор и пыль, волчком проносится быстрый вихрь, я мысленно говорю себе самые простые слова:

— Хорошо жить! Хорошо быть на земле своим и свободным..

И опять я иду в город, так чем-то похожий на огромное древнее кладбище. С ребячьим любопытством заглядываю в узкие зарешеченные окна султанских усыпальниц, где громко воркуют пегие голуби, а в зеленоватой, прохладной, пахучей полутьме глаз улавливает очертания высокой каменной гробницы и белый столб с чалмою, возвышающийся в возглавии. Солнце, проникнув гущу листвы и узкие окна, тонкими дымящимися стрелами пронизывает зеленую полутьму.

Оторвавшись, иду дальше длинной и широкой улицей, по которой, звеня и громяхая, крутя пыль, пробегает красный трамвайчик. Захожу в маленькую кофейню, где на мраморных столиках белые розы и еще какие-то белые большие цветы, пахнущие сильно и пряно. Молодой красивый турок, в феске и белом халате, в туфлях, надетых поверх зеленых чулок, приветливо и сдержанно улыбается. Необыкновенно вкусным кажется крепчайшее кофе, поданное в чашечке, похожей на желудовую. Легкий ветер чуть отдувает на окнах кремовые занавески.

Чувствуя сладкую усталость и большое, ставшее слышным, наполняющее грудь сердце, опять выхожу на волю, под горячее солнце в яркую белизну улиц.

На просторном дворе белой, залитой солнцем, мечети — пустынно. Устилающий крепкую землю камень желт и горяч. Черна и грязна семья турецких цыган, приютившаяся в углу дворика, под косым, пропитанным смолою, брезентом. Жалки и первобытно дики головыстые, тонконогие, пекущиеся ребяташки. Каменные водоемы молчащих фонтанов — горячи и сухи.

Но как отдыхают уставшие глаза в прохладной полутьме мечети, выложенной синей, ледяно холодной при касании, блестящей майоликой! Широкие, улетающие вверх колонны кажутся призрачно легкими. Свет проходит сверху, рассеянно освещая середину и в синеватой тени оставляя высокие стены. Белый голубь, вдруг сорвавшись, с громким хлопаньем проносится надо мною..

Вхожу в высокую приоткрытую дверь, неся в руках обувь и осторожно ступая босыми ногами на скользкие и чистые, как скатерть, циновки, и тотчас глубокая, прохладная тишина отрезает меня от мира.

В мечети — пустынно. Упади капля — и ее слук тотчас подхватит и отразит насторожившаяся глубокая тишина. Тихо прохожу, держась синей тени. Под большую колонною, лицом к стене, неподвижно спит кажущийся очень маленьким, человек. Колени его подобраны к животу, в них зажата рука. Другая рука — под головою. Трогательно по-детски лежат его плоские, с сухими выступающими муслуками, ступни. Темное, кажущееся костяным, тело прсвечивает в дыры коротенькой куртки. Мне виден его затылок и часть тонкой и черной шеи.

— Брат! — улыбаюсь я, проходя.

И, отойдя, так же, как он, я опускаюсь на пахнущую завядшими цветами циновку, кладу в голова пыльные ботинки. Как приятно, чувствуя холодок пола, протянуть ноги и заснуть прозрачно, все время слушая, как высоко наверху звенят голубиные крылья...

Будит меня журчание, подобное журчанию отдаленного ручья. Поднимаюсь, чувствуя в теле легкий озноб. Привыкшие к полутьме глаза теперь отчетливо видят глубокую голубоватую внутренность древней мечети. Поднимаюсь и обхожу ее еще раз, у одной из колонн, в столбе падающего золотого дыма, неподвижно сидит сухой черный монах. Мягкий мышастый кот, держа хвост колом, осторожно обходит его затылок, переходя с плеча на плечо. Большая тяжелая книга лежит на коленях монаха. Голос его, тоскливо-однообразный, подобен журчанию.

Улица ослепляет светом, оглушает криком осла, несущего высокие корзины, доверху полные арбузами. Тень, скользящая передо мною, указывает мне путь.

Иду не торопясь, задерживая каждый шаг. Спускаюсь тихими улицами, кладбищенски прикрытыми неподвижно зеленью платанов и шелковиц. Сбегаю по обсохшему руслу ручья вниз, в запутаннейший лабиринт тесных улиц, составляющих предместье Чарши — Великого Базара.

Я узнаю его по запаху аниса и ладана, по бесчисленным тесным закуткам, населенным ремесленным людом, таким пестрым и разнообразным, что глаз устает ловить отдельные лица и черты. Точильщики из кости и янтаря, кузнецы, катальщики меди, башмачники, гладильщики фесок, столяры, ножевщики, трепальщики пуха, взлетающего под тетивой лука белейшей пеной... Тесные обшмыганные закутки, гроздь разноцветных туфель, кожа, белая пахучая стружка, чад горнов, ослиный помет на вытертых камнях улиц. — Позади большой сиво-черной мечети, под большим старым плаганом, сидят писцы бумаг и прошений. Долго стою над одним из них. У него седеющая узкая борода, брови, очки на большом носу. Он обмакивает перо в пузырек, висящий у него на груди, и быстро пишет, справа налево, и букочки-закорючки бегут по бумаге, как мураши. Густой ремеслен-

ный городок сменяют тихие безлюдные ряды складов и каменных амбаров, на воротах которых висят замки, такие старые и заржавевшие, словно многие годы не касалась их человеческая рука. Там, где кончаются склады, на небольшой площади, над каменным старым корытом бьет фонтан и в серой стене темнеют открытые широкие ворота.

Это один из многих входов Чарши.

Как в подземелье, вхожу под его нависшие своды, и тотчас меня принимает прохладная пахучая полутьма. Сколько ни бывай здесь — запомнить невозможно всех бесчисленных коридоров, арок и узких проходов, скудно освещенных сквозь верхние окна. И опять я долго брожу по его тесным, пахучим переходам. Старые сизые турки, с серебряной щетиной на впалых щеках, неподвижно сидят в своих, похожих на опрокинутые сундуки, лавочках, и не спеша посасывают из шарообразных мундштуков холодный дым наргиле. Но пустынно и одиноко звучат шаги под сводами коридоров, где, как на колокольне, подует, пахнувший нежилым, сквозняк. Когда-то я любил бывать в большой и широкой зале, подпертой большими колоннами, освещенной тускло. На каменном полу, на прилавках, на широких полках груды лежало новое и старинное оружие. Можно было целый день копаться в старинных пистолетах, обделанных в золото и перламутр, дамасских кинжалах, изогнутых лунообразно и таких упругих, что их без риска было можно сгибать в дугу, в тяжелых принадлежностях древних доспехов... Турок - хозяин, в свежее выглаженной дорожкой феске, в воротничке и манжетах, неподвижно сидел за конторкой. Тонкие его пальцы привычно перебирали костяшки перламутровых четок. И как величествен был его жест, которым он отвечал иностранцу, задумавшему торговаться! — Теперь здесь запустение, пыль: гулко отдаются шаги, толстый паук спускается с купола, мутно поблескивает запылившаяся сталь забытых на стене доспехов... И только сквозной небольшой ряд, торгующий ароматами, полон и по-прежнему головокружительно пахуч. Тут можно достать все, начиная от восточной сухой корицы и кончая смирнским ладаном и ливанским розовым маслом, ценящимся на вес платины... Сердце начинает вдруг крепко биться. Здесь от приземистых серых ворот идет вниз узкая улица, на которой мне давно памятен каждый камень. Торопясь и волнуясь, прохожу этой улицей, где у открытых пыльных лавок сидят продавцы мешков, седел и вьючных корзин.

Теперь мне это, как давнишний сон.

Быстро прохожу узкою улицей, одна сторона которой в розовой тени, другая ярко освещена солнцем. Там, где улица поворачивает вниз, за открытой, выкрашенной в зеленую краску, дверью мешочной лавки мне видна склоненная, монашески накрытая черной косынкой, голова девушки. Старый турок, с седой короткою бородою, с длинной шеей, пересчитывает круглые мотки шпагата. Она сидит за работой, низко склонившись, на ее коленях кусок грубого мешочного холста.

Прохожу быстро, едва успев заметить белые руки и прядь светлых волос, выбившуюся над виском. Привычно прохожу до угла желтого здания с гнездами ласточек, прилепившимися у карниза, и смотрю, как одна за другою падают в воздух шустрые птички. Слепой старый турок, держа в беззубом рту кривой нож, быстро плетет неподалеку от меня из зеленого камыша корзину. И каждая черточка его темного немого лица, движения губ и сухих жилистых рук навсегда остаются в моей памяти. Я стою долго и опять иду вверх, туда, где темнеет открытая дверь.

Старого турка нет. Пользуясь случаем, я подхожу близко и останавливаюсь.

— Кач пара? (Сколько стоит?) — говорю быстро, дотрагиваясь до мешка, висящего над открытою половинкой дверей.

На малую минуту вижу большие серые глаза, белое, вспыхнувшее румянцем, прекрасное лицо, слышу голос.

— Кач пара? — повторяю, чувствуя, как густо и сильно бросается в лицо кровь.

И — счастливый, улыбаясь чему-то, с мешком в руках, через минуту убегаю вверх по горячим от солнца камням.

Останавливает меня босой лиловый турченочек. Он смотрит на меня темными глазами, скалит зубы. На обшарпанном ремешке на его груди висит лоток, набитый черенками ножей.

— Купи, купи, рус!

И когда кладу в карман маленький выгнутый ножичек, он вдруг хитро улыбаясь и прикладывая черную руку к сердцу, глазами показывает на зеленую дверь:

— Турецки дама — кардаш! — говорит, блестя зубами и закатывая голубые белки. — О-о!

В тот день обедаю в крошечной турецкой харчевне, где на высоком вертеле, вращаясь, жарится толстый турецкий шашлык. Пью густое и терпкое, приправленное гвоздикой, вино. Большой белый кот трется у моих ног. Когда выхожу — золотыми свечами горят минареты ближайшей мечети и небо над Золотым Рогом — в огне.

Долго еще слоняюсь по узким бесчисленным улицам, захожу в таверны, где на маленьких столиках греки играют в кости и пьют дузико. Когда сажусь в лодку — над городом, над заливом, синяя разливается ночь.

Разговор с фининспектором о поэзии

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо... не тревожьтесь... я постою...
У меня к вам дело деликатного свойства.
О месте поэта рабочем строю
В ряду имеющих лабазы и уголья
И я обложен и должен караться.
Вы требуете с меня пятьсот в полугодие
И двадцать пять за неподачу деклараций.
Труд мой любому труду родствен.
Взгляните — сколько я потерял,
какие издержки в моем производстве
и сколько тратится на материал.
Вам конечно известно явление «рифмы».
Скажем строчка окончилась словом «отца»

Гражданин
— Поэзия учитите билет проездной!
— вся! —
езда в незнаемое.

Поэзия
та же добыча радия.
В грамм добыча
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с глением
слова сырца
Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.
Конечно
различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
легкость руки!

Тянет
как фокусник
строчку изо рта
и у себя
и у других.
Что говорить
о лирических кастратах?!

Строчку
чужую
вставить и рад.

Это
обычное
воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
сегодня
стихи и оды
в аплодисментах
ревущие ревя, —
войдут
в историю
как накладные расходы,

Машину
души
с годами изнашиваешь.
Говорят: —
— в архив
исписался
пора! —
Все меньше любитя
все меньше дерзается
и лоб мой
время
с разбега крушит.
Приходит
страшнейшая из амортизаций
амортизация
сердца и души.
И когда
это солнце
разжиревшим боровом
взойдет
над грядущим
без нищих и калек, —
я
уже
сгнию
умерший под забором,
рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и знаю не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз, —
я буду
— один! —
в непролазном долгу,
Долг наш
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,

платящий
 на горе
 проценты
 и пени.

Я
 в долгу
 перед Бродвейской лампией,
 перед вами,
 багдадские небеса,
 перед Красной армией,
 перед вишнями Японии, —
 перед всем,
 про что
 не успел написать.

А зачем
 вообще
 эта шапка Сене.

Чтобы целясь рифмой
 и ритмом ярись?

Слово поэта
 ваше воскресенье,
 ваше бессмертье,
 гражданин канцелярист,
 Через столетья
 в бумажной раме
 возьми строку
 и время верни!

И встанет
 день этот
 о фининспекторами,
 с блеском чудес
 и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,
 выправьте
 в энкапес
 на бессмертье билет

И, высчитав
 действие стихов,
 разложите

заработок мой
 на триста лет.

Но сила поэта
 не только в этом,
 что, вас
 вспоминая,
 в грядущем икнут.

Нет!
 и сегодня
 рифма поэта —

ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор —
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов
это пользоваться
чужими словесами,
то вот вам,
товарищи,
мое стило
и можете
писать
сами!

Что делает советская власть для осуществления демократии¹⁾

М. И. КАЛИНИН

По существу говоря, можно бы заглавие перевернуть: «чего не делает советская власть для осуществления демократии», ибо все, что бы ни делала советская власть, есть осуществление или укрепление демократии, ибо все, что укрепляет советскую власть, как таковую, своим следствием укрепляет и демократию.

Впрочем, сначала условимся, что надо понимать под словом «демократия».

В Америке под флагом либералов и демократов скрываются самые отчаянные реакционеры, защитники наиболее организованной и эксплуататорской буржуазии. Для них свобода, демократия означает освобождение эксплуатации рабочих от всякого государственного ограничения.

В Англии, в стране якобы действительной свободы, за последнее время происходили судебные процессы коммунистов, где с необычайной яркостью выявляется, что английский демократизм возможен лишь в пределах английской консервативной мысли. Всякий же, выступающий активно против настоящего империалистического строя Англии, хотя бы без оружия в руках, подлежит тюремному заключению. Хотя тюремное заключение я не считаю наиболее сильным оружием против активной деятельности политических партий, но оно лучше всего иллюстрирует их правовое положение. Главная враждебная сила, мешающая практической деятельности хотя бы английской коммунистической партии,—это могучее влияние на весь английский быт крупного капитала.

Представьте себе практическую деятельность коммунистической партии в Великобритании: печатание прокламаций, воззваний, газет, книжек возможно только в типографии владельца-капиталиста, квартира штаба партии находится в доме владельца-буржуа и т. д., и т. д. Всюду сопро-

¹⁾ Предлагаемая статья написана тов. М. И. Калининым для иностранной печати. По просьбе редакции он предоставил ее «Новому Миру».

твление отчаяннейших врагов коммунизма, которые и за страх и за совесть считают святым своим делом вредить коммунизму.

В совершенно противоположных условиях находятся консерваторы, вообще реакционеры. Их сторонники вербуются преимущественно среди имущих, среди собственников от рестораторов до владельцев земельных участков включительно. Ясно, что их деятельность здесь находит решительную поддержку. От молитвенного дома до свободного от застройки участка земли—все предоставляется к их услугам. К этому надо добавить явно и тайно сочувственное отношение органов правительства, в руках которого сосредоточены огромные материальные и денежные средства.

И после всего этого говорят, что если сравнить условия политической борьбы для консерваторов и коммунистов, то эти условия одинаковые: в свободной, в глазах обывателей всего мира самой свободной стране в мире, в Англии—лицемерие и лицемерие, полный и возведенный в систему обман рабочих. Никакой свободы и в особенности политического равенства я здесь не вижу, этого не было и нет.

А ведь под демократией—даже буржуазной,—по крайней мере хоть формально, подразумевается (конечно, обывателями) возможность для народных масс легально отстаивать свои интересы. «Право» есть, но воспользоваться им рабочий не может. Если же рабочие массы начинают систематически пользоваться своим «правом», оно немедленно отнимается верхушечными классами. Наглядным примером этому является упомянутый выше судебный процесс английских коммунистов.

Но все-таки, что же сделала советская власть, режим диктатуры пролетариата (одно название «диктатура» вгоняет в пот благонамеренного обывателя-буржуа) для осуществления демократии, действительной демократии, а не буржуазной, не в кавычках? Иначе говоря, какими возможностями советская власть наделила широкие массы рабочих, крестьян и городской бедноты в области защиты их кровных интересов? Каждый политический шаг советской власти исходит из положения—поднять, укрепить угнетенные и обездоленные массы трудового населения. Я останавлиюсь на нескольких выполненных советской властью задачах хотя бы в хронологическом их порядке.

Первыми актами советской власти было: прекращение империалистической войны, аннулирование тайных хищнических договоров, конфискация всей помещичьей земли и бесплатная передача ее народу. Пройду мимо первых двух; мне кажется, нет основания доказывать их демократичность. Остановлюсь на последнем.

Пусть мне укажут в истории хотя один законодательный акт, который бы наносил по помещицкому, самому реакционному классу столь жестокий удар, как конфискация земли. Передача всей помещичьей земельной собственности трудовому народу бесплатно,—разве это не является действительным укреплением народовластия, демократии? Представим конфискацию всей земли у английских лордов или конфискацию громадных имений германских аграриев. Разве эта мера не была бы революционной и разве она не укрепила бы значительно германскую или ан-

глийскую демократию? Но, ведь, мы не ограничились только землей, а конфисковали все фабрики, заводы и вообще все крупное частно-владельческое имущество, которое полностью передано в руки рабочего государства. Ведь это выдает, что мы лишили крупных собственников главной основы их власти и господства—капитала.

Что же, такие меры укрепляют демократию или разрушают ее? Только лакеи буржуазии и злейшие враги народа, в какие бы народнические они мантии ни рядились, могут отрицать демократичность вышеприведенных мер.

В Советском Союзе юридически и, насколько это возможно, практически проведено полное равенство полов. Женщина у нас действительно сравнялась во всем с мужчиной. Покажите хоть одну самую демократическую страну, где бы женщины имели равные права с женщинами Советского Социалистического Союза? И это ведь не слова, а действительно так: в нашем Центральном Комитете партии имеются женщины, в ЦИК'ах Союза и Республик тоже имеются, в Совнаркоме имеются, в президиуме ВЦСПС имеются и т. д. и т. п. Мы разрушили святое святых буржуазии. В дипломатии в качестве полномочного министра и посланника СССР работала женщина. Но если бы меня спросили, а существует ли действительное полное равенство между женщиной и мужчиной в Союзе, то я бы сказал: фактически, конечно, еще полного равенства нет. Оно может быть только в развитом коммунистическом обществе, до которого еще нам очень и очень далеко.

Между тем вот что говорят русские белогвардейцы, которые в своем мракобесии и реакционности превзошли сами себя:

«Русские женщины,—читаем мы в кадетской газете «Русь»,—все жалуются на ограничение их гражданских прав во Франции. Понесет дама в ломбард закладывать кольцо или часы, а у нее спрашивают:—А разрешение вашего мужа?—Но ведь это женские часы, мои часы, какое же разрешение!—Это все равно. Без разрешения супруга вы не можете закладывать и ваших личных вещей... И так во всем. Хочет женщина нанять квартиру—сейчас же вопрос:—А разрешение мужа? Хочет открыть мастерскую, опять—А ваш супруг разрешил? Особенно негодуют наши пожилые дамы:—Помилуй бог: мне шестой десяток идет, а у меня, точно у девочки, спрашивают, позволил ли муж. Хотела бы я видеть, как бы это он мне не позволил... В «варварской» России женщина так привыкла к юридическому полноправию, что в Европе, и особенно в странах латинской культуры, она чувствует себя на положении полу-ребенка, всегда и во всем опекаемого. Я слышал даже, как наши дамы смеются над французскими дамами:—Ведь француженка, без позволения мужа, даже письмо заказное отправить не может... А еще Европа называется... Да, называется Европа, но еще лет 50, а может быть и все 100, пройдет, пока они нас в этом отношении догонят. Мы очень мало ценили то хорошее и то прекрасное, что у нас было. Мы очень часто принимали в Европе благоустройство за культуру. И только теперь, когда мы так близко подошли к европейскому быту и к европейскому закону, мы с удивлением

видим, что были области, где мы стояли впереди всех. Европейцы, которые так поражаются юридическим равноправием русской женщины, об'ясняют это явление тем, что у нас был целый ряд самодержавных императриц и что это императрицы повлияли на наше законодательство. Грешный человек, я тоже так думал, но один русский профессор в Праге, человек огромных знаний и знаток вопроса, об'яснил мне, что это ходячее мнение лишено научной основы.—И до императриц так было. Корни явления надо искать в другом месте—в славянском отношении к женскому равноправию».

Это из «Руля», от 22 января 1926 г.; фельетон А. Яблоновского—«Русский Париж».

Этот поборник равноправия женщин, как гоголевский Петр Петрович Петух, тут же смакует: «Ужасно положение простых русских людей, не знающих ни одного французского слова и попавших в «эмигранты». Это положение глухонемых. Мне одна русская дама рассказывала, что встретила на улице старушку в платочке, которая все подходила к французам и крестилась и показывала что-то такое руками. Ее, конечно, никто не понимал. Подошла старушка и к моей знакомой и тоже стала креститься. Но результат получился все тот же: знакомая только руками развела. Тогда у старушки вырвалось восклицание досады:—Ах ты, господи, твоя воля.—О, да вы русская.—Русская, матушка, русская... А то как же. Вот час целый спрашиваю, как мне в русскую церковь пройти и никто не понимает...—А вы бы по-другому как-нибудь спрашивали, я вот и русская, да не поняла.—Да как же спросить-то, когда я по-ихнему не слышу. Ничего по-французски не слышу, хоть убейте меня. Ну, думала, крещусь я по-русски православным нашим крестом и показываю, как люди богу молятся—как не понять. Так вот ни один не понял, а люди они вежливые...—Оказалось, что русская няня, вместе с господами бежавшая от большевиков. Тоже, конечно, «враг народа», «империалистка» и «контр-революционерка»... Из русской прислуги, кажется, одни только няни и последовали за господами. Но это и неудивительно. Няни ведь были членами семьи, искренними друзьями и скорее родными, чем служащими людьми. Они своим долгом считали разделить с господами несчастье. И вот в Париже, в Берлине, в Лондоне появились эти своеобразные «эмигрантки»—такие же, как были в России: в темных платочках, в темных платьях «с горошком», тихие, ласковые и милые, бесконечно милые. Старый тип сохранился во всей неприкосновенности от Пушкина до наших дней. А кстати, Пушкин-то свою Арину Родионовну не называл «няней», а называл «мамой». И уже взрослым человеком и прославленным поэтом все, бывало, говорил: «Мама». И старой нянюшке это ужасно нравилось: все меня мамой величает, а какая я ему «мама». Слышу и вижу, что русские рабочие, устроившиеся на заводах, очень переутомляются. Редко кто работает положенные восемь часов—почти все проводят на заводе девять и десять часов».

Ведь это пишет бывший русский радикал, и между тем как ему мил старый помещичий быт с его ваньками, нянями и прочей помещичьей че-

лядю. Насколько же выше, благороднее современных писак «Руля» гоголевский Петух. Он вместе со своими крепостными ловил карасей в своем пруду и смаковал не рабство, а искусство своего повара.

Правнуки Петуха выросли, они поняли вкус не только в кулебяках, а и в смачности института рабовладения. Насколько был прав Щедрин, говоривший: поскреби русского радикала, окажется помещик. Теперь времена изменились: не надо скрести, шелуха радикализма спала сама собой и старый помещичий быт стал заветной мечтой русской эмиграции. Что же, пусть она скрашивает жизнь гоголевскому зоологическому саду эмиграции. А молодое поколение иногда будет туда заглядывать для наглядного изучения прелести отжившего режима.

На изжитие современного положения женщины потребуется очень значительное время. И вот в Советском Союзе принимается целый ряд мер к ускорению приближения момента полного равенства между мужчиной и женщиной. Я допускаю, что, может быть, здесь мы в чем-нибудь и ошибаемся в частности, но для меня не подлежит никакому сомнению, что ни одно государство не делает столько, как Советский Союз, для наделения женщин такими правами, которые бы давали возможность ей реально сравняться с мужчиной. Достаточно напомнить 4-месячный отпуск с полным содержанием при родах, или обсуждение на последней сессии ВЦИК кодекса законов о браке. Весь спор вокруг кодекса велся и ведется сейчас, как лучше обеспечить женщину. Я спрашиваю, что это? К чему это ведет—к укреплению демократии, или ее ослаблению?

Возьмем национальный вопрос, вокруг которого более чем где-либо сплетен клубок коварства, лжи и лицемерия среди настоящего буржуазного, так называемого «демократического» общества. Когда тащили миллионы рабочих и крестьян на мировую бойню, буржуазные сирены обоих воинствующих лагерей пели о национальном самоопределении, о праве народов на собственную культуру. Куда все это делось? Разве национального угнетения стало в 1926 году меньше, чем в 1913, последнем мирном году? Английский империализм стал менее жаден? А французский капитал своими жестокими кровавыми расправами в колониях не заменил ли полностью приказчика немецкого капитала—Вильгельма, лицемерно всю жизнь рядившегося в фальшивую одежду рыцаря и при первой опасности поворно бежавшего из своей страны от народного гнева? За большими акулами следуют маленькие: Польша, Румыния и т. д. и т. п.

Одним словом, шовинизм, национальная обособленность, желание подчинить себе национальные меньшинства, грабежи и угнетение маленьких народов,—все это несколько не уменьшилось по сравнению с довоенным периодом. И разрешение национальных вопросов сейчас во всем мире стало еще более запутанным и трудным, чем это было до войны. Каждое карликовое государство стремится отгородиться таможенными барьерами от своих соседей, ведя войну у себя внутри с национальными меньшинствами. Этой участи не избегли такие колоссы, как Англия и Америка, которые буквально эксплуатируют весь мир. Одним словом, зреют элементы для новой войны.

В царской России национальный вопрос был в числе наиболее уязвимых и практически трудно разрешимых вопросов. Свыше двух столетий царизм насильственно присоединял к себе национальность за национальностью, все время проводя политику угнетения, национального порабощения, курс на ассимиляцию присоединяемых народов, стремясь к полному уничтожению малых национальностей, повсюду закрепляя русское господство. За русским солдатом в присоединяемой территории шел колонизатор, под флагом культуртрегера. Это был только носитель царского кнута и нагайки. В связи с этим распространялась страшная ненависть как к царизму, так и ко всему русскому.

Перед советской властью встала труднейшая проблема—объединить эти противопоставленные друг другу элементы, пылающие ненавистью ко всему русскому, пропитанные глубокой подозрительностью, не проводится ли и под флагом советской власти новая руссификаторская политика. Сейчас можно сказать, что народы, населяющие наш Союз, видят в лице советской власти уже не угнетателей-руссификаторов, а действительных защитников всех народов, населяющих Советский Социалистический Союз. Я не увлекаюсь, не говорю, что эта задача из легких и что она полностью решена; наоборот, с каждым годом существования Советской власти открываются новые трудности по согласованию национальных интересов, по поднятию их политического самосознания до общесоюзного уровня. Действительно, это труднейшая проблема. На самом деле, сколько требуется сил, воли и энергии, народного пафоса и бесконечного количества труда, чтобы научить степняка-киргиза, мелкого хлопководо-узбека, садовода-туркмена и т. д. и т. п. воспринять идеалы ленинградского рабочего.

Советская власть основательно в этом направлении поработала. Достаточно вспомнить, что у нас шесть Советских Республик, об'единенных между собой в Союз особыми договорами, дающими право в любое время любой из них односторонним заявлением выйти из Союза. В обычной государственной работе Союзные Республики обладают огромными правами самостоятельности, ибо глава вторая Союзной Конституции прямо говорит: «Суверенитет Советских Республик ограничен, лишь в пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции Союза; вне этих пределов каждая Союзная Республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно. Союз Советских Социалистических Республик охраняет суверенные права Союзных Республик». И действительно, Союзные Республики у нас имеют всю полноту прав согласно нормам Союзной Конституции.

Каждая Союзная Республика в своих пределах имеет ряд автономных Советских Республик, Областей и просто небольших национальных автономных единиц. Достаточно сказать, что РСФСР имеет десять автономных республик и тринадцать областей, чтобы понять, насколько велики стремления Советского Союза в деле обеспечения национальных прав. Каждая небольшая народность, насчитывающая несколько десятков тысяч населения, компактно живущих, имеет право выделиться в автоном-

ную единицу, с ведением государственного делопроизводства на своем родном языке. Для защиты национальных меньшинств в Центральном Исполнительном Комитете Союза создана новая «палата» — Совет Национальностей, имеющая одинаковые права с прежней «палатой» — Союзным Советом. Обе они и составляют ЦИК Союза. Можно уверенно сказать, что нигде в мире не относятся столь внимательно и бережливо к национальным особенностям и нуждам, как в Советском Союзе.

Можно было бы думать, что это поведет к разброду многомиллионного, многонационального, разноязычного, страшно территориально разбросанного бывшего царского государства. Однако на девятом году существования советского строя можно смело сказать, что с каждым годом все более и более изживаются сепаратные, приходские стремления как областные, так и национальные. Идея Союза все сильнее охватывает чувства и самосознание народов, населяющих Союз Советских Социалистических Республик. Об'езжая самые глухие углы Союза, я повсюду это видел. Например, год тому назад, будучи в Фергане, Бухаре, в аулах Туркмении и других местах, я повсюду видел желание местного жителя выявить себя не только узбеком, туркменом, а и гражданином Советского Союза. Характерно, в поездку по Средней Азии, т.-е. по Узбекистану и Туркменистану, я получил около 3-х тысяч различных заявлений на местных языках. Лица, стоящие во главе Союзных Республик, мне шутя говорили: «народ сломал все конституционные формы перед Москвой, — пишите резолюции, они нами будут выполнены». Можно отметить новую черту среди рабочих, крестьян и в особенности нарождающейся народной интеллигенции, — желание побывать, а у молодежи поработать и в особенности поучиться в Москве.

Сама Москва из специфически русского города, где русская чуйка имела права подобно сюртуку в европейском быту, наполняется разноплеменными костюмами народов Востока. Москва становится центром сочетания и накопления народной мысли от Дальнего Востока до пределов Польши. Недаром заслуженные вожди народов, — как, например, Нариман Нариманов, бывший председатель ЦИК 'а Союза от Закавказской федерации и бывший предсовнаркома Азербайджанской Республики — похоронены в Москве. Трудно сказать, кто кого и куда тянет: восточные народы Союза тянут Москву к себе, или Москва их притягивает. Я думаю ни то, ни другое. Здесь просто растет интернациональная мысль. Рабочие и крестьяне различных национальностей Союза, чувствуя опасность от капиталистического мира, плотнее сжимаются, выковывая общую мысль, общее оружие защиты от еще могучего империализма. Я этим не хочу сказать, что перед нами лежит легкий путь в национальном вопросе, в вопросе близкого сожительства и совместного труда разных национальностей.

Развитие техники и связи ведет к постепенному уменьшению территориальных расстояний. Это не только сближает людей: самая жизнь их, несмотря на то, что они живут в различных широтах земли, все более приобретает одинаковый характер. В то же время маленькие националь-

ности, видя надвигающуюся опасность утраты своих национальных особенностей, особенно ревниво оберегают их. И вот перед нами стоят эти трудности: с одной стороны,—на деле выявить полную свободу самоопределения маленьких национальностей и, вместе с тем, найти такие формы совместного сожительства и совместной работы, которые дали бы возможность охвата в полном объеме сил природы, дали бы возможность всю силу народной мощи Союза бросить, направить в наиболее уязвимое место. Что говорить: и до сих пор задача остается трудной. Но постепенное, изо дня в день, практическое ее решение должно привести нас к заветной цели. Мы тем более в этом убеждены, что главное в национальной розни—эксплуатация человеком человека—у нас изживается. У нас нет крупной буржуазии: основа национальной розни у нас подорвана.

Скажите, не есть ли это действительное, настоящее укрепление демократии?

От большого перейду к малому. При советской власти упрощена орфография русского языка. По этому поводу могут сказать, что вопрос этот принципиально решен до советской власти. Это правильно, что и говорить, но ведь одно дело признавать необходимость тех или других мероприятий, а другое—провести их в жизнь. В нашей старой русской грамматике было много, чересчур много условных, искусственных грамматических знаков, которые создавали громадные затруднения в правописании. Достаточно напомнить, что в старом правописании была буква «ять», во многих словах заменяющая «е» простое даже в таких словах, где произносится как «ё». Это было пугалом не только для детей младшего, но и старшего возраста. Можно смело сказать, что учитель мог в любое время срезать на русском языке, обвинить в незнании русского языка самого способного ученика. И на изучение этих условностей тратилась бездна времени, что, разумеется, доступно только совершенно обеспеченным людям; благодаря этому даже те крестьяне и рабочие, которые кончали городскую или земскую школу, считались неграмотными. Во всем этом, конечно, был дух привилегированности, обособленности так называемого культурного общества. Я не сомневаюсь, что то же самое существует и в других буржуазных странах, где язык, так называемый литературный, различен от народного.

Наши реформы в русском языке дали могучий толчок восточным народам произвести в их языках еще более глубокую реформу. Напоминаю, что тюркские народы свои восточные шрифты, представляющие исключительные трудности при изучении языка, заменяют латинским, более простым шрифтом. Что все старое, заскорузлое, антинародное идет против таких реформ, не надо удивляться, ибо ведь упрощение (в самом широком смысле) изучения грамоты, делая ее народной, всеобщей, тем самым лишает, развенчивает перед народом мнимых жрецов знания.

Кстати напомню, что советами проводится метрическая система мер и весов, введен новый календарь и т. д.

Кто осмелится сказать, что перечисленные мною меры советского правительства не идут навстречу действительному советскому демокра-

тивму? Кто осмелится сказать, что они не соответствуют интересам трудовых масс?

Я мог бы с первого дня советского строя и до сдачи в набор моей статьи проследить всю работу советского правительства изо дня в день,— и я не сомневаюсь—во всей этой работе красной нитью проходит одно стремление, это—укрепить власть трудящихся громадного большинства народов, пробудить его энергию и волю к защите своих интересов. Наши враги (а их у нас достаточно) делают все для того, чтобы отравлять сознание народных масс глупейшими небылицами, фантастическими измышлениями вроде «национализации женщин», грубыми и непристойными обвинениями.

Вместо всей недостойной галиматши, измышляемой о большевиках, занялись бы шаг за шагом изучением советского законодательства и административной практики советских органов, где действительно еще много можно найти отрицательных явлений, и уже на почве этих существующих в жизни фактов били бы по советскому строю.

Такую именно политику ведут коммунистические партии; они не просто поносят буржуазный строй, а собирают конкретные факты буржуазного режима и в их настоящем виде подносят рабочим и крестьянам, и, чем факты жизненнее, чем менее оспоримы они, тем они сильнее бьют по капиталистическому режиму. Почему же весь могущественный буржуазный мир, располагающий колоссальной прессой и средствами, не последует за коммунистами? Ведь к их услугам русская белогвардейская пресса, знающая, где и как собирать такие сведения, лишь бы платили. Просвещенные хищники журналистики знают ценность опубликования таких сведений и, однако, они пользуются, как я уже сказал, выдумками с потолка, доверие к которым все больше падает со стороны широких масс деревни и города. Это можно об'яснить только боязнью фальсификаторов, что правдоподобное описание даже отрицательных сторон советской общественной жизни будет революционизировать их собственные народные массы. В беспристрастной обрисовке наших отрицательных явлений будет проглядывать огромная творческая работа, замазать которую нельзя, а именно ее-то владыки империализма и хотят скрыть от собственных масс.

Не сомневаюсь, читатель уже негодует, что мы, увлекаясь полемическими настроениями, далеко ушли в сторону от непосредственной темы нашей статьи. Возвратимся к нашей теме. Мы еще не сказали, что в нашем Союзе полностью проведен восьмичасовой рабочий день. Не фиктивно, как это делается в капиталистических странах, а реально. Многие умники нашему восьмичасовому дню противопоставляют пять-шесть предприятий в мире—вроде Форда,—где также введен восьмичасовой рабочий день. Но ведь это ничего общего не имеет с нашим восьмичасовым рабочим днем, ибо у нас этот закон распространяется на весь наемный труд, не исключая домовой и личной прислуги, а в особо тяжелых производствах рабочий день сведен к шести часам. И это уже не эпизодическое явление, а приобрело все права гражданства и быта за девятилетнюю исто-

рию своего существования. Ввести 8-часовые работы в крупной промышленности не представляет особого затруднения. Крупная индустрия так выматывает силы рабочего, что само производство требует более короткого дня, а вот распространить этот закон на весь наемный труд не решаются и самые богатые страны, как Америка. Конечно, мы встречаем здесь громадные затруднения и значительное снижение продукции, что ведет к удорожанию товаров. Достаточно перечислить: строители, коммунальщики, служба движения железных дорог, обслуживающий персонал домов, торговых предприятий, столовых, ресторанов, милиция и т. п. В этих профессиях рабочий день измерялся в России от 10 до 18 часов в сутки. Можно с уверенностью сказать, что и в передовых капиталистических странах он приблизительно такой же длинный и по сей день.

Полное внедрение в жизнь, в народный быт восьмичасового рабочего дня, это величайшая проблема, ведущая к освобождению человечества от всякого вида рабства. Она в своем практическом проведении встречает колоссальнейшие трудности и, смело можно сказать, не по силам буржуазному строю. Надо вспомнить, что в таком труде участвуют миллионы неквалифицированных людей, распыленных в своей работе, еще не пропитанных полностью пролетарским мировоззрением, слабо культурных, подвергающихся большему влиянию капиталистических элементов и, наконец, еще не научившихся работать с полной продуктивностью. У нас в области производительности пока идет главный нажим на производственные организации и органы управления, но несомненно в следующей стадии встанет вопрос о полном приобщении к индустриальному пролетариату и этой распыленной массы не только идеологически, а и приближением в интенсивности труда. И, конечно, это возможно только при советском строе, где в производительности заинтересовано все население страны, где результаты производительности отзываются в первую очередь на рабочем классе. Все вышесказанное не подводит ли крепчайший фундамент под демократию, под действительную рабочую демократию!

Скептический читатель за рубежом Союза, настроенный с некоторой доброжелательностью к нам, скажет: «Все это правильно, факты, изложенные Калининым, более или менее не подвергаются сомнению, а как же все это вы свяжете с произволом вашего Г.П.У.?».

Здесь нам придется об'ясниться начистоту с зарубежными читателями. Нигде столько не напущено туману, клеветы и самой беспардонной лжи, как вокруг Г.П.У. В особенности в этом стараются наши социал-соглашатели, меньшевики и социалисты-революционеры всех оттенков. Нет ни одного номера «Социалистического Вестника» («Социалистический Вестник» — официальный орган русской социал-демократии, издаваемый в Берлине), в котором не было бы статьи, направленной против Г.П.У. Одно то, что центральный орган меньшевиков уделяет столь огромное внимание Г.П.У., доказывает слабость меньшевиков в принципиальных вопросах. Русские социал-реформисты стремятся,

как все буржуазные партии, спор с основных принципиальных вопросов перенести на частности и главным жупелом своим избрали Г.П.У., вокруг которого всего удобнее плести клевету. Во-первых, я отмечаю столь распространенную ложь за рубежом Союза, что наше Г.П.У. ведет самостоятельную независимую политику. За все, что делало и делает Г.П.У., несет ответственность, не только формальную, а и по существу, все советское правительство. Можно с уверенностью заявить, что ни в одной стране орган охраны не связан столь крепко с правительством, как в СССР.

Является ли необходимым для Советского Союза сохранение такого органа? На это я отвечу вопросом же: покажите мне хоть одну страну в мире, где обходились бы без специального органа надзора за государственными преступлениями? Такой страны нет, а ведь казалось бы, что государственности, существующие свыше тысячи лет, менее всего в этом нуждаются. Так почему же вы пред'являете такое требование к государственности, которая существует только десять лет, само существование которой вызывает скрежет зубовой во всем капиталистическом мире? С нажимом буржуазной контр-революции, с ее самыми разветвленными органами, принимающими самые различные формы, вплоть до издания «Социалистического Вестника» и наводнения нашей страны осведомителями иностранных контр-разведок,—может ли наш народный суд справиться? Конечно, непосредственно попавшие с поличным понесут должную кару и от суда, но ведь у нас сотни тысяч белогвардейцев, пригретых международным капиталом, у которых заветной мечтой является воротить свои привилегии и отобранные народом капиталы, и в этом они находят постоянную поддержку от своих зарубежных собратьев.

Все они находят тысячи легальных и нелегальных путей для борьбы с советской властью. В моей личной канцелярии был такой случай. Г.П.У. предупреждает меня, что один из моих чиновников ведет слишком тесную связь с иностранцами. Г.П.У. подозревает, что он им делает какие-либо взаимные услуги. Я был уверен, что ничего особенно секретного он не ведет, что документов на руках он иметь не может, что нельзя допустить с его стороны прямого предательства. Человек в глазах обывателей простой, честный. И, однако, он оказался референтом иностранных фирм. Я справился в среде буржуазной адвокатуры, допустим ли с точки зрения адвокатской этики такой поступок,—получил отовсюду ответ, что это есть недопустимое предательство.

Мне, до ознакомления с его личными показаниями, казалось диким такое поведение. Человек сознательный, образованный, умеет разбираться в степени преступности, не враг советской власти. По крайней мере, если бы его нечаянно спросить, сторонник он или противник советской власти, он искренно признал бы себя сторонником. И однако оказалось, его так просто купили. Лишь читая его исповедь на суде, начинаешь понимать, как ловко наши враги умеют развращать наш служебный персонал. Сначала простое знакомство с иностранными журналистами, что так льстит русскому интеллигенту. Среди них возможно показать свою культурность и некоторые глупости советского строя,

что вполне соответствует интеллигентской психике. Через журналистов завязывается связь с коммерсантами, которые дают небольшие вполне законные поручения, как например: деловое письмо, а потом проект контракта и т. д. и т. п., а потом, смотришь, у иностранцев имеется с учреждением уже тесная связь, а человек незаметно для него сделался наемником иностранного капитала, оставаясь вместе советским чиновником, что особенно дорого и ценно иностранцам. Лишь очутившись в тюрьме Г.П.У., такой человек поймет, что он делал государственное преступление. Что это, отдельный случай, необычный инцидент? Нет, судя по ряду судебных процессов, это довольно бытовое явление, это признак, что наша буржуазная интеллигенция еще слабо прониклась советской государственностью.

Тот, кто возражает принципиально против Г.П.У., как органа охраны, надзора и отчасти административной расправы, тот хочет ослабить советский строй в самом уязвимом месте в борьбе с подпольной работой его врагов. Меншевицкие иудушки ловят и разоблачают отдельные одиозные факты из деятельности Г.П.У. Конечно, как и в каждом учреждении, бывают промахи и в Г.П.У., но надо открыто сказать, что у нас в Г.П.У. работают наиболее уважаемые и выдержанные товарищи, в то время как в буржуазных странах в государственную охрану идут из чисто карьерных соображений. Человек, дорожащий своей репутацией, не пойдет в разведывательные органы буржуазии, и там охрана действительно состоит из людей с пониженной буржуазной моралью, ибо защищать интересы буржуазии из моральных побуждений вряд ли кто из разумных людей станет.

У нас в советской государственности, в основе ее лежат идеальные цели—освобождение человечества от всех видов рабства и эксплуатации. Вполне естественно, что наиболее активные органы, стоящие непосредственно на фронте борьбы (армия, органы Г.П.У.) в Советском Союзе пользуются среди рабочих и крестьян не только уважением, но и глубокой любовью. И чем сознательнее гражданин Союза, тем глубже понимает он значение вышеназванных институтов. Мы, принципиальные противники милитаризма, никогда не опускаем из агитации момента, что принуждены сохранять и развивать Красную армию из чувства самосохранения. Она нам не нужна для нападения, но это не уменьшает народной симпатии и даже известной гордости в достижениях военной мощи. В лице бойцов Красной армии мы видим передовой отряд в бою за социализм. Такие же чувства мы имеем и к органам Г.П.У. Я выше уже говорил: туда посылаются наиболее стойкие и выдержанные коммунисты, в правильном предположении, что им по роду деятельности приходится вращаться во враждебной нам среде, подвергаясь тлетворному ее влиянию.

И вот наши враги, в том числе меньшевики и эсеры, наносят удары по активному органу советского государства в борьбе с контр-революцией. Что в Г.П.У., как и в других советских органах, бывают ошибки, самоуправство и даже злоупотребления, которые, конечно, жестоко отзываются на попавших под воздействие Г.П.У., это понятно, с этим ру-

ководящие органы самого Г.П.У. решительно борются. Но все рассказы наших врагов о массовом аресте рабочих, о боязни крестьян перед агентурой Г.П.У. и т. д. и т. п., все это есть сплошное вранье. Рабочим и крестьянам менее всего приходится сталкиваться с Г.П.У., принимая во внимание отсутствие его агентов в деревне. Наиболее страдающим элементом являются, конечно, спекулянты, торговцы-скупщики краденого и контрабандных товаров. Но, разумеется, это до известной степени работа побочная, навязанная Г.П.У., как хорошо налаженной организации, при том в советских условиях спекуляция часто связана с контр-революцией.

Разумеется, главная задача Г.П.У.—бороться с контр-революцией, за это именно ее и ненавидят наши враги. От этого назначения Г.П.У. советская власть отказаться не может не по внутренней силе контр-революции, с ней, пожалуй, мы справились бы и более мягкими мерами, а благодаря враждебному окружению нашего Союза, которое питает, воодушевляет, снабжает материальными средствами нашу разбитую контр-революцию. Неужели хоть один честный человек поверит, что наши контр-революционные газеты и журналы все издаются на эмигрантские средства? Ясно, что им помогают иностранные капиталисты, а я предполагаю—и правительства. Поэтому все демагогические крики о Г.П.У. есть желание разрушить зарекомендовавший себя орган в борьбе как с внутренней контр-революцией, так и с международной контр-разведкой.

Есть все основания думать, что читатель если не убедился полностью, то во всяком случае наши доводы признал заслуживающими внимания. Это тем более легко ему сделать, что они не выходят из обычного его поля зрения. Все перечисленные мною меры советского правительства теоретически приемлемы как для обывательски настроенных рабочих масс, так и для демократической интеллигенции за рубежом. Конечно, настороженный слух демократии шокирует мой хвалебный отзыв Г.П.У., но с этим можно примириться, принимая во внимание, что такие же органы охраны существуют буквально во всех странах, не исключая самых демократических; и на советскую охрану вешают собак лишь потому, что она защищает столь одиозный для демократов советский строй. Повторяю, все мною перечисленное, включительно до Г.П.У., должно быть приемлемо для зарубежной демократии, по крайней мере теоретически. Но у нас есть действительно трудно переваримые демократией установления. Мы не допускаем, не принципиально, но довольно решительно и последовательно, существования других политических партий. И вместо того, чтобы бить нас по этому действительно важнейшему для мелкой буржуазии вопросу, а нам есть основание подискусировать по нему с вами, кричат на всех перекрестках о незаконных действиях Г. П. У., чем замазывают существо вопроса, подменяют коммунистическую партию, советский строй административно исполнительным органом.

В Советском Союзе легально существует только коммунистическая партия. Мы решительно отметаем навязываемую нам мысль, что мы не мо-

жем терпеть других конкурирующих с нами партий. Меншевики выступали на 7-м Съезде Советов (это было в конце 1919 года), анархистские группы выступают и по сей день, легально существуют сионистские организации (поэла-сион и гехолуц). Всем, наконец, известен факт—наш блок с левыми эсерами. Одним словом, прошлая история дает картину стремления большевиков приобщить к борьбе за конечные идеалы человечества способные на эту борьбу партии. И уж не наша вина, если все они последовательно, одна за другой, в процессе борьбы обанкротились, превратившись в орудие борьбы мировой реакции с нами.

Платформы наших партий за истекший период времени оценивались не только их писанными параграфами, а более существенным признаком: на какой стороне баррикады они находятся. Кто же сомневается, что они все время находились на стороне наших врагов, вместе с самыми злейшими врагами бились против нас, и так продолжается до сих пор! Правда, был незначительный период существования группы новожизненцев, стремившихся быть нейтральными, но ведь эти нейтральные ослабляли наш фронт, вносили разложение в наши ряды, вольно или невольно делались осветителями для врагов нашего внутреннего состояния. А левые эсеры—наши первоначальные союзники—в самый острый момент изменили или, выражаясь решительнее, предали дело пролетарской революции. Если бы их предательство удалось, ведь сотни тысяч крестьян и по крайней мере десятки тысяч рабочих были бы вырезаны. Удивительно коротка память у наших противников.

Так называемые социалисты хотят, чтобы мы легализовали хотя бы пока только социалистические партии. Но как же их легализовать, когда они до сих пор стоят по ту сторону баррикады, когда у них очередной работой считается свержение советского строя и восстановление на место его буржуазной демократии?

С меньшевиками и эсерами—даже архи-левыми—в лагерь пролетарской революции пройдут злейшие враги советов, а они сами будут являться передовым отрядом буржуазии в ее повседневной борьбе с нами. Разве сейчас «Социалистический Вестник» не находится в авангарде в борьбе с советами? Кому он служит? Разве Дан мог бы гарантировать, примерно, такие же отношения с советской властью, какие существуют между Макдональдом и др. лидерами английской Рабочей Партии—и английским королем? Кто мог думать пятнадцать лет тому назад—в период разгара ликвидаторства,—до каких пределов дойдут меньшевики в ненависти к строю пролетарской диктатуры? Можно почти не сомневаться, что сейчас они советскому строю предпочли бы старый царский. Такой факт можно объяснить только их классовой родственностью с буржуазией.

Поэтому легализация таких партий есть по существу легализация буржуазной организации, у которой в перспективе может быть одна цель—свержение советов, в то время как мы держим курс на отмирание не только буржуазных партий (мы даже их разрушаем насильственно), но на отмирание вообще буржуазных классов.

Наши противники (под противниками я подразумеваю тех, кто все же признает идейность наших стремлений, но считает их тактически ошибочными), обвиняя нас в целом ряде частных ошибок, забывают, что эти ошибки становятся в их глазах ошибками потому, что ими упускается главное, то-есть то, что советский строй не приемлет буржуазных классов. Теперь мы подошли к основному: нарушаем ли мы принципы демократизма, отнимая у буржуазии политические права? Покажите мне хоть одну революцию в мире, в которой не нарушались бы чьи-либо права! Достаточно напомнить изгнание из Франции крупного дворянства великой французской буржуазной революцией. На наших глазах произошло изгнание императорских домов в Австрии, Германии и т. д. Сейчас в Германии происходит борьба за конфискацию императорских имений. Ведь все это считается глубоко законными и безусловно демократическими актами. Еще недавно буржуазия некоторых стран гордилась изгнанием иезуитского монашеского ордена из своих стран. Что лежит в основе этих решений? Только одно: предохранить народ от развращающего влияния изгоняемых... Почему же этот вполне законный, историей оправданный способ делается столь ненавистным, когда его применяют советы? Только потому, что мы его применили к буржуазии, которая господствует над всем остальным миром.

Нам могут сказать: но ведь вы этими мерами даете возможность буржуазии применять такие же меры к коммунистам. Да, конечно, но если бы буржуазия могла столь легко справиться с коммунистами простым их изгнанием из страны,—она давно бы это проделала, да ведь частично и делает. Обмен белогвардейцев на коммунистов Польши, Венгрии и т. д., производимый советским правительством, разве не есть изгнание последних из своей страны? Это есть изгнание с призом. Коммунистов не могут изгнать, потому что сам капиталистический строй их повседневно создает. Царь не только изгонял их, а уничтожал, и однако же сам первый пал их жертвой. Действительно, по существу является ли такая мера в глазах мелко-буржуазной демократии антидемократической, противодемократической? Если бы буржуазная демократия мыслила последовательно и не боялась с соответствующей последовательностью делать должные выводы, то, во-первых, она бы на основании бесчисленных исторических примеров вынуждена была признать, что принципиально, с точки зрения ее же морали и политики, это допустимо. Античная демократия, краса и гордость мелко-буржуазных демократов, в целях своего самосохранения часто к этому прибегала. Значит, ничего нового—по крайней мере принципиально-нового разрушением всех антикоммунистических партий, мы не вносим,—этот метод в истории часто применялся мелко-буржуазной демократией. Очевидно, наши мелко-буржуазные верхи могут возмущаться лишь потому, что их методами воспользовались против них.

Конечно, одним принципиальным признанием, что это делается в целях самосохранения или в целях оберегания народа от идейного растления (чем мотивируется либерально-буржуазными правительствами изгнание иезуитов), еще не решается вопрос о политике советской власти.

Надо данный конкретный случай, хотя бы ликвидацию нами легального существования всех буржуазных партий от монархических до меньшевиков включительно, оправдать интересами народа. Я уже говорил выше, что в настоящих советских условиях легализация даже так называемой социалистической в кавычках партии приводит к возможности организовать в пределах Союза штаб враждебной партии, через который пролезут и все остальные партии, ибо ведь они в сущности представляют единый противосоветский фронт. Такая легализация значительно упростила бы и прямую чисто военную контр-разведку наших врагов. Этим я не хочу бросить тень подозрения на меньшевиков или эсеров в сношениях с контр-разведками, но ведь сейчас социалистические партии гораздо ближе к своим буржуазным правительствам, чем это было до войны. Можно ли сомневаться, что значительное количество пилсудчиков из ППС служат в польской контр-разведке, а они в свою очередь имеют связи с русскими социалистами? Значительное количество социал-демократов служат в германской полиции и т. д. и т. п.

Значит, простая предосторожность должна повелительно диктовать предохранительные меры защиты. Если некоторые социалисты сознают необходимость ликвидации буржуазных легальных партий, тем самым они уже предопределяют и ликвидацию социалистических, ибо я снова повторяю: они в силу объективных условий сделаются аванпостом капиталистического нападения. Мы находимся в таких условиях, когда программа наших «социалистических» противников неумолимо превращается в щит врага, в удобное прикрытие для буржуазии. Вот если меньшевики и эсеры докажут, что они не несут с собой реставрацию буржуазной диктатуры, что в случае таковой попытки они будут вместе с нами бороться,—тогда другой вопрос. Но ведь все прошлое говорит как раз обратное. А потому и разговор о легализации таких партий есть разговор праздный. Социал-демократия тесными узами связалась с капиталистическим строем, сделалась одним из его устоев; очевидно, и ее исторический путь окончится вместе с буржуазией.

От конфискации помещичьих земель, фабрик и заводов до расширенных прав Г.П.У. и монопольного положения коммунистической партии,—все эти меры пронизаны одной политической целью: охранить советскую демократию от разрушительных замыслов капиталистического мира против советов. Так откуда же у вас появились коварные капиталисты?—зададут нам рабочие из-за пределов Советского Союза. Ведь я сам ждалился выше, как одной из самых демократических мер, конфискацией капиталов у крупной и средней буржуазии. Это правда, но, во-первых, каждый здравомыслящий человек должен понять, что даже при идеальной конфискации значительное количество средств еще осталось у капиталистов; наша конфискация, разумеется, далека от такого идеала, местные органы до сих пор еще ее дополняют. Затем, почти все наличные средства и сокровища были предупредительно спрятаны, несомненно, часть их переправлена за границу. У нас, кроме того, осталась громадный слой мелкой буржуазии, которая хотя и основательно пострадала от революции,

но почти не подвергалась конфискации, а новая экономическая политика дала ей значительные возможности залечить свои раны. Во-вторых, наши капиталисты хранили значительные сбережения за пределами Союза и, лишившись легальных средств у себя на родине, естественно ищут сочувствия и помощи у своих зарубежных братьев, капиталы которых, к сожалению, еще не конфискованы рабочими. Конечно, по мере сил и возможности они таковую помощь от зарубежной буржуазии получают и совместно ведут непрерывный подкоп под Советский Союз, под советскую демократию. И вот главным средством защиты является диктатура пролетариата.

Вот здесь-то и стоит как перед советским строем, так и перед коммунистической партией труднейшая проблема: как увязать диктатуру пролетариата с советской демократией. Просто демократический строй (буржуазная демократия), за который, между прочим, столь рьяно держатся социал-демократы всех оттенков, недостаточен. Он ведет не вперед к коммунизму или хотя бы к рабочей демократии, а назад—к неприкрытой диктатуре буржуазии. Современный капитализм (империализм) лишь постольку терпит в своих странах буржуазную демократию, поскольку она помогает одурачиванию рабочих и крестьянских масс. В подмандатных же странах он стремится в полной мере восстановить новое капиталистическое рабство,—это подтверждено огромным количеством фактов последних послевоенных лет. Достаточно напомнить опыты, прошедшие перед нашими глазами в Германии, Италии, Англии, Болгарии, Польше и т. д. и т. п. Повсюду в выше перечисленных и не перечисленных странах буржуазная—даже буржуазная—демократия с'едена без остатка открытой реакцией, открытой диктатурой буржуазии. Если бы большевики не предвосхитили такой участи, очевидно, и у нас был бы, примерно, такой же ход истории: у власти находились бы наши Чемберлены-Лютеры, т.-е. Гучковы-Милюковы.

Поэтому, когда социал-демократы нас ругают насильниками и захватчиками, мы отвечаем: да, виновны, но безусловно заслуживаем понимания и признания. Вы горды тем, что вами не нарушен буржуазный демократизм, что хотя вы и слопаны прожорливой буржуазией со всеми вашими квази-демократическими потрохами, но и в пищеварительном канале буржуазии вы все же остались демократами. Что правда, то правда. Но предположим, что социал-демократическая верхушка чувствует себя недурно внутри питательного желудка буржуазии,—слово «предположим», очевидно, в данном случае лишнее,—а при чем же здесь рабочие, крестьянская беднота?

Не знаю, как за пределами Советского Союза, у нас же—это я могу заверить с огромной достоверностью—99,9% рабочих и 90% крестьян на это не пойдут. Они предпочитают диктатуру пролетариата буржуазной диктатуре.

Насколько стеснительна диктатура пролетариата для развития его (пролетариата) самодеятельности, развертывания его творческих сил, о которых особенно пекутся социал-демократы? Конечно, диктатура

вносит известные ограничения личных прав, как и всякая другая организация. Например, профсоюзы заставляют платить членские взносы не только желающих платить, но и не желающих, поскольку они хотят остаться членами профсоюза. Но в момент хода забастовки сами рабочие сурово расправляются с штрейкбрехерами. В периоды войны государство совершенно не считается с личными интересами и располагает полностью жизнью гражданина. К нарушению государством этой категории прав гражданина буржуазная демократия приучена господствующими классами. У нас, наряду с упомянутыми выше, введено лишение прав по имущественному признаку: капиталисты у нас лишены права участия в выборах и права быть избранными в советы, их предприятия платят большие налоги, чем предприятия государственные, кооперативные и предприятия общественных организаций, капиталисты не пользуются рядом привилегий, какими пользуются трудящиеся, члены союзов и т. д. Но при всем этом у нас можно проследить тенденцию систематического расширения как непосредственно прав личности, так и расширения избирательных прав на такие категории граждан, которые в недавнем прошлом были их лишены. Предоставлено, например, избирательное право кустарям, ремесленникам, не пользующимся наемным трудом,—привлечены домашние хозяйки к выборам и т. д. Конечно, с европейской точки зрения это покажется малозначительным, ибо там избиратель ценится не своей численностью, а той политической ролью, которую данная социальная группа играет в буржуазном государстве. Но в рамках советского строя такое продвижение имеет глубокое принципиальное значение.

Крупных капиталистов мало, но роль их в политике и экономике буржуазной страны огромная, значит и фактические права их несоизмеримы с правами других социальных групп населения. Капиталисты имеют громадное число людей для личных услуг, а кто же может думать, что прислуга крупной буржуазии имеет в любом капиталистическом государстве какое-либо значение при выборах? Ясно для каждого человека со здравым смыслом, у которого нет на глазах мелко-буржуазных шор, что вся эта глубоко угнетаемая и презираемая в капиталистическом обществе челядь голосует за своих господ. Вот вам и желанная демократия! Каждый капиталист в архидемократическо-буржуазном строе имеет столько голосов, сколько у него прислуги. Это, можно сказать, легальные, освященные буржуазным законом голоса. Советское же правительство, расширяя избирательные права, исходит, главным образом, из количественного значения группы: оно приобщает таким образом мелко-буржуазные элементы страны, которые измеряются миллионами, к политическому действию, конечно, под пролетарским влиянием. Так пролетарское государство превращается постепенно, по мере изживания капиталистических отношений и исчезновения капиталистов, в государство общественное, имеющее уже новый смысл и содержание (устремление к коммунизму).

Выборы в советы имеют совершенно иное значение, чем выборы в парламент в буржуазной стране. Каждая политическая группа в капи-

талистической стране стремится захватить власть в первую очередь для личного обогащения и, во-вторых, провести в государственной системе те или другие льготы господствующему классу. Но так как самый архидемократический буржуазный строй не выходит из сферы влияния диктатуры крупного капитала, то и сфера деятельности различных буржуазных групп крайне ограничена. Вот что говорит Делези в своей книжке «Демократия и финансовая олигархия во Франции»:—«Нельзя представить себе капиталистического государства, в котором капиталисты не имели бы влияния на правительство, как равным образом невозможно существование социалистического строя, в котором правительство не имело бы контроля над производством. Если бы, поэтому, нынешняя капиталистическая Франция имела правительство, логически отвечающее ее строю, то директор Французского Банка был бы президентом республики, председатель Правления Лионского Кредита—премьером, министрами были бы эти выдающиеся дельцы, члены семи или восьми административных советов, служащих органами связи между крупными компаниями, а народное представительство состояло бы из директоров этих компаний и крупных акционеров, управляющих всем хозяйственным аппаратом страны».

Значит, всякая буржуазная группировка, появившаяся у власти, вынуждена выполнять волю настоящих правителей-диктаторов. Как я уже сказал выше, сфера ее деятельности крайне узка, в особенности она узка в области государственных льгот широким массам мелкой буржуазии, голосами которых данная группировка прошла в парламент и получила министерские портфели. Однако это не мешает им в момент выборов делать самые заманчивые обещания массам, выполнить которые они не могут, да, пожалуй, и не хотят, ибо и сами-то выборы происходят под сильнейшим воздействием крупного капитала. Как говорит тот же Делези: «Повсюду подкуп нагло торжествует, и нет никакого средства бороться с ним, ибо он действует во имя верховного народа, между тем последний перестает узнавать свою республику. Они находят, что со времени империи им подменили ее. Они с тревогой спрашивают себя, не является ли столь жданная ими верховная власть не больше, как обманом зрения, а демократия—не больше, как ловушка для простецов?». Вождю революционной мелкой буржуазии, который не постеснялся бы и был бы способен если не уничтожить, то, по крайней мере, основательно потрепать крупный капитал,—такому искреннему вождю с таковыми намерениями, конечно, к власти в коалиции с крупным капиталом не пройти. Все левые программы и платформы выставляются политическими буржуазными жуликами именно для улавливания избирателей, для заведомого их обмана.

Но если бы даже такие группировки захотели провести свою волю, крупный капитал, разумеется, этого бы не позволил, как это много раз случалось в недавнем прошлом с оппортунистическими рабочими партиями, которые пробовали на демократических парламентских началах провести в жизнь частицу политики в интересах народных масс. Все такие

опыты, как всем известно, кончались крахом. Крупная буржуазия как раз столько времени терпела у власти—у призрачной, не реальной власти—реформистов, сколько ей это было необходимо для укрепления своих рядов, для успокоения рабочих и мелко-буржуазных масс. Как только рабочие и мелко-буржуазные массы успокаивались, крупный капитал сбрасывал их представителей, и власть переходила или непосредственно к прямым ставленникам крупного капитала без всякого прикрытия, или же в замаскированной форме, т.-е. к таким буржуазным группам, которые свою непосредственную связь с крупной буржуазией прикрывают левыми программами, показательными парламентскими боями с крупной буржуазией и т. п. И опять-таки все это делается для обмана народа, для втирания ему очков.

Из всех борющихся на выборной арене политических партий лишь партия революционного пролетариата, коммунистическая, лишь она одна борется не только, даже не столько для получения мандата в парламент, сколько для того, чтобы на почве выборной кампании сплотить вокруг коммунистической партии, вокруг ее революционных лозунгов, широкие рабочие и крестьянские массы. Коммунисты и не скрывают, что они ни в малейшей степени не сомневаются, что через парламент, через хотя бы архидемократические буржуазные выборы пролетариат в лице коммунистической партии не может оказаться во главе власти. Как только буржуазия почувствует опасность появления коммунистов через выборы во главе правительства, так тотчас же полетят в мусорный ящик истории все конституционно-демократические гарантии. Партия окажется вне закона и ей, чтобы восстановить свое право, действительное, реальное право пролетариата, придется его восстанавливать через вооруженное восстание пролетариата, через вооруженное свержение пролетариатом буржуазии.

Является ли названный путь восстания таким законом исторического развития, через который не проскочит ни одна пролетарская революция? В случае чисто буржуазного правительства, видимо—да, что же касается возможных реформистских правительств, в особенности, если они окажутся правительством через революцию, благодаря народной революции, то могут оказаться случаи, похожие на русский предоктябрьский, когда тов. Ленин от имени коммунистической партии предложил меньшевикам и эсерам взять власть самостоятельно, без коалиции с буржуазией, с обязательством сохранить систему советов, с передачей им полноты власти. При таких условиях коммунисты снимали лозунг вооруженного восстания, при таких условиях Ленин считал возможным, что коммунисты придут к власти через завоевание советов, т.-е. до известной степени парламентским путем. Но он оговаривался, что эта стадия очень короткая, измеряемая неделями, даже днями. Если русские реформисты (меньшевики и эсеры) не воспользуются благоприятно сложившимися для них условиями, то вооруженное восстание останется очередным лозунгом коммунистической партии, и реформисты будут свергнуты пролетариатом. Последующие события полностью подтвердили прогноз Ленина.

И, что характерно, как раз не оправдалась та минимальная надежда Ленина, что оппортунисты, припертые революционным народом к стене, под приставленным к их виску дулом револьвера, может быть, перейдут хоть временно на революционный путь борьбы за интересы народа. Увы, природа оппортунистов уж такова, что они не могут не быть в коалиции с буржуазией. Несомненно, с того времени идет дальнейшая эволюция и ассимиляция всех социал-демократических партий в буржуазном лоне, не даром парламентаризм переживает период упадка, дискредитации и заменяется фашизмом, т.-е. персональной диктатурой, неприкрытым подавлением рабочего класса, уничтожением демократических форм управления.

Итак, подводя итоги по вопросу о парламентских выборах, можно сделать основной вывод, который в той или иной степени приложим буквально ко всем более или менее развитым капиталистическим странам: с каждым годом эти выборы все больше и больше теряют свое политическое значение. С каждым годом все больше и больше стираются грани между всеми буржуазными партиями, в том числе и социал-демократической партией, которая превращается в левое крыло общепарламентского фронта. Ее связь с буржуазией укрепляется не только благодаря мелкобуржуазным воззрениям ее вождей, но и неуклонному увеличению материальной зависимости от крупной буржуазии, финансового капитала и т. п. Значит, в настоящий момент появление у власти социал-демократии, т.-е. самого левого, наиболее прогрессивного, что есть в капиталистическом строе, не несет чего-либо принципиально враждебного капиталистическому миру. Одним словом, ни одна из политических партий,— конечно, исключая коммунистическую,— не несет за собой новой эры. Поэтому и принципиально политическая ценность выборной кампании сейчас выявляется постольку, поскольку в ней развертывается борьба между коммунистами и остальным буржуазным фронтом. Этим я не хочу уменьшить значение того, что мы применяем неодинаковую тактику к различным буржуазным группировкам. Бывают моменты, когда коммунисты голосуют за социал-демократов или радикал-социалистов против реакционеров. Но это уже не принцип, а тактика данного момента, учитывающая все своеобразие местных условий. И эта частная коалиция постольку и революционна, поскольку она не изменяет и не нарушает основного принципа противопоставления коммунизма всему буржуазному фронту в целом.

Наши избирательные кампании преследуют другую цель. У нас также диктатура, но диктатура, противоположная буржуазной—диктатура рабочего класса. Эту диктатуру пролетариат держит крепко и, конечно, ее не может по существу изменить голосование в советы, поскольку он ее сохраняет. И все-таки к выборам в советы мы подходим принципиально иначе, придаем им несравненно большее значение, чем любая буржуазная группировка, в том числе и социал-демократическая. Это звучит парадоксом для наших врагов, допускаю. Они привыкли советскую власть отождествлять с насильниками над волей народа, и это мнение внедряется в широкие массы населения: буржуазными правительствами, ученой кастой, церковью, прессой. Но ведь мало ли ложных воззрений, имеющих исклю-

это есть антидемократизм, противонародность, неужели такая избирательная политика идет вразрез с интересами народа, с интересами рабочего класса? Нет, как ни сильна распространяемая против советов клевета, все же истинно-народный демократизм, если он есть где-либо в парламентских выборах, так это только при выборах в советы. Конечно, при огромной избирательной кампании всегда возможны отдельные ошибки и даже злоупотребления. В «Бедноте» от 7/II—1926 г. так описываются выборы Горневского сельсовета в Калужской губернии: «Избирательное собрание. Очень развязно уполномоченный открыл собрание и сразу же предложил выставлять кандидатов в новый сельсовет. На замечание же сотрудников Губзу—избрать сначала президиум собрания, он торопливо произнес:—ну да, сначала нужно избрать президиум, хотя из 3-х человек. Председательствовать-то все равно буду я, но нужно мне в президиум дать еще хотя 2-х человек. Далее, на замечание сотрудников Губзу, во исполнение инструкции по перевыборам советов, зачитать некоторые параграфы конституции РСФСР, уполномоченный твердо сказал: об этом им раньше сказано, все это они уже знают, но, если хотите, зачитайте, я не возражаю. При зачитке и раз'яснении, конечно, оказалось, что все это, особенно для женщин, было совершенно новым и очень важным сообщением, так как в основном законе (конституции) сказано, что властью в селе является совет, а не председатель: сказано ясно, кому и как нужно выбирать этот совет и так далее. Интерес к собранию сразу заметно поднялся. Равно и обсуждение выставленных в члены сельсовета кандидатов было допущено лишь исключительно по настоянию губпредставителя, а то хотели приступить, без всяких разговоров, прямо к голосованию. Отводов и возражений не было. Была одобрена и кандидатура только что смещенного председателя сельсовета Лоскутова. Вдруг выступает вперед женщина и просит слова против. Она сказала: «Нельзя выбирать в сельсовет Лоскутова. Он у меня при двух свидетелях нынче получил сел.-хоз. налогу 8 рублей, на руки мне никакой квитанции не дал, сказав, что после принесет. Прошло уже полгода, а он квитанции не принес. Теперь я узнала, что эти 8 рублей за мной считают недоимкой и хотят получить снова. Такого человека в совет выбирать нельзя». Подобные поступки за Лоскутовым числятся. Об этом подтвердили еще 3—4 человека. Указывали, например, что земли по обложению сел.-хоз. налогом было почему-то прописано более, чем в прошлом году, и так далее. Выборы. При голосовании прошли, при одном против и одном воздержавшемся, теперешний председатель совета и одна женщина, двое других прошли менее дружно. Лоскутов провалился».

Ясно, что данные выборы могли пройти формально, крестьяне ими были бы не удовлетворены, но уже данный случай говорит, что в массе всегда найдется, кто бы указал на недобросовестность кандидата или его негодность. Во всяком случае как партия, так и советские органы стремятся привлечь избирателя именно к активному участию в выборах.

Но ведь выборы, как бы они ни были часты, всеобщы, интенсивны в своем процессе, все-таки есть только праздничные периоды в государ-

ственной жизни, а что делается в периоды между выборами? Интересно и здесь провести параллель между буржуазным парламентом и советами. В буржуазном парламенте, как я уже говорил выше, с момента выборов совершенно прекращается всякая связь между избранными депутатами и его избирателями. У нас каждые новые выборы вовлекают новые десятки тысяч рабочих, крестьян и городской бедноты в государственное строительство, в самом широком смысле слова. Во время текущей работы съездов собираются беспартийные конференции, прикомандировывают в советские органы ряд подсобных работников из комсомола, женотдела, активных рабочих и крестьян через комитеты взаимопомощи в деревне, профсоюзы в городе, кооперацию и т. д.; таким образом вылавливается рабочий и крестьянский актив. Наконец, все стремление коммунистической партии направлено на то, чтобы привлечь массы к достижению той или иной поставленной практической цели. Например, поднятие политического развития среди женщин мы стремимся проделать через саму женскую организацию, чтобы таким путем развить самодеятельность среди женщин, развить их активность и желание участвовать в советском строительстве.

Одним словом, как в партии и общественных организациях, так и в советских органах, постоянно устремлено внимание на привлечение к самодеятельности широких масс. Конечно, это стоит не дешево. Делегирование заводами своих представителей—хотя бы по заданиям обследования рабоче-крестьянской инспекции, огромное количество волостных беспартийных конференций, прикомандировывание крестьян в качестве выдвиженцев на советскую работу и для ознакомления их с государственным аппаратом,—все это, я говорю, безусловно стоит дорого. Но это окупается растущей активностью рабоче-крестьянских масс, все большим и большим их осведомлением и развитием широты их кругозора.

У нас не красуется сейчас повсюду лозунг Ленина «каждая кухарка должна участвовать в управлении страной», но что мы к этому стремимся, это факт. Где,—покажите хоть одно правительство в мире, которое сознательно развивало бы политическую активность масс, которое столь настойчиво ее привлекало бы к участию в управлении государством. И кто же после этого может сказать, что это все не является мерами укрепления советской демократии?

Не является ли укрепление советской демократии, о которой столько мною написано, нашей конечной целью? Если бы единственной целью советов было укрепление демократии, хотя бы и советской, то и при этих обстоятельствах ее не удалось бы укрепить: в том-то и дело, что нашей основной целью, за которую мы боремся, к которой приспособляем все свои действия,—является борьба за коммунизм. Все остальное, как диктатура пролетариата, советская демократия, развивающаяся в пределах диктатуры пролетариата и т. д., все это—средства к достижению коммунизма.

В самом деле, целью буржуазного государства является охрана беспредельной наживы собственников-капиталистов; значит, как бы ни была буржуазная демократия общенародна и какой бы государственной

защитой ни пользовалась личность, она не может, поскольку государство является буржуазным, выходить за пределы собственных интересов. А целью советского государства, диктатуры пролетариата является коммунизм, и цель эта может быть достигнута только вместе с массами. Диктатура пролетариата не менее способна прибегать к принуждению, даже к насилию; ее требования к исполнителям гораздо строже и нетерпимее, чем у буржуазной власти, но все они в своей сущности направлены в интересах масс, потому-то они и являются для масс приемлемыми. Если наше поступательное движение к коммунизму не будет оборвано, то оно ведь предопределяет глубокое изменение экономической структуры советского государства; концентрирование всей крупной промышленности в руках советского государства, кооперирование кустаря, мелкого крестьянина-производителя, ремесленника, 8-часовой рабочий день, нормальная в соответствии с производительностью заработная плата рабочих, их сознание, что они являются, как граждане Советского Союза, совладельцами этих фабрик, привычка крестьянина к общественной работе в советах, в кооперации, в комитетах взаимопомощи, демократизация Красной армии, основанная на постоянном притоке из рабочих и крестьян командного состава, действительно товарищеские отношения между командным составом и красноармейцами, участие армии в политической жизни страны, значительное поднятие общей культуры и политической активности широких рабоче-крестьянских масс,—все это необходимые элементы в строительстве коммунизма. Но кто же опровергнет, что все это вместе является действительным укреплением демократии? А проведено все это в жизнь может быть только классовой волей пролетариата. Только пролетариату ясно видна заветная цель, к которой стремятся трудящиеся массы и которая несет им действительное освобождение от порабощения и эксплуатации. Вот потому-то пролетариат и является вождем, гегемоном как в борьбе за коммунизм, так и в его непосредственном строительстве.

Конечно, коммунисты не закрывают глаза на препятствия. Я уже опускаю трудности экономические, культурные, слабость нашей техники. Но у нас еще значительные практические трудности и в самой советской системе, трудности сохранения диктатуры пролетариата при советской демократии. Мне представляется, что отношение пролетариата ко всем остальным мелко-буржуазным трудовым массам отчасти напоминает отношение коммунистической партии к пролетариату. Практически диктатуру пролетариата проводит коммунистическая партия, и без коммунистической партии на данном историческом этапе развития пролетариат своей диктатуры не удержит. Однако диктатура партии вмещается в диктатуру пролетариата. Если партия не воплотит в себе полностью диктатуру пролетариата, то тем самым она оторвется от рабочего класса, тем самым это уже не будет диктатурой рабочего класса, она не будет им терпима, такая диктатура снизится к мелко-буржуазной утопии.

Примерно так же относится диктатура рабочего класса к другим трудящимся массам, она ими терпима постольку, поскольку они чув-

ствуют и сознают, что в конечном счете она является главной защитницей их действительных интересов. И вот здесь-то и стоят огромные трудности, чтобы прежде всего это сознание все больше и больше охватывало трудящиеся массы, а затем, чтобы из них слой за слоем поднимались все новые силы до полного понимания необходимости пролетарской диктатуры.

Все это может развертываться только в рамках советской демократии, шире и глубже которой и по форме и по содержанию ни одна голова в реальных формах домыслить не могла.

Из давних встреч

А з е ф

С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ

(Окончание) ¹⁾

III

Девятьсот пятый год умирал, распластавшись на кривых улицах Москвы, залитых рабочей кровью.

На Под'ячейской, в штабе эсеров, не придавали особо важного значения ни московскому восстанию, ни его поражению. Ведь решили уже твердо: земля крестьянам будет. А Натансон помимо того был уверен, что деревня даст ответ и на московские события. Ответ этот как-будто уж и намечался: вновь запылали местами помещичьи усадьбы.

Только острый молоточек, долбивший в мозг, не умолкал: боевая организация не помогла Москве. В самое нужное для революции время Б. О. оказалась бессильной.

Зато теперь эсеровский Ц. К. высказывается за террор, правда, частичный, только против некоторых высших правительственных чинов. Азеф снова выдвигает план взрыва питерской охранки.

— Эх, Иван Николаевич! Лучше было бы не отдавать Москвы семеновцам.

Выпячивает губы, беспомощно разводит ладошками.

— Но! Что ж делать! Сложились так обстоятельства. Взорвать же охранку во всяком случае следует: ведь мы разом уничтожим всю ее многолетнюю работу.

— А я думаю, если уж приступить снова к террору, то надо не мелочами заниматься, а ударить по самой головке.

— Ни, ни! Ц. К. против. Не говоря уж о том, что при настоящих условиях охраны добраться до царя очень трудно, почти невозможно. Ведь вся наша техника, способы слежки раскрыты при последних про-

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 8—9.

валах боевиков. Надо придумать какие-то новые подходы. И еще: Б. О. сейчас испытывает недостаток в людях. Многие боевики раскрыты охранкой. Пока что пускать их сейчас в работу, в особенности в Питере, нельзя.

Вероятно, в начале января—снова с Азефом на Под'яческой.

Дело идет о Дулебове. У него тихое умопомешательство. Составляет какие-то записки: о своей жизни, о террористических актах, в которых принимал участие, называет себя и товарищей, каких знал, настоящими именами.

Пока что мемуары эти отбирает у него «на хранение» один из больших врачей (сочувствующий нам). Но есть огромная опасность, что про записки Дулебова равнюхают жандармы—и тогда непоправимая беда для партии. Необходимо во что бы то ни стало обезвредить его, т.-е. вывезти из больницы.

Однако прежний план (я являюсь за ним под видом жандарма) приходится отбросить. Азеф узнал, что перевод больных из лечебницы Николая-чудотворца обставлен большими формальностями. Малейший промах,—испортим все дело.

Надо идти другим путем. Вот на-днях сочувствующий нам врач направит Дулебова в частную амбулаторию по горловым болезням. Мне надлежит выследить, велика ли при Петре будет стража, а затем попытаться отбить его.

В назначенный час я—в амбулатории (кажется, на Кронверкском, Петербургская сторона). Дулебов за год изменился почти до неузнаваемости. Сутулый по-извозчичьи, с тупым, неподвижным взглядом, с багровыми пятнами на щеках.

Сопровождало его двое надзирателей, не считая привезшего всех кучера. Явно, отбить у них на улице сумасшедшего—дело, пожалуй, не менее сложное, чем увезти его хитростью из тюрьмы.

Сказал Азефу. На другой день совещание с Савинковым.

Как быть? Доктора утверждают, что и жить-то Петру (Дулебов) осталось всего несколько месяцев—последняя степень чахотки. Но «записки»? Что ни день ведь—они растут и растут в объеме.

Значит, надо произвести вооруженное нападение на конвоиров? Иного выхода нет.

Значит, могут быть убитые? Несомненно. И конвоиры? Разумеется. Даже лучше конвоиры, чем наши.

В таком случае этот способ тоже не годится.

— Иван Николаевич, да ведь это же маниловщина!

— Распоряжение свыше: убивать можно только тех, что запятнал себя отменно враждебными действиями против народа. Нет, придумаем еще что-нибудь.

— В таком случае—вот: единственно верный способ обезвредить Петра, когда-то нашего товарища в боях, а теперь безнадежно сумасшедшего,—это умертвить его.

Помолчав, Азеф—Савинкову:

— Ну, что вы скажете на это, Борис Викторович?

Савинков ходит по комнате, взвешивает, соображает. Вот—взвесил. Он не постигает, как можно предлагать такой план! Убить своего товарища!

Азеф дымил папиросой. У него словно уже было готовое решение, но пока молчал.

— Последнее, что я скажу вам, Борис Викторович,—это вот, если мне подобно Дулебову случится заболеть сумасшествием, убейте меня,—окажете мне неоценимую товарищескую услугу.

Азеф порешил спор.

— Принципиально я на стороне Басова,—заявил он.—Но... тут есть большое «но». Подумаем.

Савинков помолчал, потом, уже значительно смягчившись:

— Нет, как хотите, не укладывается такая мысль в моей голове.

Не знаю, а может быть и забыл, что придумал Азеф. Но только Дулебов умер (от чахотки) и ни одного клочка из его «записок» не попало в руки жандармов. Да и вообще не осталось после него никаких рукописей. А мне впоследствии не раз приходило в голову, что Азеф, по каким-то своим соображениям, умышленно вызывал между мной и Савинковым столкновения.

Вероятно, в конце января боевой комитет решил поставить покушение на «покорителя» Москвы, Дубасова. Я предполагал работать в боевом отряде в качестве извозчика для наблюдения за выездами генерал-губернатора. Но оказалось, на кучерском сиденьи мне было еще трудней пробираться по улицам, чем пешему: встречные экипажи и самые здания валились на меня.

По настоянию Азефа, я отправился к эсеровскому доктору, известному психиатру Синани, а тот предписал отстранить меня от всякой подпольной работы до выздоровления.

Иван Николаевич участливо останавливает на мне свои печальные выпуклые глаза. Шутливо утешает:

— Не робейте. Поправитесь. Не осталось ли у вас где-нибудь маётности, какого-нибудь дворянского гнезда? Вот и поехали бы на время на лоно природы.

— Какие там гнезда! Мне и приходилось-то безделица. Да и от той я давно отказался. Вот есть еще родственники в Тульской губернии.

— Ну и прекрасно. Поезжайте к ним. Дадим вам в провинцию легкое поручение. Деньги есть?

Деньги у меня были. Запродал рукопись памфлета: «Что делал король французский». Кроме того, приходилось получить из Академии Наук награду за производство метеорологических наблюдений (за Полярным кругом, в бытность в ссылке).

Вышло однако так, что на «лоно природы» я попал только летом.

Не мог бы определить точно, в чем состояло данное мне поручение. Насколько помнится, дело шло главным образом о том, чтобы ознакомиться с настроением крестьянства, кое-где восстановить или завязать новые связи и пр.

Не знаю (или не помню) зачем, виделся с каким-то купцами, с мухоротыми помещиками. Заезжал в торговые села («Соломенный завод», «Хотуши» и др.), толкался по постоянным дворам и базарам.

С жадностью оглядел Тулу: Заречье, Хопер, Чулково, Оружейный, Патронный завод, Чугуннолитейный Байцурова. Ведь в этих местах когда-то провел несколько лет в тяжелом, но и сладостном труде черноработчим, молотобойцем, кузнецом. А на Байцуровском еще в 1887 году устроил забастовку¹⁾.

Только издали мелькнул в глазах так называемый «замок».

Люблю смотреть тюрьмы, в которых сидел, но не люблю Тульского острога. Когда-то здесь жестоко избили меня конвойные (в 1894 году). Я так был придавлен этим избиением, что, когда на другой день при мне стали бить другого арестованного, уголовника, не посмел броситься на его защиту (самое тягостное воспоминание в моей жизни). Ограничился лишь тем, что сделал соответствующее заявление начальству на поверке.

А вот и за Тулой. На радольной в старину Басовской усадьбе, вырубленной и распаханной, темнозеленое море. С легким звоном бегут переливаясь шелковые тугие волны тучного овса (крестьянский!). Соскочил с тарантаса, постоял, прислушался. Хорошо!

В памяти к этому овсяному полю приник истонченный временем образ.

В Туле—зашел к своему недалекому родственнику Н. П. Черносвитову. Довольно крупный помещик, не безызвестный юрист-практик, в давнее время он был скорее человеком правого уклона (хоть и ссорился с губернатором). Бывало, косо смотрел на мое участие в революционном движении.

Но крамола забралась и в его семью. Под влиянием своих детей он мало-по-малу сильно сдвинулся влево. Особенно способствовала этому его дочь, Софья Николаевна (ныне Смидович), на стыке двух столетий по годам проживавшая то в тульской, то в московских тюрьмах.

В 1905 году венежские черносотенцы разгромили в имении Черносвитова контору и убили младшего его сына.

Не столько престарелый, сколько хрупкий, уже болезненный, он, словно тонкий бумажный фонарик, светился тихим внутренним своим светом. Вот-вот хватит холодный ливень, загасит фонарик.

Утрату свою Черносвитов выносил как философ.

— Что ж, на то и борьба. Надо только ясно сознавать, за что бьешься и за что гибнешь.

¹⁾ Первая по времени забастовка в Туле была, если не ошибаюсь, в 1888 г., в железнодорожных мастерских. Из живущих ныне борцов того времени о ней, полагаю, могли бы рассказать Д. Ф. Некрасов, Е. Ф. Ананьев, Е. Ф. Прокофьева. Деятельный участник этой забастовки (как впоследствии и Байцуровской) кузнец Баташов вряд ли жив.

По-своему расценивал события.

Помню, прохаживаясь по вальцу, разглаживал по привычке свою тонкую седеющую бородку и вдруг веселым голосом отчеканил стишок, кажется, из «Зрителя» (любил порой шутку):

Разорвался апельсин
У Дворцова моста.
Где ж высокий господин
Низенького роста?

А потом ко мне:

— Только вот что, брат Сергей: не нравится мне, что вы городских убиваете. Ведь это же люди несознательные,—доведись, они и вам служить будут. Так зачем же их убивать?

На прощанье вынул из письменного стола паспорт:

— Вот не пригодится ли тебе? Ведь небось все больше по фальшивке ездить. А этот настоящий, дворянский. Владелец его помре. Давно лежит у меня в делах. Только смотри никому ни гу-гу.

А вскоре и потух фонарик. Когда-то религиозный, Черносвитов умер, не пожелав принять поповского «напутствия». Привел перед смертью в порядок чужие дела, наградил старых слуг пенсией и оставил в полном расстройстве свои собственные.

Последний из полка «кающегося дворянства».

На деревенских сходках, по задворкам и «куткам», жаркие лица, горящие глаза. Вечерами там и сям столбы дыма на горизонте. Днем по дальнему проселку поезд: пылит передом экипаж, а за ним двое-трое верховых впряжку.

— Становой поехал со стражниками, на следствие: вчерась барина Вахрушева сожгли.

Или:

— Сказывают, Еропкинская экономия сгорела.

Деревня давала смутное впечатление. Вернее, было одно ясно: несмотря на поджоги помещичьих усадеб, в ней разброд. Расчеты на государственную думу, сначала на первую, а потом на вторую, полное смещение имущественных интересов в различных слоях самого крестьянства ослабили его революционное настроение.

Несколько раз за лето я возвращался в Питер. А к осени привез без малого написанную свою сказку в стихах—«Конек-Скакунок». Тема—русская революция 1905 года, ее временное поражение и новая революция, отдающая все национальные богатства и власть в стране в руки трудящихся. По тому времени—полное осуществление программы максималистов.

Дописывал «Конька» в Питере, опасаясь обысков. Часто уходил ночевать к кому-либо из знакомых, забирая с собой рукопись. В одну из таких ночевок нарвался на обыск. Сказка чуть не погибла.

Часа в два ночи звонок. Конечно, «телеграмма». Пока полиция грохала в дверь, вся квартира успела одеться. Я свернул в трубку тетрадь, раздумывая куда бы ее сунуть.

Входит в мою комнату социал-демократическая девица.

— С. А., у вас есть чтонибудь?

— Да вот боюсь, как бы не увели моего коня.

— Давайте спрячу.

Она подняла матерчатую штору окна и в отвисшую мешком поперечную складку опустила мой сверток.

Я махнул рукой—нелепая похоронка. Но все равно деваться было некуда. Полиция уже топалась в передней.

Обыск делали довольно усердно, забрали кое-какие книги, несмотря на то, что они ходили в продаже. Но никому в голову не пришло опустить поднятую в моей комнате занавеску. (За себя я не опасался—паспорт прекрасный, прописанный на моей постоянной квартире.)

Партия отказалась печатать «Конька» (предлагали выбросить главу о немедленном введении в России социалистического строя). Сказку выпустило революционное издательство В. Распопова без всяких изменений.

Принимая по недоразумению моего «Конька» за известную ершовскую сказку, полиция долго не препятствовала его распространению. Но и после того, как власти хватились, Распопов со своим сотрудником В. А. Дешиным продолжали издавать книжечку под разными названиями («Шапка-невидимка» и др.) с ложным обозначением издательства, типографий, городов. В короткое время успели распространить таким образом около полумиллиона экземпляров.

Посыпались кары. Попытка проф. Н. Котляревского представить «Конька-Скакунка» в Академию Наук на соискание Пушкинской премии, конечно, потерпела неудачу. Мало того, что сказка была конфискована, за раскрытие ее источников объявлена награда. (В противовес моей книжке черносотенцы выпустили свою «Новый Конек-Скакунок»).

Немало и теперь еще в живых, что подверглись когда-то гонению за «Конька». Дошло дело до того, что за чтение и распространение крамольной побасенки стали предавать военному суду (напр., в Омске, где защитником обвиняемых солдат выступал С. С. Анисимов).

Издаваемая, переиздаваемая подпольно и за границей (получил как-то экземпляр из Америки) в последующие годы, в годы черной столыпинской реакции, книжечка эта вместе с другими моими противоправительственными памфлетами, знал я, служила отрадой для многих простых сердец, чаявших «настоящей» революции.

Труд над созданием «Конька», «Дедушки Тараса», «Черной сотни» и др. я считаю главной своей революционной работой в те годы (1906—1908), хотя и шла она как бы между делом. И еще: вряд ли я ошибусь, если скажу, что книжки эти положили широкое основание революционному лубку в нарождавшейся пролетарской литературе ¹⁾.

¹⁾ «Дедушка Тарас» в переработанном виде вошел частью в мою поэму «Расея», изданную ВВРС'ом в 1923 году.

IV

По возвращении в Питер осенью 1906 года мне удалось установить (благодаря связям с боевиками П. П. С.) местопребывание и образ жизни Дубасова, переехавшего сюда из Москвы. Помещался в Зимнем, а вечерами почти ежедневно бывал на Мойке, в частном доме.

Боевой комитет к тому времени прекратил свое существование. Савинков, бежав весной из севастопольской тюрьмы, скрылся за границу. Азеф пребывал в Финляндии. Туда же после разгрома второй думы переехался и главный штаб эсеров.

Едва отыскал Тютчева. Мой план был—настичь Дубасова на Мойке, у под'езда дома, куда он ездил. Решили войти в сношения с Рутенбергом, ведавшим временнс боевым делом в Питере.

Тютчеву же передал я и другое сообщение, полученное мною от одного из боевиков той же П. П. С.: в центральных органах эсеров работает огромный провокатор, «толстый». Сообщение официальное. Но исходило оно, если не путаю, от «Мортимера» (Рысса), известного максималиста.

Оказалось, Мортимер у эсеров на очень худом счету. Тютчев был возмущен, Ц. К. также. Мне посоветовали осмотрительно относиться к лицам, сеющим вздорные слухи о нашей партии.

С Дубасовым не удалось. План нападения на Мойке был отвергнут (без меня). Покушение решено перенести в Таврический сад, куда адмирал начал выезжать на прогулку. Террористы арестованы на месте.

Что это—случайная неудача?

А не замешана ли в самом деле здесь рука провокатора? Но кто же, кто провокатор? Ведь «толстых» в партии немало. Толст Иван Николаевич. Ого! Побольше бы таких!

Я перебирал в уме всех, виденных мною когда-либо провокаторов и предателей. Старался в подробностях припомнить каждого и сопоставлял с тем или другим из видных эсеров.

Гурович, Серединский, Водолажский (предатель, но не провокатор), Татаров. Было в их лицах что-то неприятное, бросающееся в глаза с первого раза.

А здесь? Вот разве Иван Николаевич... Ого! От таких провокаторов правительству не поздоровится! Да ведь и не имел он никакого отношения к делу Дубасова (в Питере).

А все же... Не верилось, чтобы Мортимер бесстыдно лгал.

У меня сохранилось такое представление о боевой работе эсеров в ту пору (1906—1907 г.г.).

Азеф и его группировка (Савинков в том числе) почти отстранились от террора. Боевой организации с единым руководством больше не существовало. У террора стали так называемые легучие отряды: Рутенберга, Зильберберга («Штифтарь»), Трауберга («Карл»). Работали и мелкие самостоятельные боевые отряды.

Несмотря на удачные порой акты, боевые выступления производились по большей части без надлежащей подготовки, почти с налета. Часто не соблюдались самые необходимые условия конспирации. Подбор боевиков нередко происходил неосмотрительно.

В широких радикальных кругах, в полуобывательской среде, неделями велись разговоры о готовящемся покушении на председателя совета министров Дурново.

«За каретой Дурново следят». В конце концов покушение не состоялось. Расстройство его приписывалось впоследствии Азефу.

Едва ли не была достоянием многих тайна о готовящемся покушении на царя при помощи конвойного казака (весной 1907 г.).

Позднее поднялись толки о том, что готовится покушение на двух разом: вел. кн. Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. Называли даже имена некоторых из участников дела, наприм, Анну Распутину. Мало того, Распутина за несколько дней до предполагаемого покушения приходила к некоторым из своих знакомых прощаться— «навсегда»!

Конечно, все были арестованы, что-то около 12 человек. Семь повешенных (группа Лебединцева—«Марио-Кальвино» в феврале 1908 г.). Впоследствии, по разоблачении Азефа, гибель их приписывалась ему же.

Вероятно, в феврале—марте 1907 г. Иван Николаевич об'явился в Питере. Вызвал меня на явочную квартиру, на Фурштатской. Не виделись около года.

Как и всегда, словно на экране замелькали лики Азефа: накладной—настоящий, накладной—настоящий.

Идет навстречу, разворачивая рот радостной улыбкой, смешно выступая ногами из-под об'емистого корпуса. Целует увлажненными пухлыми губами.

— Давно не видались. Ну, как здоровье?

— Ничего, как будто поправился.

— Ну, вот. Я вам говорил. Рад, очень рад вас видеть.

А потом с лукавым видом потянул меня за руку на середину комнаты.

— Живые деньги ходят! Ведь за вас установлена награда.

Ему в тон:

— А какая? Если много денег дадут, так я, пожалуй, сам себя выдам.

— Ну, не советую! Для вас будет не выгодно. А все-таки награда в шесть тысяч.

— В газетах цена не указана.

— Это в газетах, а я помимо них знаю. Только не понимаю, почему установили в шесть, а не в пять, не в десять тысяч. Какое-то неопределенное число. Но вообще одобряю: хорошей бомбы стоит ваша книжка.

(Впоследствии дворник, выдавший полиции подпольный книжный склад Дешина, получил награду всего лишь в пятьсот рублей.)

— Как дела?—продолжал Азеф,—я слышал, с максималистами работаете?

— Какая работа! Просто некоторые личные знакомства.

А он уж улыбается обычной своей застенчивой улыбкой и дружески нажимая мягкой ладонью на мое плечо:

— Ну, ну! Я не выпытываю. Так—по-товарищески. А вот вы скажите мне: будете опять работать с нами?

— Да что, Иван Николаевич, страшно с вами работать.

— Что так?

— Повидимому, в партии есть большой провокатор.

Влажные глаза Азефа стали сухи, слегка сощурились. Обычная печаль в них исчезла. Но через минуту он снова тот же.

— Кто же, вы думаете, провокатор?—спросил он, выпячивая губы и увлажняя их языком.

— Не знаю. Но об этом слышал я еще осенью. Передавали вполне надежные люди.

— Ах, да это же полицейская сплетня.

— Мне все-таки кажется, что у нас что-то неладно. Вот дело на Дубасова. Ну, там пусть какая-то оплошность. Но вот еще и еще факты, там-то и там нелепо поставленные террористические попытки. Сейчас слухи о каких-то новых арестах боевиков—покушение на царя.

Внимательно слушал. Но сиденье стесняет его. Встал, прошелся. Недоуменно разводит ладошками, в том, другом соглашается.

Конечно, так дела вести нельзя. Здесь нужен большой опыт, нужна твердая рука. Провокация, разумеется, может быть. Это даже неизбежно при широком развертывании борьбы. Не влезешь каждому в душу, возможны ошибки в подборе людей. Да ведь не даром же был у нас Татаров. Но многое проще всего объясняется неумелостью террористов. Теперь он сам возьмется. Надеется мало-по-малу все направить.

— Мы еще с вами поработаем.

— Вам я верю, Иван Николаевич. С вами поработаем.

Не помню, зачем я попал в Финляндию. Вероятно, Азеф дал мне поручение съездить в Выборг. Быть может, к этой именно поездке относится наш разговор с Натансоном.

Старик встретил меня снисходительным выговором за то, что я не явился на съезд боевиков—нарушение партийной дисциплины.

Отвечал ему в том смысле, что эсеровской идеологии я не разделяю, о чем он и сам знает. Связан был с партией исключительно по боевой организации. Приглашение на съезд передали мне в очень неконспиративной форме. Опасался напороться на провокацию.

— Значит, вы нам не верите?

— Вам лично верю, Ивану Николаевичу верю. А тем, кого мало знаю, не верю.

— Во всяком случае, вы не разглашайте о своих подозрениях насчет провокаторов,—ведь это повредит общей нашей работе.

— Не стану разглашать по той причине, что тогда будет труднее разыскать провокатора, если таковой существует.

«Да зачем же собственно мне нужно было ездить в Выборг?»— спрашивал я себя, катаясь обратно по финляндской дорожке.

На Подольской у входа в дом, где была моя квартира, швейцар Максим, мой земляк и приятель:

— У вас с утра полиция. Не ходите.

Переночевал у знакомых, а на другой день, изменив несколько физиономию бритьем и стрижкой, уехал в Новгород. Там, у члена окружного суда Беляка, прожил с месяц без прописки, вместе с «паном Михаилом», главой боевой организации П. П. С., давним приятелем судьи.

Налет полиции на мою питерскую квартиру, повидимому, прошел бесследно. Хранившаяся у меня в тайнике рукопись памфлета «Дедушка Тарас» уцелела и была извлечена из запертой квартиры (при помощи Максима) В. Г. Цыперовичем. Напечатанная, она возбудила, как мне передавали, негодование Столыпина еще в большей степени, нежели «Конек».

За лето я несколько раз приезжал в Питер по чужому паспорту, а, кажется, с августа поселился в квартире своей жены под собственной фамилией.

Вероятно, в начале сентября снова свидание с Азефом. Пришел, меня не застал. Обещал зайти на другой день.

— Тебя спрашивал сегодня какой-то подозрительный человек,— сказала жена.

По приметам выходил Азеф.

— Это мой давний приятель.

— Ужасное лицо. Никогда я не поверила бы такому человеку.

На другой день сидели мы с Азефом в тихом кабинете ресторана, кажется, на углу Морской, у Исаакиевской площади.

Иван Николаевич согласен: убийства отдельных зачастую мелких агентов власти—это кустарная работа. Она не поднимает больше масс, не раздувает революционного пламени. Она разве только удовлетворяет несколько нашему чувству мести. Если убивать,—так уж надо хватать выше. Надо брать «самого»—и лучше в возможно большем семейном окружении.

Некий инженер сейчас работает над летательным аппаратом в Швейцарии (а м. б. в Германии). Если аппарат удастся, можем разом уничтожить чуть ли не всех Романовых. Но пока, не ожидая конечных результатов работы инженера, следует, на всякий случай, начать слежку за царем. Где? Да здесь же в Питере. Ведь известно, что он тут бывает. Работу эту я должен попытаться провести без помощников, в самых обыкновенных условиях, доступных простому обывателю. При таких обстоятельствах дело будет обеспечено от провала. Когда настанет время, придется только выставить вполне надежных бойцов. Да, в случае

надобности, и мы оба выступим. Но все это только в крайности. Главная надежда—аппарат.

План Азефа—напасть на царя на улице—был для меня не новость (вспомните Швейцера!). Можно сказать, он носился в воздухе.

Еще прошлой осенью обсуждали мы его с максималистом Соколовым (он же «Медведь»). У меня было даже припасено десятка полтора браунингов и дальнобойных пистолетов со всеми принадлежностями (хранились в Императорской Академии Наук, в геологическом отделении): Намечены были даже люди (с колпинских заводов), годные по-моему для подобного предприятия. Но с гибелью «Медведя» дело пришлось отложить.

В Новгороде я предлагал пану Михалу войти со мной в пай по этому делу. Тот считал неудобным для поляков принимать участие в покушении на русского царя. (Явно кривобокое рассуждение: ведь царь-то был не только русский, но и польский.)

По возвращении из Новгорода я задумал провести этот план самостоятельно. Остановка была главным образом за деньгами (надо нанять торговое помещение или по крайней мере квартиру на пути царя и пр.).

— Хорошо, я вам достану денег!—решительно заявил Васюков.

— Смотрите, Васюк, частных лиц грабить нельзя.

— Я сам знаю, как надо делать.

Больше я не видел Васюкова. Он погиб при нападении на какую-то правительственную финансовую контору.

Спустя месяца два с чем-то после беседы с Азефом я давал ему отчет о своей работе. (Помог мне в ней, сам того не подозревая, старый дворцовый гренадер, выпивоха и черносотенец,—указал часы прибытия Николая в Зимний.)

Царь приезжает из Царского Села раза два в месяц, всегда с утра, до 12-ти. Но точно установленных для него дней не существует. Конвоя нет. Едут в некотором расстоянии друг за другом два-три экипажа—весь царский поезд. Маршрут—от вокзала до Гороховой по Загородному проспекту—всегда без изменения. С Гороховой перед проездом царя полиция обычно удаляет публику в боковые улицы. Сам я видел царя только раз, на Загородном, совершенно отчетливо, всего в нескольких шагах от себя.

В том же тихом ресторанчике, у Исаакия. Иван Николаевич слушает, кивает головой. Но в глазах его как-будто мелькает порой тревога.

Нет, вероятно мне показалось. Он очень доволен. Мои наблюдения дают именно то, чего он ожидал¹⁾. Правда, мы не знаем точно, в какие дни приезжает царь. Но и при таких условиях возможно устроить засаду в соответствующем месте. Стоит только хорошенько поворочать мовгами.

И вот опять—спокойный, уверенный в себе. Улыбаясь застенчивой своей улыбкой, он достает из бокового кармана брошюрку, протягивает мне.

¹⁾ Впоследствии говорили, что у Азефа были попытки, в то же время, выследить царя и на других путях (будто бы на Царскосельской жел. дор.).

— Узнаете?

«Дедушка Тарас» (памфлет на царствующий дом), всего несколько дней тому отпечатанный на Галерной, в типографии б. Собко.

— Вчера был в типографии, там и дали. А знаете, уж эта штучка попала Столыпину. Взбешен, говорят, до-дьявля. Обещался разыскать «негодяя».

— Что ж, поношение от наших врагов—нам похвала.

Не удивляюсь осведомленности Ивана Николаевича. Знаём, у него во всех слоях связи.

Условились несколько подождать с наступлением. Ещё месяц-полтора—окончательно выяснится вопрос об аппарате.

Последний раз видел Азефа в начале марта 1908 г.—там же, у Исаакия. Тревога то-и-дело набегала на его глаза и словно слизывала с них влагу.

Недавно арестована была на улицах Питера террористическая группа Лебединцева. Город полнился слухами об арестах, шпионах, провокаторах. О большом провокаторе у эсеров говорили в адвокатской среде.

Уж не следят ли за нами?

И опять, словно сжатая до времени, пружина развернулась: «А не провокатор ли Иван Николаевич.—Почему же его до сих пор не арестовали?» Нет, чепуха, конечно. Ведь и меня тоже не арестовали. Значит, просто удача,—не выследили ¹⁾. Свидание длилось недолго. Азеф спешил. Скавал, что пока придется отсрочить постановку акта. Предстоит по неотложным делам съездить за границу. Вернется через несколько месяцев, и уж тогда—за дело.

— Надо бы спешить, Иван Николаевич, ведь реакция не ждет.

— Ничего не поделаешь. Придется волей-неволей обожждать. Так сложились обстоятельства.

Советует и мне оставить на время столицу—«можно влопаться нечаянно».

Записал адреса двух-трех лиц, через кого можно было бы вызвать меня во всякое время.

Захотелось мне искупить свои черные мысли, сказать Ивану Николаевичу, что люблю его, верю ему, готов идти вместе с ним на смерть.

Сдержался. Только, когда на прощанье он обнял меня (знак, что расставался надолго), поцеловал его крепко в толстые, вывороченные губы.

Был еще белый день. Чтоб не показываться вместе на улице, я задержался на несколько минут в ресторане, у столика. Смотрел вслед уходящему из кабинета Азефу. В последний раз охватил взглядом его

¹⁾ Один только раз задержали Азефа—в Москве, во время первого покушения на Дубасова. Захватили в кафе на Тверской, со всеми находившимися там посетителями. Сам рассказывал: «Насилу спасся. Выручил паспорт и, вероятно, буржуазная наружность».

сутулящуюся мягкую спину, низко насаженную на плечи круглую голову. В дверях в полуоборот мелькнул его каменный лик с вывороченными губами.

Вдруг—воспоминание. Встретил я Азефа как-то зимой на перекрестке Невский—Садовая. Он мчался на лихаче, в шубе, в барачковой шапочке, не покрывавшей его толстых оттопыренных ушей,—и тогда: мысль:

«А хорошо бы проследить, как живет Иван Николаевич. Куда ездит, с кем помимо партии знается?»

И, как тогда, та же мысль обожгла мозг: проследить надо Ивана Николаевича. Непременно проследить. Итти бы за ним хоть теперь же, не выпуская его из виду. Одна беда—некому сейчас поручить это дело.

Спустя несколько дней завертываю на Галерную—и отпрянул. На дверях типографии замки и печати.

Чуть ли не в тот же день случайно встретил у Николаевского моста Турбу, заведывавшего типографией Собко.

— Как же это так? Ведь до сих пор у вас все проходило благополучно.

— Да, долго держались. Вероятно, охране было предписание из департамента полиции. Действовали зверски. Бывало, сунешь приставу четвертной, великое дело полсотни, сам помогает хоронить концы. А тут и не подступайся.

Арестовали метранпажа Шевченко, захватили-было набор «Дедушки Тараса» (второй завод). Кому-то из рабочих все же удалось во время обыска проникнуть в наборную и рассыпать гранки под носом у городовиков. Сам Турба ухитрился как-то избежать ареста.

— А скажите, это случилось вскоре после того, как у вас был Иван Николаевич?

— Да. А что?

И, глянув мне в лицо, несколько побледнел:

— А вы разве что знаете?

— Нет, ничего не знаю.

— А мне было показалось...

— Нет, нет. Я ничего не знаю. Ну, до свидания. А то ведь нас могут увидеть.

— До свидания. В случае чего, можете узнать обо мне у моей сестры. Я ведь теперь на нелегальном положении.

— Ну, разумеется.

Я зашагал в противоположную сторону.

Осенью я вынужден был скрыться из Питера.

Зима 1908—1909 г. Я в Екатеринбурге, у А. А. Бессера, кажется, в то время члена местного большевистского комитета. Только что получена почта. Развертываю большую столичную газету. На второй странице, в заголовке, огромными жирными буквами—*провокатор*. В тексте искаженный несколько, обычно по газетному, но столь знакомый аляповатый лик. Партия социалистов-революционеров извещает о провокации инженера Евно Азефа.

Не был ошеломлен, а так—словно разгадал ребус, над которым долго и упорно ломал голову.

Остался спокоен, хоть спокойствие это было такого рода, что отнимает силы.

Вдруг в памяти: а записная книжка Азефа, заполненная адресами?

Ждали вестей из Питера. А там, повидимому, было все спокойно. Здрaвы и невредимы такие-то и такие. Уцелел Иванчин-Писарев, М. А. Брагинский, а ведь мог бы и их погубить Азеф (сношения с Б. О.).

Страшная записная книжка «Ивана Николаевича» молчала.

Дома и за границей

1. НИК. АСЕЕВ. Новые песни.—2. Р. КУЛЛЭ. Луиджи Пиранделло.—3. НИК. СМИРНОВ. Из литературы о Шекспире.—4. ХР. ХЕРСОНСКИЙ. Вехи революционной культуры кино.—5. ВЛ. ВЛАДИМИРСКИЙ. В пути.

1. НОВЫЕ ПЕСНИ

Ник. Асеев

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. Ордер на мир. Собр. сочинений. Том I-й. Изд. «Молодая Гвардия». 1926 г. Стр. 495. Цена 4 руб. ИВАН ДОРНИН. Лесное комсомолье. Госиздат. Стр. 85. Цена 60 коп. ИОСИФ УТКИН. Повесть о рыжем Мотеле, господине инспекторе, раввине Исае и комиссаре Блох. Изд-во газеты «Правда». Библиотека «Прожектора». Обложка и рисунок К. Ротова. Стр. 30. Цена 50 коп. НИК. ПОЛЕТАЕВ. Резкий свет. Госиздат. 1926 г. Стр. 76. Цена 60 коп. ВИССАРИОН САЯНОВ. Фартовые года. Изд. «Ленинград». Стр. 35. Цена 30 коп. СЕРГЕЙ МАЛАХОВ. О партии, о любимой и о другом. Изд-во «Молодая Гвардия». 1925 г. Стр. 78. Цена 50 коп. ВЛАДИМИР ЗАВОДЧИКОВ. Горький мед. Изд. «Молодая Гвардия». Стр. 94. Цена 50 коп. НОРД. Стихи Л. БОРИСОВА, М. БРИКСМАНА, К. МУРАНА, М. ВОЛОШИНА, В. ЧАДЗЯЦКОЙ; ВЛЧ. ИВАНОВА, М. КАЗМИЧЕВА, Л. КАШАРСКОЙ, К. КОЛОБОВОЙ, ВЛ. ЛУИЗОВА, В. МАНУЙЛОВА, АЛ. МОРГУЛИСА, ВС. РОЖДЕСТВЕНСКОГО и М. СИРОГИНА. Баку 1926 г. Стр. 62. Цена 50 коп. ИВАН ГРУЗИНОВ. Машиновая шаль. Изд. «Совр. Россия». 1926 г. Стр. 41. Цена 40 коп. ВАРВАРА БУТЯГИНА. Паруса. Изд-во Всеросс. Союза Поэтов. 1926 г. Стр. 37. Цена 60 коп. ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ. Тополь на камне. Изд-во «Никитинские Субботники». Москва 1926 г. Стр. 62. Цена 75 коп. СОФИЯ ПАРНОК. Музыка. Из-во «Узел». Москва 1926 г. Стр. 31. Цена 80 коп. М. ЗЕНКЕВИЧ. Под парозодным носом. Изд-во «Узел». Стр. 31. С. ФЕДОРЧЕНКО. Пять ветров. Сказка-поэма. Изд-во «Узел». Стр. 31. Цена 80 коп. ПАВЕЛ РАДИМОВ. Телуга. Изд-во «Узел». Москва. Стр. 31. Цена 80 коп. ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ. Запад. Изд-во «Узел». Стр. 31. Цена 80 коп. БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ—Патмос. Изд-во «Узел». Стр. 24. Цена 80 коп. СЕРГЕЙ СПАССКИЙ. Земное время. Изд-во «Узел». Стр. 31. Цена 80 коп. ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА. Московский ветер. Изд-во «Узел». Стр. 31. Цена 80 коп. БОРИС ПАСТЕРНАК. Избранные стихи. Изд-во «Узел». Москва 1926 г. Стр. 31. Цена 80 коп.

Количество стихов, еще так недавно пугавшее редакцию и издательство и вызывавшее с их стороны суровые штрафные меры, заметно уменьшилось. Помогли ли здесь эти самые меры, меньше ли стали писать стихов или же их труднее стало печатать—вопрос не решенный теоретически, но на рынке, на прилавках магазинов, на витринах стихам стали отводить весьма скромное место. В соответствии с этим медленно начал выравниваться тот об-

щий, средний уровень квалификации поэтической работы, недостаток которого у одних группировок и избыток у других создавали впечатление крайней оторванности, отдаленности этих группировок, в одной своей части владевших всеми идеологическими, в другой—всеми формальными преимуществами. Сближение их может произойти лишь под влиянием критико-общественного нажима. Обо всем этом приходится упомянуть в начале нашего

обзора, так как в дальнейшем нам придется сталкиваться с представителями двух этих разновидностей стихотворцев. Однако необходимость стихотворной культуры начинает завоевывать все большее число своих сторонников как среди самих пишущих, так и среди издателей. Примером такого тяготения к чистоте, редакционной добросовестности, внешней упорядоченности издания могут служить два вышедших из печати тома полного собрания сочинений С. Есенина, издаваемого Гиз'ом. Более чем бережное, внимательное отношение к тексту, верстка, правка, шрифты, бумага—все это обращает внимание давно невиданным качеством книги. И из этих, казалось бы, чисто внешних данных встает полным ростом фигура покойного поэта, и в половину невидимая из тоненьких брошюрок, издававшихся при жизни стихов его. Фигура крупного мастера, на девять десятых мастера - консерватора, сложившегося под тяжелым прессом обычаев, уклада, традиций старо-деревенской Руси, на одну десятую—революционера и бунтаря, пробовавшего поднять плечами крышу стародавней вырастившей его избы.

Откладывая подробный разбор творчества С. Есенина до выхода III тома, мы еще раз подчеркиваем ту связь между внешностью издания и культурой стиха вообще, которая гораздо больше, чем можно предположить с первого взгляда, влияет на оценку творчества поэта. С такой же тщательностью и солидностью выпущен первый том собрания сочинений А. Безыменского «Ордер на мир». И в данном случае к-во «Молодая Гвардия» заслуживает всяческой похвалы, как показавшее целиком полный облик поэта, отдельные черты которого до сих пор не давали возможности точно определить характер его творчества. В рецензируемом томе собрано все наиболее крупное и известное, что было сделано Безыменским за последние пять лет. Близкий и внимательный обзор его работы приводит к неутешительным выводам. Во-первых, не в пользу А. Безыменскому пошло утверждение теоретиков-напостовцев об использовании

опыта и овладении поэтическими формами предыдущего и существующего поколения путем введения их особенностей в свой поэтический диапазон. А. Безыменский, искренно поверивший в такое «преодоление», попросту копировал эти особенности стиля того или иного поэта, думая, что таким образом он укрепляет и усложняет свой собственный голос и вкус. Вначале это копирование ритмического интонации, характерного синтаксического оборота шло от Маяковского, и потому казалось преемственно закономерным. Хотя и в этот первоначальный период работы поэта неприятно поражало его пристрастие к отвлеченности, к словесным символам, к понятиям с большой буквы:

Из солнцобетона и стали скован я
Отсек я Былое, схватив его космы
Во чреве заводов, под сердцем станковым
Я зачат и выношен. Вырос же в Космос.

Вот эта попытка возвести простое понятие («былое») в квадратную степень значимости, написав его с большой буквы,—уже в первые годы работы А. Безыменского была угрожающа по неопределенности симпатий поэта к тем или другим техническим средствам работы. Среди этих средств под главным влиянием Маяковского—напластовывались уже и тогда какие-то мелкие побочные оттиски иных влияний. Впрочем, и сам поэт не скрывал этих особенностей своего развития, декларировав способы своей работы:

Всюду из жизни берем свой узор мы
В царстве и света и тьмы;
Наши размеры и рифмы и формы
Многообразны, как мы.

Не говоря уже о несколько невыдержанном «царстве света», стоило бы все же определить А. Безыменскому границы этого многообразия рифм и форм. Мы не думаем ставить здесь какие-нибудь преграды. Но все-таки: плохие рифмы необязательны ведь даже при необходимости соблюдать «многообразие» рифм. Плохие приемы символистов, их модернизированный вкус, любовь к «страшным» словам с большой буквы,—нужно ли брать комсомольскому поэту материал отсюда? Да и вообще нужно ли копирование чьего

бы то ни было творчества? Даже и творчества Маяковского? А такие строфы ведь и есть—сознательное или бессознательное копирование его манеры говорить:

Это я в снегах ночую,
Где веками лишь бури выли,
Это я рубли и гянен
Доллары и франки вылил (?).

Это—«Это я» взято на прокат из «Войны и мира» или хоть бы из того же «Человека».

Это я сердце флагом поднял!

Или:

Солнце!..
.....
Будет беадеильничать в небе,
Много есть дела внизу...

Неуклюже переделанное обращение к солнцу В. Маяковского:

В упор я крикнул солнцу
Слазь!
Довольно шляться в пекло!

У Безыменского:

Нет!
Я и рабочий
Из той же ткани (?).
Мы говорим
Одним языком,
Только работает он
Станками,
Я,—
Чем могу и умею—
Стихом.

У Маяковского:

Кто выше—поэт
Или техник,
Ведущий людей к вещественной выгоде.
Оба.
Сердца такие ж моторы,
Душа такой же хитрый двигатель.

Мы вовсе не собираемся здесь доказывать зависимость А. Безыменского от В. Маяковского. Нам важно выяснить легкость, с какой Безыменский поддается на ту или иную чужую интонацию. Вот это его качество в соединении с необходимостью давать «широкие полотна» приводит его к совершенно неудачным вещам, каковы, например, «Банкет пяти» или «Война этажей». «Банкет пяти» должен послужить для поэта серьезным предостережением опасности полного размагничивания его литературного вкуса. Тема поэмы, сама по

себе интересная и значительная, вконец испорчена какой-то ненужной развязностью автора, почему-то решившего реставрировать северянинские приемы. Все эти «сонаты», «opus'ы», еще раз «сонаты» сами по себе вызывают недоумение даже у квалифицированного читателя стихов. Но что сказать о скопированной схеме северянинского— «Это было у моря, где волна бирюзова»?

— Это было на Марне, где ристалище (?) смерти,
Где встречается редко человеческий смех,
Генерал телефоны, что пора уже «Берте»
Во французском окопе порадовать всех.
Это было так просто, это было так мило.
Ах! Орудье раскрыло широченнейший рот
И окоп разгромило и людей раздавило,
А всего-то их было немного: пятьсот.

Но допустим, что эти недоделанные па северянинского танцкласса автор вводит нарочито, реставрируя эпоху военных лет. Чем тогда об'яснить издевательство над пушкинской строфой:

Это было в кабинете,
За стеною темных штор (?),
Прибежали к папе дети
В дебри банковских контор.
Папа уздл сказал кому-то,
Отослал секретаря
И забылся на минуту,
Теплой нежностью горя (!?).

Неужели все это «преодоление, техники буржуазных спецов»? Но тогда ведь нужно века потратить на копирование всех бывших стилей и форм!? И какой же эффект достигается всем этим? Заполнение «широкого полотна»? Нет. Широкие полотна пока лишь растягивают жилы Безыменскому. Весь отдел «поэм» не доработан и не отфильтрован. «Многообразие форм» привело т. Безыменского к отсутствию своей, грозя сделать из него поэтическую сомнамбулу, повторяющую чужие голоса и интонации без ясного представления целесообразности такого повтора. Это тем более опасно, что Безыменский, выдвинутый из первых рядов комсомола в его пелцы и выразители его дум и желаний, грозит свести эти думы и желания к простому подражанию вкусам отошедших поколений. Книга А. Безыменского могла бы быть сокращена, намного выиграв в литературной значимости и снизившись в цене, доступной только библиотечным коллекторам.

«Лесное комсомолье» Ив. Доронина является, собственно говоря, непрерывным песенным текстом, более или менее обновляемым понятиями сегодняшних дней. Будет ли этот текст петься, сделается ли он песней—это вопрос; но, как материал для чтения, он слишком однообразен даже для непритязательного читателя. Обычно—это пейзаж с речкой, лугами, рябиной, рожью, дубравой—обычными аксессуарами песенного речитатива. Иногда в него введен диалог, но, попадая в тряпку размера, диалог этот становится неудобочитаем:

Егорыч у канавы.
— Здорово, старина!
— А Ваня... Ваня! Право,
Тебя и не узнать.
.....
Встудит Дуня в комсомол
Или нет, не вступит.
Если нет—то на подол
Дуне кружев купим.
Я сказал.—Сестра, здорово,
Улыбнулась девчина.
В жизнь не ведал бы кручины
Я с бедою, хоть каной,
При улыбке вот такой.

Особенностью Ив. Доронина является его полудеревенское, полужагородское происхождение. Это может быть очень хорошо для анкеты. Однако анкетность в темах и образах стихотворных строк—мало им помогает.

Селпца конопляны,
Коноплевы семица
Поют про коммунистов
Детишки в конопляцах.

Или:

На горе зеленый дуб,
За горою поле.
Люб, подруженьки, мне люб
Степка комсомолец.

Еще:

Есть коммушка за домом
Свет родного края—
Там ячейка комсомола,
Мать моя вторая.

И главным образом:

Бравый пахарь говорил:
— Дорогая Маша,
Посмотри, ты посмотри,
Как в совхозе пахут.
У совхоза, у совхоза
Все как есть сбывается,
У совхоза счастье возом
В гору подымается.

Может быть, словесный лубок нам и не бесполезен, но тогда нужно найти ему подходящее место, подать соответствующим образом, в виде ли песенника, в виде ли подписей к соответствующим картинам для избы. Но, изданный в общем порядке стихотворного сборника, он производит впечатление полной неопределенности относительно своего предназначения. Сам автор считает себя советским Кольцовым. Заявление это несколько натянуто, хотя бы потому, что советский Кольцов уже работает в «Правде», но, и кроме шуток, наш искренний совет Ив. Доронину, если уж он ставит пределом достижений своих работу поэта Кольцова, приглянуться не только к тому, как писал этот автор, но и к тому, как он вычеркивал из написанного то, что казалось ему лишним. Этого чувства стеснения за излишество, чрезмерность, однообразие Доронин лишен совершенно. Он может длить свои четверостишия бесконечно:

Ой, ты, молодость
Разудалая,
Время времячко
Невидалое (?).

.....
Шли мы рядом
Свиним взглядом
Ваня брыгал на лицо
.....
Ты блестя, блестя росой,
День весенний бравый.
Скоро острою косой
Выносим дубраву (?).
.....
У откоса белен бел,
Белен свиньи срыли—
Я ли, что ли, обалдел,
Обалдела ты ли?

Куда там обыкновенному Кольцову до советского? Разве он знал что-нибудь про смычку!

Я ли, что ли, обалдел,
Обалдела ты ли?

Гораздо выше, как по выполнению, так и по тематической четкости, мастерство Иосифа Уткина. Его «Повесть о рыжем Мотеле», изданная в библиотечке «Прожектора»,—целиком удавшаяся вещь. Трудно решить по первому произведению автора (а с Уткиным мы познакомились именно по этой вещи), чему больше обязан автор в этом успе-

хе: новизне ли неслышанного до сих пор голоса со всеми особенностями его образующих интонаций или его уже оформливаемому тембру. Нам кажется, что голос Уткина еще не окреп, не возмужал. Его интонации удачны, характерны звучанием жаргона, введенного в стихотворение нарочито и использованного с большим мастерством и даровитостью...

Это прямо наказание—
Вы слышали Хаим Бес,
Делать сыну обрезание
Отказался
Наотрез?

Первый случай в Кишиневе.
Что придумал, сукки сын?
Говорит: довольно крови,
Уважаемый раввин!

Эй, куда они торопятся
Эти странные часы!
Ой, как сердце в них колотится,
Ой,—как носы их усы!

Ша!
За вами ведь не гонятся?
Так немножечко назад.
А часы вперед, как конница,
Все летят, летят, летят.

Ведь это ж очень и очень!
Боже ты мой.
Но почему не хохочет
Господин городовой?

Ну, что же? Прикажете плакать?
Нет, так нет.
И он ставил заплаты
На брюки и на жилет.

Эти и иные присловья, интонационные сдвиги и неожиданные синтаксические заскоки («ведь это ж очень и очень»), перенесенные в поэму из местечкового жаргона, держат стих Иосифа Уткина на большой словесной и смысловой выразительности и высоте. Является вопрос: что, если откинуть этот прием—введение жаргона, прием, который вряд ли может быть прочно введен в творчество поэта раз навсегда, так ли живо будет звучать стих Иосифа Уткина?

Поясняем: пушкинское стихотворение «Гусар» сделано с установкой на гусарские «словечки», на весь его задорно-импровизаторский язык и тон: «занес же вражий дух меня на распроклятую квартиру» и т. д. Но, зная это одно стихотворение, можно ли было

судить о других произведениях Пушкина? Конечно, нет. Ибо это стихотворение было стилизовано под гусарское вранье, как стилизована уткинская поэма под местечковый жаргон.

У Иосифа Уткина имеется свежее ощущение языкового приема, как средства воздействия на читателя, чувство юмора, достаточно гибкая техническая вооруженность. Все эти данные позволяют ожидать от автора настоящего свежего мастерства. Главная опасность для Уткина—в его раннем признании, в ощущении легкости победы, в необходимости длительных усилий для завоевания подлинно своего места в ряду поэтов современья; места не приготовленного и пододвинутого, а занятого по праву и качеству дарования, несомненно имеющегося у Уткина, которое ему предстоит развить и отшлифовать в своеобразный и непохожий на других способ выражения черт и контуров своей эпохи. О «Резком свете» Ник. Полетова нам уже приходилось давать отзывы. Это искренняя и горячая книжка, которой многого не хватает в смысле знания, но в которой есть много в смысле инстинктивного предвидения. Автор так же, как и предыдущие, стоит не на очень высокой ступени поэтической культуры, и однако за эту культуру он борется. В его стихах не слышно того разухабисто-самоуверенного тона, каким злоупотребляет, например, Безыменский. Полетаев сомневается и ищет, он радуется и волнуется, и эти поиски, радость и волнение это сквозит на страницах его книжки. «Резкий свет» культуры, знания песенной распаленностью ударил в глаза Н. Полетаеву. И книжка его выделяется среди других правдивостью и четкостью интонаций.

Радуется также немудрящая книжечка Виссариона Саянова, ленинградского пролетарского поэта—«Фартовые года». Фамилия этого поэта нам встречается впервые. Тем приятнее поставить ее в ряды тех, за которыми следует следить со вниманием. Он сразу завоевывает это внимание, ему начинаешь верить с первого знакомства:

По заводам, за Невской, за Нарвской,
Где гремит и грохочет литье,

По заставам, где шел Володарский,
Занимается солнце твое.

И даже тогда, когда он, немного кокетничая, заламывает на-бок рабочую кепку:

Да и что во мне? Башка простая...
Чем форсить, скажите, пареньку,
Если каждый критик, не читая,
Разругает лучшую строку?
А по что?—Парнишка не подначит
На разгул ваставскую шпану;
Неужели не поймут, что значит
Петь про волю вольную одну.
Это значит: каждому братану
Перечитывать стихи, пока
Крепко сделанной строкой не станет
Пробирать простого паренька.

Если это так, если это признание не только манера разговора (а нам оно кажется безусловно правдивым), то В. Саянову предстоит хорошее, свежее будущее. «Крепко сделанную строку» еще не донесло до «простого паренька». Но, раз узнав и оценив ее, молодяк сумеет остановить свой выбор именно на таких строках, откинув всевозможные подделки под самые разнообразные стили. А что Саянов искренен, свидетельствует настоящее чувство, полнее его строфы:

Ах, ребята, ах, друзья родные,
Девочки в малиновых платках,
Не для вас ли я слова простые
Отливал в вапористых стихах?

Это запоминается и повторяется в памяти. Это хорошо и широко. Повторяем: наше внимание пристально обращено на дальнейшую работу В. Саянова.

Гораздо менее свежа книжка С. Малахова «О партии, о любимой и о другом». Малахов выступает не впервые. Его стихотворения сплошь стилизованы под пролетарские. Выражение «стилизованы» не надо понимать в смысле «подделаны». Нет. Они так же искренни, как искренни, наприм., стихи В. Брюсова о героях греческой мифологии. Малахов «увлекается» темами заглавия своей книжки, но не живет ими:

У моей любимой—глаза оленя
И черные—луком бровь,
А партия взглянет глазами Ленина
И под откосом моя любовь!

Почему такое представление о партии, как о старой классной даме?

У нее не юбок шуршащий шелк,
А Ульянова пятый том.

Этого уж совсем не понять. К чему это? У кого «не юбок шелк, а пятый том»? Это называется перестараться в идеологии. Все-таки разные это специальности—в пятый том глядеть или за юбкой волочиться. И смешивать их даже ради торжества партии не следует. Темы и установка малаховского творчества равняются на А. Безыменского, а следовательно и на В. Маяковского. Так—кожаная куртка похожа на «Шапку». Есть и другие общие места.

Совсем плохо звучат те строки, в которых Малахов хочет быть стопроцентным идеологом коммунизма. Вот пример ужасающе фальшивой интонации, могущей служить предостережением для других поэтов. Автор встречается на Тверской в автомобиле деревенских баб—делегаток на с'езд. Встречей этой в своем стихотворении он хочет символизировать «в'езд» баб в коммунизм. Фальшивка получается отчаянная:

И вот уж вдали
Два белых листочка
Ветер мнет
И кружит низом.
Бабы! бабы!
Сегодня вы
в ситцевых платочках
Проехали
по Тверской
в коммунизм.

Как можно написать, а тем более напечатать, не стыдясь, такую сухую, двусмысленную, схематическую, каплей воображения не одобренную строфу? Что же отныне по Малахову считать средством коммунистической агитации—катанье баб на автомобилях, а дорогой к коммунизму—Тверскую улицу? Вот что выходит, когда, не справившись с формой, человек надеется на содержание. Вывезет моя кривая! Но кривая не вывозит, и получается конфуз.

Не лучше стихи более поздних годов. Что, напр., значат такие строки:

Как ховяйский вагылок с высоких круч
Заблестел, как вчера луна.

Или:

Шевельнулась губа, как дубовый гроб.

С. Малахов не справляется со словесным материалом. Материал его давит и не дает свободно двигаться строфе. В этом случае нужно или обречь себя на медленный и тяжелый труд, или бросить писать. Малахов не хочет ни того, ни другого. Он предпочитает развязность и самоуверенность. Это—не даст ему возможности работать и сделаться хорошим писателем. Таково впечатление от его книжки.

В стихах Вл. Заводчиков «Горький мед»—странная смесь полнейшей беспомощности с ничем не оправдываемыми претензиями. Так, он пишет японские танки и хокку—очень трудные виды стихотворений; у него часты чрезвычайно витиеватые сравнения, вроде:

Живая книга—мудрая отрада
И взлетов мысли—пес сторожевой.

Наряду с этими внешними признаками «усложненности», автор спотыкается иногда на совершенно ровных местах:

Дали ему дрянной дробовик,
Но к нему скоро он привык.

Темы его стихов установленного для комсомольского поэта образца. В общем название «Горький мед» достаточно характеризует вкус стихов этого образца.

В Баку вышел сборник поэтов «Норд», объединивший до пятнадцати имен. За исключением ленинградцев, Ник. Тихонова и Всев. Рождественского, в сборнике внимание не останавливается ни на ком. Грамотней других Александр Моргулис. Остальные не поднимаются выше «Примитива» Л. Борисова:

Жил поэт. И ранним утром в мае,
Возле насыпи за городом у скал,
Девушке с блестящими глазами
О любви своей он рассказал.

Об этом в большинстве своем и называют авторы «Норда». В сборнике этот, ничуть не нарушая его монолитности, мог бы целиком войти и Иван Грузинов с его книжечкой «Малиновая шаль». Грузинов пишет достаточно давно, чтобы привыкнуть к его стихам, как к откликам чьих-то былых вдохновений.

Всколыхнулся бел-горючий камень,
Не вернуться, не остановиться...
(Грузинов).

Не вернуться; не взглянуть назад...
.....
За стеной горючий белый камень.
(А. Блон).

Часто встречаются Есенинские строки. И редко, редко выпадет удачный образ самого Грузинова:

Лягушенку в голубой осоке
Суждено родиться голубым.

Книжечка в 20 стихотворений всего. Скупость автора—одно из главных его достоинств.

Менее скромна в своих притязаниях Варвара Бутягина.

Полосатые тигры заката
В голубых камышах залегли.
Мы, женщины, в нас ветер и загар,
В нас бьется жизни золотая жила (?).
Ведь мы земле приносим чудный дар (!?)
На смену тем, кого берет моггла.

Против этого правильного довода возражать трудно. Но, даже и при этом смягчающем обстоятельстве, «Паруса»—книжка, не могущая рассчитывать на дальнейшее плавание.

Совсем выправился Иван Приблудный. Его «Тополь на камне» оставляет свежее впечатление. Конечно, влияние Есенина еще сильно, но дело в том, что, нам кажется, влияние это осознано самим поэтом, а это уже пол-беды. И из него пробивается хороший человеческий голос и взгляд простоватого крепкого парня:

За хутором тихая речка,
И там, где вздымается гать,
Такого, как я, человечка
Лягушки привыкли встречать.

Большая внутренняя правдивость, не наигранная и не напускная, дает упор и таким строфам И. Приблудного:

Когда тебя спросят: откуда ты родом,
Не хвастайся тем, что ты города сын,
Не лги, что ты любишь гудки по заводам,
Не верь, что ты веришь в отраду машин.
.....
Скажи лучше просто, что ты из России,
Где рядом с мостами—навозная гать,
Где крешние зимы, где степи большие,
Где можно устать и легко отдохнуть.
.....
И всякий поверит, что ты что-то значишь,
Что с детства упрым огнем одержим,
От бурь не погнешься, от бед не заплачешь.
И что ни захочешь—все будет твоим.

У Приблудного есть очень редкое чувство слуха к своим стихам, чувство,

сообразно с которым он размеряет силу своего голоса. Поэтому он почти никогда не фальшивит. У него есть неудачные строки и строфы, но нет режущих ухо неправдой, неверностью тона. И, будучи действительно деревенским поэтом, он не злобится на город, не декларирует своей ненависти к нему. Он спокойно, грустно жалуется на него, возбуждая к себе искреннее чувство симпатии и участия:

Так-то ты взяла меня, столица,
И не спросишь и не хочешь знать,
Как мне спится, что мне ночью снится,
Где я завтра буду воевать.

Правильность интонаций, чистота языка, отсутствие щегольства и хвастовства взятой с чужого плеча модой, заставляют хорошо и прочно поверить в дальнейшую работу Ив. Приблюдного. «Тополь на камне» — хорошая книжка, с которой следует познакомиться каждому любящему стихи.

Наш обзор был бы не полон, если бы в нем обойти молчанием группу поэтов, об'единившихся для издания стихов под маркой Кооперативного Товарищества «Узел».

Как по внешнему виду изданий, сделанных тщательно и любовно, так и по квалификации об'единенных здесь поэтов, — это наиболее культурная технически, наиболее вооруженная знаниями, опытом и преемственностью поэтических традиций группа поэтов, очевидно, не имеющих возможности издавать иными способами, как об'единяясь в кооперативное товарищество. Среди них несколько случайны С. Федорченко и Павел Радимов. Сказка С. Федорченко «Пять ветров», очевидно, была задумана, как детская вещь, но тяжесть стилизации народного орнамента сделала ее недоступной детям. Для взрослых же она слишком однообразна в своих повторях. «Телега» же Павла Радимова, тархтящая нарочито русскими речениями по колдобинам гексаметра, производит несколько юмористическое впечатление. Конечно, у всякого своя манера веселиться. И мы просто затрудняемся высказаться об этом способе сообщать нам сведения о деревне. Как, если бы человек, пригласив нас на охоту, вышел сам с луком и стрелами,

мы просто отказались бы серьезно с ним охотиться. Конечно, повторяем, каждый может вести себя как угодно, не нарушая общественного спокойствия, но выступление Радимова в тоге и на колеснице мы никак не можем счесть за вид движения — стихотворчества. Кроме этих двух случайных участников, остальные авторы «Узла» — определившиеся поэты, подчас давно выступавшие, но имеющие и имя и место в современной поэзии. «Музыка» Софьи Парнок не вносит новых мелодий в общий хор поэтических голосов современья. Но стихи С. Парнок культурны, грамотны и часто достигают легкости подлинной музыки («Сны»). Давно неслышанный голос Бенедикта Лившица все так же низок и насыщен гулками тембрами чуждых языку слов. В «Патмосе» есть прекрасные строфы, свидетельствующие о живом и глубоком поэтическом темпераменте, могущем не проявляться годами и внезапно восстать вихревым смерчем соединенных облаков и песка. Суше и яснее стал М. Зенкевич. Очень хороши его «Декабристы», написанные четко, остро и без обычной бутафорско-исторической мишуры. Свежие строки есть у Веры Звягинцевой («Пушкину», «Поездная вторая», «От этого нельзя уйти», «Друзья», «Этот внезапный страх»). Мастерски владеет стихом Павел Антокольский.

И, конечно, покрывая всех характернейшим профилем большого поэта эпохи, возвышается в «Избранных стихах» Б. Пастернак. Все-таки какие бесхозяйственники наши издатели! Ведь за эти годы не было выпущено ни одной его книги стихов! Хоть бы для Европы-то выпустили: вот, мол, сумели сохранить и оберечь. Ведь возят же театры показывать! Или не «рентабельно»? Но не все же ради немедленной реализации. И как звучат теперь эти строфы из старых книг Б. Пастернака. Хорошо, что хоть «Узел» удосужился издать этого первоклассного поэта.

Итак, подводим итоги. Боимся, что наоборот — итоги подведут нас. Однако это так. От Безыменского до Пастернака гораздо большая пропасть поэтов, чем здесь было перечислено. И не

только поэтов, но и читателей. Там на стороне пролетариев полное идеологическое благополучие и технические приемы каменного века в обработке слова. Здесь у авторов «Узла» — большая культура и почти всегда специфически «поэтическая» тематика, более подходящая к гекзаметру Радимова.

Как бы все-таки сблизить фланги этой поэтической армии, задав ей общую стратегическую задачу? Думаем, что это дело советской критики и общественности, не столько в отношении отдельных лиц, как в общей постановке вопроса, что же, наконец, считать поэзией СССР?

2. ЛУИДЖИ ПИРАВЕЛЛО

Р. Куллэ

В истории итальянской литературы есть одна необычайно характерная черта, определяющая не столько эволюцию художественного творчества, сколько отношение читателей к своей литературе. Европейская культура, гордая своей органической связью с культурой античной, греко-римской, продолжательницей которой она себя считает, нигде так остро не давала чувствовать этой зависимости и связи, как именно в Италии. Почва античного мира, страна-музей памятников античной старины, Италия в каждом уголке — города, деревни и просто большой проезжей дороги — видит застывшие формы прошлого, которые заслуживают особого поклонения и культа, но которые, в свою очередь, цепко держат мертвыми руками живое сознание ныне действующих и творящих людей.

Каждый итальянец чувствует себя своеобразным хранителем этого громадного музея и если одни это выражают в форме назойливых гидов, пристающих ко всем иностранцам с предложениями показать «достопримечательности» данного города, деревни, улицы, то другие, выше стоящие на ступенях социальной лестницы, весьма недвусмысленно жертвуют всем настоящим и живущим для умершего, окаменевшего прошлого, руины которого разбросаны по всей стране. Известная «отсталость» Италии от современной европейской культуры отчасти объясняется этим.

В самом деле, технически Италия уступает значительно крупным европейским странам в области индустрии и промышленности, политически — это

классическая страна фашизма, «маффин», «каморры» и реакционной политики, духовно — это «седалище» папы и тяжелой власти католицизма, гнет которого сильно препятствует развитию широких масс, в общественно-гигиеническом отношении — Италия — при всей ее роскошной природе — страна бедная и грязная, экономически дефективная, наконец, в литературно-художественном отношении она консервативна до... классической музейности. Большая двойственность характеризует общую физиономию этой страны: «мафия», «каморра» — и гнездо анархизма, буйный цвет крупнейших талантов и рабская скованность с отмершей античностью, обтрепанные *lazzaroni* — и безумная роскошь буржуа-капиталистов, современный Рим с гулом его сумасшедшего темпа большого промышленного центра — и развалины Колизея, остатки *Via Appia* чуть ли не в самом сердце города и т. д. и т. д.; жизнь властно завоевывает свою победу над могилой старины, за которую цепко держатся почти все итальянцы... Противоречия капиталистического строя пестро переплелись с особым своеобразием, специфически итальянским: музейной поваяпленностью древне-римского саркофага, порученного хранению целого народа.

Мудрено ли, что это создало достаточно душную атмосферу в Италии и дерзновенная попытка Маринетти выбить стекла в этом колоссальном музее, чтобы впустить в него свежего воздуха современности, является вполне закономерной и последовательной, тем более, что она нашла и соответ-

ствующее обоснование в его манифестах, написанных резко, крикливо и надрывно, как это свойственно пришедшему в неистовство человеку. «Футуризм» — итальянский, конечно, — мы должны понимать, как протест против мертвой музейности во имя творящегося сегодня и грядущего будущего, которым весь этот «гроб поваленный» нунужен.

Что Маринетти буржуазен по своей идеологии, значения иметь не должно в данном случае, т. к. его «футуризм» не политическая программа, а только литературный лозунг, имеющий целью приковать внимание к определенному общему явлению в Италии — состоянию консервированного музея, в котором задыхаются живые ростки современности.

В итальянской художественной литературе это засилие античного прошлого сказывается еще сильнее, чем в жизни. Положительно шагу не может ступить писатель и поэт, чтобы его немедленно же не одернул критик, публицист, ученый или просто общественный деятель криком: «Стои! а *Виргилий?* а *Тибулл?* а *Сенека?* а *Петрарка?* Где они у тебя? В какой мере хочешь ты их заменить?» Ведь так характерно для филологической науки Италии, что область ее ведения ограничена исключительно прошлыми веками до XVI—XVII включительно. О современности пишут мало, а в школах, средних и высших, ее совсем не изучают. Девушки итальянские, чуть ли не крадучись и прятаясь, читают современных поэтов и прозаиков. Это ли не показательно?

Отсюда понятна та особенность отношения читателя к писателю своего времени, в силу которой проложить путь к признанию и славе художнику Италии гораздо труднее, чем писателям других стран у себя на родине. Едва ли наберется в итальянской литературе десяток случаев раннего и относительно легкого завоевания славы писателем у своих современников. Габриелю д'Аннунцио это удалось, а сколько времени пробивали сквозь тернии равнодушия и игнорирования свою дорогу такие крупные и теперь

бесспорно признанные художники, как Фогаццаро, Верга, Чиаполи, Ада Негри, даже отец современной литературы — гениальный Джозуэ Кардуччи!

Победить равнодушные музейных хранителей — вещь вообще очень трудная, самый воздух хранилища внушает благоговейное молчание. В итальянской литературе это явление получило эпидемическую повальность и поэтому ничего удивительного не должно показаться в том, что и Луиджи Пиранделло завоевал свое место в литературе, признание и даже поклонение у современников после пятого десятка жизни и на втором десятке выпускаемых в свет книг. Сначала стихи, потом рассказы, романы, потом пьесы... Трудно сказать, что собственно решило судьбу. Если судить по отраженным данным: головокружительному успеху за пределами Италии, то это сделали его пьесы.

В маленьком городке Сицилии, Джирдженте, родился Луиджи Пиранделло в 1867 году. Щедро одаренный способностями, он без труда прошел среднюю школу в Италии и закончил высшее образование в Боннском университете, наметив себе путь ученого филолога в области философии и лингвистики. Его докторская диссертация «Звук и наречия в Джирдженте» ясно обнаруживает его научные интересы, но занятия лингвистикой и философией не заглушили органических голосов поэта и писателя, звучавших в нем и прорывавшихся творческой волной в нескольких сборниках стихов, рассказов и переводов. Знаток немецкого языка и поклонник Гете, Пиранделло дал блестящий перевод «Римских элегий» Гете. Как воспитанник гуманитарного образования и вскормленный античной традицией, он не мог не отдать ей дани на почве, насыщенной живой струей архаизма, переводами из греческих и римских классиков. Собственные его стихи раннего периода свидетельствуют о большой чуткости к книжной культуре и насыщены разнообразными влияниями, так полно впитываемыми им, стоящим на перекрестке больших литературных дорог романских и германских народов.

Мастер малой формы, Пиранделло культивирует преимущественно расказ, так трудно поддающийся чеканке именно в Италии, где путь развития новеллы эпохи Возрождения predetermined канонические формы этого жанра. Нужно было весьма крупное дарование, чтобы преодолеть линию прочно сложившейся литературной традиции и дать композиционно и стилистически ощущение новизны в этой области. И если Пиранделло является своего рода итальянским Мопассаном, не столь глубоким и внешне блестящим, но не менее широким по охвату и диапазону творчества, то читающая публика Италии долго этого не хотела заметить.

Слишком большое количество одаренных людей в этой стране повышает непомерно, с одной стороны, требования к писателю, с большим, чем где-либо, трудом пробивающемуся к признанию, а с другой—распыляет, своеобразно обесценивает и дилетантизирует серьезные вопросы искусства.

Жертвами этого исключительного проявления «искусства для всех» в Италии являлись всегда все большие мастера. Средне-одаренный человек неохотно признает превосходство над собой кого бы то ни было, но если уж признает, то энтузиазму границы положить трудно. Но до этого нужно пройти через тернии и разочарования, которыми так богата судьба всякого творца.

Пиранделло испытал это на себе в течение долгих лет. Упорный труд, малое признание, порывы за железную линию сковывающего ряда писателей равнодушия читателей и вдруг прорыв... энтузиазм, признание, и поклонение.

Однако этот скачок на вершину славы и популярности совершен был Пиранделло очень поздно—ко времени ликвидации империалистической войны. До этого писатель не слишком резко выдавался из ряда читаемых, но не обожаемых до энтузиазма авторов. Это тем более странно, что основные элементы творчества писателя сложились давно, его наиболее яркие вещи были уже написаны, когда вдруг пришла эта капризная слава, всегда пости-

гающая писателя вдруг и не всегда заслуженно. Байрон в одно прекрасное утро проснулся знаменитостью, Пиранделло много ночей и дней мостил себе дорогу к славе и нашел ее тоже вдруг, может быть, когда меньше всего этого ожидал. Однако право на исключительное к себе внимание он несомненно имеет и не только как драматург, но и как новеллист. То обстоятельство, что слава Пиранделло, разнесшая его имя далеко за пределы Италии, основывается в глазах европейского читателя на его драматических произведениях, должно быть об'яснено тем, что путь драматурга к вершинам признания всегда короче и быстрее, чем путь беллетриста. Доказывать этого особенно не приходится, т. к. сценическое воплощение—достаточно убедительная аргументация в пользу этого положения: драматургу помогает столько солидных спутников, столько условий способствуют успеху его произведения, на которые совсем не может рассчитывать беллетрист.

Итальянский драматург Пьетро Косса сам признавался, что он никогда не был бы так популярен, если б служил другой музе.

Драматургия Пиранделло, конечно, с большим блеском выявила его творческие достоинства, но они все имеются налицо в его художественной прозе. И поворот поэта к драматической форме, в сущности, был только случайным поворотом в сторону, наиболее освещенную лучами славы, сразу осветившими всю фигуру писателя.

Как новеллист, Пиранделло представляет собою исключительное явление в итальянской литературе, столь богатой блестящими повествователями. Пиранделло замечателен именно тем, что он не блестящ, как не блестящ в нашей литературе Достоевский, далекий от сверкающих красот стиля и четкости композиционных линий. Матовая красота Достоевского—в зыбкости путей, пролегающих над глубинами человеческой психики, какими ведет своего читателя этот писатель, нашедший ученика и последователя в Италии в лице Луиджи Пиранделло.

Влияние Достоевского сказывается не только в манере трактовки сюжета, свойственной Пиранделло, но, главным образом, в той особой тяге его к психологическим проблемам, разрешаемым им в виде этюдов в художественной форме.

Эта тяга на психологизм в творчестве роднит Пиранделло и с Гюи де Мопассаном, с которым его связывает еще и излюбленность малой формы. Но Мопассан бесспорно блещет своим языком, стилем, композиционными приемами. Пиранделло в языке тяжел, его стиль не обладает легкостью фразовой конструкции, всегда сложной, отяжеленной и насыщенной философской мыслью. Конечно, это не случайность. Пиранделло мог бы и в новелле проявить ту же легкость и лаконичность стиля, какими он отличается в своих драматических произведениях. Но он сознательно этого избегает, ибо *только этой своей особой манерой он и преодолел канон итальянской новеллы*, завязал новый узел в литературной традиции итальянского повествовательного жанра.

К Достоевскому у Пиранделло тяготение не только в силу значительной общности склада психики обоих писателей, но и вследствие литературной культуры Достоевского в Италии. Итальянцы с середины прошлого столетия проявляют большой интерес к России и к русской литературе. У нас не написано столько книг об Италии, сколько там о нас. Когда же упрочилось решительное и глубокое влияние двух величайших русских романистов — Достоевского и Л. Толстого — на всю европейскую литературу, Италия также не избежала этого влияния. Чтобы убедиться в правильности нашего утверждения, достаточно указать на наиболее выдающихся писателей второй половины XIX века, испытывавших и отражавших это влияние. Д'Амичис, Фогаццаро, Верга, Чиапполи, Г. д'Аннунцио и, наконец, Пиранделло — все они в большей или меньшей степени прошли через школу русской литературы.

Новеллы Пиранделло отличаются прежде всего большею краткостью. На-

бросок, эскиз, кусочек жизни, схваченный из самой гущи анекдот с серьезным зерном, не имеющий, собственно, ни начала, ни оформленной концовки. Часто новелла оканчивается ничем, обрывается. Но всегда она содержит какую-нибудь мысль, скорее даже философскую тезу, часто парадоксальное суждение или положение. Эти новеллы не смешны, они трагичны, тою ужасной трагичностью оудничной жизни, в которой по существу нет большой борьбы, нет героя с вызовами небу и людям, а творится какой-то закономерный и ужасный для человека процесс, который он не в силах ни предотвратить, ни побороть, ни осмыслить до конца. Как на маленькой лодочке в бушующем океане, мечется человек в стихии жизни, управляемый своими страстями, непонятными для него законами мерно развивающегося процесса жизни и ее отношений. Не дано маленьким героям Пиранделло осмысление каких-то общих закономерностей и поэтому они или теряются и ищут выхода в смерти (чаще всего в воду с моста), или надрывно хохочут от пустоты сознания, или растворяются в парадоксе.

В этом отношении Пиранделло изумительно чутко подслушал и отразил психику современных итальянцев, всегда эмоционально приподнятых, мечущихся в противоречиях буржуазной действительности сегодняшней Италии, как-то боком вышедшей из войны, победительницы «за компанию», и вот уже больше полувека лавирующей между двумя крайними напряжениями: анархической мысли одних, и фашистских, черносотенных тенденций других, чаще стоящих у власти и нарочно вливающих яд реакционного обскурантизма в бурлящую кровь империментных, но темных южан. Капиталистический строй в условиях этих расовых и национальных особенностей Италии породил издерганного, неуравновешенного человека, истерически бросающегося от возможности к возможности, от наживы к нищете, от экспансивной радости к глубокой печали, преступлению, разочарованию и смерти. Железной рукой сдвлено

горло, парализована воля, и средний интеллигент, служащий, учитель, чиновник, домашняя хозяйка и девушка без определенных занятий—обычные персонажи новелл Пиранделло—болезненно бьются в силках уродливой и убогой жизни. Рок буржуазного строя тяготеет над ними.

Все сборники новелл нашего автора: «Novelle per un appo», «Un poco solo», «Счастливы», «Близнецы», «Молчание»—говорят об этом среднем человеке среднего сословия. Как характерна, например, новелла «Свисток» из Сборника «Un poco solo» (по-русски—«Трагедия одинокого человека», изд. «Мысль»). Заработавшийся до одурения сознания бухгалтер, с'еденный без остатка службой и громадной семьей, превратился в машину и начальство им было доволью. Но вот однажды ночью, переутомленный и впавший в бессонницу, он услышал свисток поезда и этот простой звук извне вернул его к жизни, он вспомнил, что где-то есть земля, люди, солнце, пространство, по которому бегают стальные поезда, где кипит какая-то жизнь, открываются возможности передвижения, разнообразия собственного бытия и... его посадили в сумасшедший дом, т. к. он вышел из «нормального состояния» одуревшего и загубленного каторжной работой человека, от которого ничего не требуют, кроме механического труда. Жуткая новелла!

А как мучительно хочется жить и не той тусклой жизнью, которую навязывает судьба и близкие, всегда склонные видеть в слабом орудие для своих выгод, а своей особой, по личному желанию скроенной, жизнью! Если же этого нельзя сделать, если наступит момент, когда это станет очевидным, то выход только в смерти, ибо не стоит прозябать и тлеть годами, когда можно вспыхнуть и взорваться в один миг. Так поступает совсем молодая девушка Диди из рассказа «Длинное платье», которую отец и брат везут к чужому человеку, могущему ее купить за блага, пользоваться которыми будут эти черствые и нечуткие люди, отравленные ядом разврата и легкой наживы. В смерти же «из-за былинки» находит

выход и Томазино Унцио («Былинка»)—этот типичный современный нервный и непомирившийся в себе концов бытия человек.

Вообще смерть широко шагает по страницам творчества Пиранделло. Она царит над хаосом жизни, призываемая одними («Свет и тени», «Одинокие» и пр.), избавительница для других («Вторая шляпа» и пр.), но всегда как неизбежная, но своевременная развязка.

Социальное значение произведений Пиранделло настолько бесспорно, что не требует особых пояснений. Если писатель извлекает из гуши жизни самые трепетные, самые кровоточащие ее кусочки и ставит их под призму своего творчества, он этим делает большое социальное дело, показывая читателю наготу и ядро жизни, так как известно что художнику дано острее видеть, тоньше слышать и глубже чувствовать, чем обыкновенному человеку, ибо в этих особенностях художника лежит частично об'яснение того туманного понятия «талант», которое исчерпывающе едва ли может быть вскрыто.

Жизнь порой открывает такие лики, когда критерии становятся сбивчивыми и относительными. Оценить явление—значит установить к нему отношение с определенной точки зрения. А если этой точки зрения нет, если сознание неустойчиво и дробится?.. Мир покажется сумасшедшим домом, хаосом случайных сцеплений и безумным бредом. Страсти, раздвоенное сознание, болезненный релятивизм, навязчивые идеи и кошмарная беспорядочность бытия большого города характеризуют психику современного человека в буржуазном обществе. Мудрено ли, что персонажи Пиранделло мечутся между безумием и смертью.

Условия жизни ненормальны, буржуазный быт полон гримас и уродливых сплетений; предрассудки, религиозная одурь католицизма, приметы, условности и приличия сковывают бедное, слабое волей, потонувшее в противоречиях сознание человека современности. И если на него посмотреть с некоторого расстояния, чуть-

чуть подняться над средним уровнем жизни, не покажется ли ее гомон и вертящаяся топотанье сумасшедшим, безумным бредом?..

Пиранделло знает это очень хорошо. Поэтому в его коротеньких новеллах читатель находит такие осколки большого хаотического безумия. Пусть порой кажется странной концепция автора, она, если пристальней всмотреться, находит свое оправдание в действительности. Принятое, привычное, установленное—ложь, ошибка, которую следует испр...вить какой бы ни было ценой...

Обычно думают, что пасынки и падчерицы—жертвы отчимов и мачех. Сказки об этом говорят, песни поют, люди повторяют... Так ли это? Всегда ли и неизменно царят те же воззрения? То, что действительно в условиях одного хозяйственно экономического строя, должно ли иметь ту же значимость при всяком? На эти вопросы Пиранделло ответил новеллой «Нини и Нене». Жертвой падают отчим и мачеха, а дети в сущности не при чем, все дело в кумушках, в среде, в социальном окружении. И эта постановка проблемы наиболее правильная. Бедный учитель Эрмино дель Донцелло и его несчастная вторая жена Катерина—жертвы социальной нелепости, предрассудков и ограниченной болтовни кумушек, погубивших не только взрослых, но отравивших сознание и самих малышей. Рассказ только с первого взгляда кажется парадоксальным. По существу он имеет большое общественное значение.

Переход к большой форме у Пиранделло означает переход к большим психологическим и социальным проблемам.

Новелла требовала преодоления традиции, канона, роман давал свободный выход в большую литературу с неисчерпаемыми возможностями. Как и у Мопассана, у Пиранделло роман вырастает из другой линии традиций и из других влияний, чем их малая повествовательная форма.

Вот почему роман Пиранделло «Mat-
tia Pascal» не сцепление новелл, как

почти обычно у художников, начавших творческий путь с новеллы, а цельная, единая композиция, как у Мопассана.

В этом романе ощущается не только влияние органической литературной традиции итальянского романа, идущей от Алессандро Манцони, в свое время отразившего, как известно, всеильное влияние Вальтера Скотта, но и свежая струя русских влияний Л. Толстого и Ф. Достоевского.

«Маттия Паскаль» (в русском переводе «Дважды умерший») трактует фабулу «живого трупа», человека, временно умершего гражданской смертью. Чей-то труп был принят за тело Паскаля и похоронен, а живой носитель этого имени повел скитальческую жизнь в поисках «свободы», которую он понимал, как разрыв с условностями и привычной, надоевшей атмосферой той среды, в которой он жил до этого. Однако сознание слишком прочно сковано с условностями жизни вообще и, порвав с одними, оно не может завязать свободно и просто новых отношений без оглядки на те же условности. Невыносимо жить в атмосфере лжи. Подозрительность, оглядка, беспаспортность и гражданская бесправность человека без имени, записанного где-то в «бумагах», создали психологический круг в сознании Паскаля и ему нет другого выхода, как симулировать смерть вымышленного Адриана Мейса, этой маски, взятой на прокат, и вернуться к прежней жизни и прежнему имени. Пусть плохо быть Паскалем, но он все-таки человек, зарегистрированный среди живых. Мейс же решительно фикция, бредовый фантом, покойник, живущий без права жительства среди покойников с правом жительства... Что лучше?..

В то и другом случае круг заколдован: вырвавшись из одного, попадаешь в другой... Так уж лучше быть в том, где меньше нравственных страданий, которых вообще не избежать, ибо жизнь—безумие и ужас. Проблема, как видит читатель, поставлена «по Достоевскому». Влияние этого писателя проступает в романе не только в общей трактовке психологического сюжета, но и в отдельных мотивах. Так, игра в

рулетку, напряжение игрока, психология счастья и несчастья, везенья и невезенья, удущливая атмосфера игорного притона в Монако, слепая, ничем необъяснимая удача в игре Паскаля— все это насыщено Достоевским, непревзойденным мастером в подобных описаниях. Характерно, что именно эта сторона таланта Достоевского, почти в тех же приемах, повторяется в произведениях европейской писателей, касавшихся темы психологии игры. Во второй части трилогии «Ив ле-Труадек»—«М-сье ле-Труадек, предавшийся распутству», и Жюль Ромэн верен установившемуся канону.

Другой роман Пиранделло «Вертится»—опять в кругу тех же настроений и положений. Герой—кинооператор, маленький, несчастный человек, каким обычно рисует Пиранделло свои персонажи,—тоже не строитель жизни, а ее жертва, не сокол, а заяц с прижатыми к голове ушами.

Сюжетное построение романа обнаруживает большое мастерство художника, параллельно развивающего мотив двух аппаратов, только фиксирующих без всякого участия развертывающуюся ленту жизни: аппарат сознания молчаливого наблюдателя и обиженого судьбой кинооператора и настоящий киноаппарат, бесстрастно воспринимающий пеструю ткань с'емок в их условных, театральных эффектах при ослепительных искусственных солнцах—«юпитерах».

Где граница между настоящим и условным, между живым и сконструированным аппаратами?.. Все в жизни только отражение чего-то, какое-то мельканье неуловимых форм, запахов, настроений... Густая и мутная тина затянула некогда прозрачную поверхность озера жизни и гротескными изломами отражаются только маски в неясной его поверхности... Жизнь—безумие, организованное безумцами безумие,—так она воспринимается писателем. И если в ней есть динамика, если что-то в ней вертится, стремится куда-то и скачет, то знать этого никому не дано, никто не в состоянии установить незыблемую точку зрения, с которой и оценивать явления.

Пиранделло заражен философским релятивизмом, так безгранично господствовавшим в европейской идеалистической философии в последние десятилетия.

Как художник, он иллюстрирует свои положения от релятивизма материалом, зачерпнутым из жизни, и там, где он хватается ее трепетную ткань, он становится убедительным не потому, что он философ-релятивист, а потому, что он чуткий и отзывчивый художник. Социально-экономическое положение Европы в целом и Италии в частности дают благодарный материал для такого именно подхода. Творческая же переработка материала очищает крупницы золота от массы шлака.

Если художественная проза Пиранделло страдает некоторой тяжеловатостью стиля, обрывочностью композиции новелл и психологической перегруженностью романов, то театр его поражает архитектурной легкостью драматургических построений, живостью диалога, динамикой развертывающегося действия и крайним своеобразием драматической формы, которая отводит ремаркам место значительно большее, чем обычно принято. Ремарки у Пиранделло—это нечто от его прозы, от педантического стремления автора дать исчерпывающие указания актеру вести сцену так, как задумал ее автор. Это своеобразие сказывается еще и в построении пьес, требующем то бешеной головокружительной быстроты, то такого замедленного *lento*, что вся сцена построена на ремарках и паузах.

После Ибсена и Габр. д'Аннунцио театр Пиранделло обнажает еще большие сценические достижения как в смысле драматургическом, так и сценической воплощаемости. Не даром в американском Вавилоне—Нью-Йорке—строится особый театр, приспособленный к требованиям драматургии Пиранделло. Все современные технические достижения сцены как-будто не удовлетворяют тем особым запросам, с которыми подходит Пиранделло.

Не отрываясь по существу от традиции итальянского театра, Пиранделло

крайне оригинально ее преломляет тематически. В этом отношении он угадал какой-то большой комок спроса современного зрителя, пресыщенного и реализмом и символизмом, ищущего иных достижений, под другими масками могущих взвинтить его распатанные войной и послевоенным периодом нервы. Нет сомнения, что драматургическая тематика Пиранделло болезненна и гротескна. Уродливое, раздвоенное и неуравновешенное сознание европейцев сегодняшнего дня алчет терпкого вина и тяжкого опьянения в театре. Он не только должен как-то суггостивировать зрителя, он должен его взвинтить до предела, вывести его из привычного круга вещей и отношений, бросить в такую бездну или поднять на такую вершину, чтобы одинаково кружилась голова...

Пиранделло понял и оформил это требование зрителей и поэтому его театр так своеобразен.

Конечно, все его персонажи—безумцы. Сумасшествие вообще—главный герой всех его пьес, из которых наиболее показательной во всех отношениях следует считать комедию «Каждый по-своему прав». Она современна, во-первых, потому, что дает массовое движение, имеет установку на коллектив; население целого города вовлекается в спор трех героических персонажей, пытающихся внушить друг другу и один другому, что не он, а тот сумасшедший. Но так как каждый утверждает это относительно другого, то зритель совершенно теряет критерий и положительно запутывается в суждении о нормальности. Все—сумасшедшие, все втянуты в эту причудливую сеть умственной интриги и уличений настолько, что нет возможности отличить призрачность от реальности. Своеобразный «унанимизм», преломленный патологически исключительным мастерством Пиранделло. Во-вторых, эта комедия охватывает самую жгучую тему современности: нет вопроса сейчас в Европе более актуального, чем вопрос об «одряхлении» мира. Буржуазной Европе, под влиянием Шпенглера, кажется, что она стоит перед новой катастрофой культуры, перед кризисом цивилиза-

ции, дошедшей в своем развитии до края какой-то бездны, куда она свергнется, чтобы уступить место новому органическому нарастанию культурной целины. Пиранделло угадал волнующее значение этого вопроса, но не имел мужества сказать, что кризис самой буржуазии принимается за кризис мира. А ведь разница между этими величинами громадная.

Другие драматические произведения Пиранделло, идущие с головокружительным успехом на всех сценах Европы и Америки,—«Генрих, IV», «Все к лучшему», «Одеть тех, кто гол», «Шесть персонажей в поисках автора» и пр., касаются тех же тем и с той же остротой ставят ту же проблему «двойственности» субъективного и объективного сознания. Мир живет и движется на путях безумия к смерти.

Поразительна четкость приемов, с какой Пиранделло очерчивает свои персонажи. Несмотря на трудность задачи дать цельный образ носителю раздвоенного сознания, автор с необыкновенным мастерством рисует скользкие фигуры действующих лиц и достигает основного эффекта всякого художественного произведения — убедительности. Его персонажи не манекены, а маски. Чуть-чуть шаржированная действительность, выделенная за какой-то план, где нарочитость не шокирует, а волнует и будоражит нервы.

Этот привкус шаржа у Пиранделло проистекает от той тонкой, едва уловимой иронии, которой пропитано его творчество, драматурга в особенности, чувствуется, что автор знает больше того, что он говорит, что он улыбается про себя, зная такое, о чем нельзя сказать всем этим, пришедшим в театр, нервным зрителям. Пусть они угадывают, если могут, те затаенные мысли, символы которых так красочно и полно развертывает перед ними автор, всегда господствующий над материалом, всегда трактующий его слегка снисходительно, *иронически* в романтическом смысле. Вот эта-то недосказанность, неполнота, прикрывающая масками иронии какие-то глубины, не открытые и, может быть, безумно-бредовые, и рождает такой всеобщий отклик а

творчество Пиранделло в сегодняшней закатной буржуазной Европе.

Подводя некоторые итоги, мы далеки от мысли дать всестороннюю и исчерпывающую характеристику этого большого и бесспорно очень талантливого художника, да это и рано еще делать. Вероятно, Пиранделло покажет себя еще с какой-нибудь новой стороны.

Подыскивая определение его творчеству, мы склонны остановиться на таких эпитетах, как «упадочное», «декадентское».

Может быть, Пиранделло в самом деле потому так и силен, так и популярен, что он является громадным по таланту конденсатором настроений и переживаний большой группы, стоящей над бездной и мечущейся в безумном ужасе в поисках острых и напряжен-

ных эмоций. Пиранделло—художник буржуазного мира, писатель, синтезирующий раздробленное сознание современной буржуазной Европы, поставивший зеркало своего творчества перед лицом Горгоны, отразившейся в нем во всем многообразии ее распавшейся и разложившейся души.

В искусстве важно не только то, что выражено в творчестве художника, но и как оно выражено. Степень мастерства всегда была решающей меркой для определения длительности значения художника, для отыскания ему места в рядах «бессмертных» в пантеоне мировой литературы.

И в этом смысле Пиранделло—бесспорно один из крупнейших эпигонов, один из наиболее выдающихся завершителей литературы меркнувшего класса, мастер, заслуженно получивший билет в пантеон литературной славы.

3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О ШЕКСПИРЕ ¹⁾

Ник. Смирнов

Более трехсот лет отделяет нас от выхода первого полного собрания сочинений Вильяма Шекспира. Посмертное собрание сочинений Шекспира in folio—«Комедии, истории и трагедии, публикуемые с подлинных оригиналов»—появилось в Лондоне в 1623 г. Издание было выполнено с исключительным великолепием—деньги на него дали родовитые аристократы, братья Пемброк, тщательно проредактировано драматургом Бен-Джонсоном, сопровождено его же стихами - эпитафией, и портретом, гравированным Дройшютом.

Этот портрет, впоследствии приложенный к лучшему русскому изданию Шекспира (Брокгауз-Эфрон, том V), поражает своей странностью: на нем изображен человек, одетый в какое-то карнавально-женское платье, совершенно выпадающее из стиля эпохи, и с лицом, тронутым блеклой мертвенностью черт, только глаза выразительно, умно, и как бы вопросительно

смотрят на читателя. Особенно странно на портрете—четкая линия, параллельная щеке, идущая от левого уха к подбородку. Странно звучат и стихи Бен-Джонсона. Вот отрывок из них в точном переводе: «О, если бы только он (художник) нарисовал его душу так же хорошо на меди, как он *спрятал* его лицо»...

Несомненно, что гравюра Дройшюта изображала человека, скрытого под маской, а стихи посвящены памяти того, кто скрывался за ней, и чье имя окончательно не разгадано и до сих пор.

«Шекспир», творец величайших художественных созданий—загадка истории. Во всяком случае, их творцом не мог быть невежественный мещанин, элементарная грамотность которого далеко не установлена и неизвестна. Его духовное завещание, написанное, как утверждают исследователи, писцом, «зарукоприкладствовано» чрезвычайно оригинально: под ним, вместо подписи, стоит точка (.)—знак, имеющий то же значение, что и традиционный крест в наших русских деревнях.

¹⁾ В. М. Фриче.—«Шекспир». ГИЗ. (Критико-биографическая серия). Москва—Ленинград. 1926 г. Стр. 114.

Над раскрытием шекспировской тайны уже давно работают мировые литературоведы. В результате этих изысканий мы имеем ряд «открытий», гипотез и догадок. Из них, прежде всего, заслуживает внимания гипотеза Гарта, Кольриджа и Делии Бэкон, остановившихся на известнейшем философе и естествоиспытателе эпохи Елизаветы Тюдор—Фр. Бэконе, как авторе «шекспировских» произведений.

Гипотеза Гарта и др. в свое время наделала много шума и полемики в мировых литературно-исследовательских кругах. Делия Бэкон, непримиримо настаивавшая на своем открытии, кончила тем, что, проводя целые дни на могиле Шекспира (в Стрэтфорде), психически заболела. Противники открытия на протяжении десятилетий (стоит вспомнить статьи Г. Брандеса или хотя бы проф. Стороженко) столь же непримиримо защищали и «реабилитировали» развенчанную «великую тень». Однако их словесные фейерверки не осветили тьму исторически-литературной тайны, они пускались при солнечном свете, а их полемические заряды били по призрачной цели: Бэкон, как окончательно выяснено, не был «Шекспиром».

Но им не мог быть и Шекспир из Стрэтфорда, над могилой которого в первые десятилетия после его смерти была изваяна статуя изможденного крестьянина с мешком шерсти в руках. Подлинным «Шекспиром» был кто-то другой. Кто же он, этот «другой, ведомый избранник», называемый на своей родине «Лебедем Эвона»?

Позднейшая гипотеза бельгийского литератора Дамблона (1912 г.)—почти верная и точная отмычка к раскрытию трехвековой тайны. Дамблон, а за ним многочисленные ученые и историки мира считают автором шекспировских произведений Роджэра Ретлэнда. Книга В. М. Фриче знакомит с биографией Ретлэнда (впрочем, уже известной русскому читателю по работе Ф. Шипулинского «Шекспир-Ретлэнд», изданной ГИЗ'ом в 1924 г.), а, вместе с тем, дает марксистски-четкий анализ творчества Шекспира в свете гипотезы Дамблона.

Роджэр Ретлэнд—один из знатнейших и образованнейших аристократов, друг Эссекса, казненного королевой Елизаветой, и Соутгемтона, спутника Эссекса. Ретлэнд родился в 1576 г. в родовом замке, в Ланкаширской области, через которую протекает чудесная река Эвон, провел свое детство в древней тишине огромных зал, рощ и лесов. По соседству с родовым замком Ретлэндов начинается знаменитый Шервудский лес, связанный с народными воспоминаниями о легендарном Робин-Гуде. Ретлэнд до конца своих дней не порывал связи с замком, он, наоборот, всегда стремился к его тишине, много охотился, и недаром в некоторых его произведениях («Сон в летнюю ночь», «Как вам это нравится») так чувствуется мягкий лесной запах и поразительное по тонкости чувство и знание охоты (хотя бы стихи: «Вдруг клик охотничий—так звонко! О, этот звук!»—из «Венеры и Адониса»).

Мы не имеем возможности излагать в рецензии биографию Ретлэнда. Отметим только, что он учился в Италии (Падуя), участвовал в заговоре Эссекса, а после востшествия на престол сына Марии Стюарт, Иакова, был в числе приближенных ко двору и даже ездил по поручению короля в Данию, как глава посольства по случаю королевско-семейных празднеств. Как частность, упомянем, что вскоре после поездки Ретлэнда «Гамлет» вышел вторым изданием, в совершенно переработанном виде—он был переработан на основании личных впечатлений Ретлэнда от поездки в датское королевство. Ретлэнд скончался в 1612 году—после 1612 г. не появилось ни одной «шекспировской» пьесы, в то время, как Вильям Шекспир жил до 1616 года.

Верность традициям (литература считалась занятием, недостойным аристократа), а, отчасти, политические соображения—пьеса «Ричард II» была памфлетом на королеву, «рыжую кошку с ястребиной физиономией»—заставили Ретлэнда скрыть свое имя за псевдонимом Шекспира, что, в дословном переводе, означает «Потрасатель копыя».

Как мы уже указывали, книжка В. М. Фриче дает, наряду с биографией

Ретлэнда, и последовательно-четкий марксистский анализ шекспировского творчества. Такой анализ, логически дополняя биографию Ретлэнда, всемерно укрепляет гипотезу Дамблона.

Роджер Ретлэнд жил и творил в переломную эпоху, в эпоху заката феодализма и расцвета буржуазии. Его творчество окрашено — в смысле известных тем и настроений — отблеском того золота, которое сверкало в пригоршнях упорного и настойчивого капиталиста-пуританина, нового завоевателя жизни. «Сочетание этих двух противоположных и, в значительной степени, враждебных социальных стихий и составляет собою художественный мир шекспировских произведений». Это основное утверждение В. М. Фриче доказано им с очевидной и убедительной ясностью.

Ранние пьесы Шекспира, за исключением исторических хроник, воспроизводят жизнь, как праздник, насыщенный глубокой полнотой счастья («Сон в Иванову ночь», «Укрощение строптивой», «Много шума из ничего» и др.). Дальнейший период его творчества отмечен непрерывным нарастанием мрачности, пессимизма, меланхоличности. Впервые эти мотивы прозвучали в «Венецианском купце». Здесь, в истории борьбы Антонио, сына усадебной культуры, и Шейлока, представителя созидательно-ростовщической буржуазии, — налицо социальная борьба двух миров, если и кончающаяся по пьесе победой старины, то победой временной, непрочной: тень грусти по-прежнему омрачает лицо «царственного купца» Антонио. Особенно усиливаются эти мотивы в «Гамлете», «Лире», в «Тимоне» и «Кориолане». Меланхолия Антонио постепенно обращается в подлинное человеконенавистничество Тимона, с отчаянием проклинающего новый бытовой уклад, и завершается ненавистью Кориолана, война, изменяющего родине в борьбе за политическое господство своего класса.

Характеристики всех этих пьес, несмотря на свою краткость, даны В. М. Фриче с мастерской тонкостью. Яркий разбор и величайшего достижения Шекспира — Гамлета. В. М. Фриче определяет Гамлета, как человека мысли, а не

шпаги, соединяя его образ с той деформацией в среде феодальной аристократии, в силу которой часть ее превращалась из военно-земледельческой касты в интеллигенцию. Другое, не менее гигантское достижение Шекспира, прощальная его пьеса, его поистине лебединая песня — «Буря» оценивается В. М. Фриче, как «идея колонизаторской миссии английской нации в лице ее господствующего класса — феодальной знати».

Книга В. М. Фриче, в частности спорная, — ценная книга. Несмотря на свои стилистические погрешности («так, дикарь Калибан незаметно превращается в трудовые классы цивилизованного общества», стр. 111), она написана увлекательно-живым языком и в то же время отличается строгой научностью.

Книга — новое доказательство правоты Дамблонской гипотезы, новое подтверждение того, что Ретлэнд — подлинный создатель произведений, известных под именем Шекспира и навсегда вошедших в сокровищницу мировой культуры.

Принимая гипотезу Дамблона, т. е. считая Шекспира Ретлэндом, не следует забывать и Шекспира из Стрэтфорда, ибо, Ретлэнд, несомненно, знал его.

Вильям Шекспир, «подставное лицо» Ретлэнда, начал свою карьеру в одном из лондонских театров, в качестве грума, сторожившего лошадей аристократов, приезжавших в театр верхом. Потом он устроился актером в театре «Глоб», постепенно превращаясь в дельца, предпринимателя, слегка напоминающего Шейлока. Он скупал дома и земли, занимался торговыми сделками и ростовщичеством, беспощадно преследуя несостоятельных должников и их поручителей. Вместе с тем, этот делец не был лишен и некоторых, очень небольших, литературных способностей: он неоднократно исполнял немаловажные литературные задания поручителей-аристократов (эпиграммы и пр.), весьма далекие «от дарования и стиля подлинного Шекспира».

Подлинный Шекспир, Роджер Ретлэнд, поручил ему заботы о печатании и постановке своих произведений. За все эти услуги В. Шекспир неодно-

кратно получал крупные суммы денег (об этом имеются записи в архивно-семейных книгах замка Бельвуар, родового владения Ретлэнда), и другие подарки. Так, например, в 1599 году он добился от геральдической комиссии, возглавляемой другом Соутгэмтона и Ретлэнда, гр. Эссексом, дворянского герба—с копьем и девизом («не без права») на старо-французском языке. Под девизом «не без права» следует по-

нимать вымогательство,—Шекспир додывался дворянского герба с долгой и страстной настойчивостью.

Кроме того, актер и стяжатель Шекспир, над могилой которого в настоящее время возносится статуя «мещанина во дворянстве» с гусиным пером и листом бумаги на бархатной подушке, оставил свой след и в творчестве Шекспира-Ретлэнда. Он увековечен в образе Фальстафа.

4. ВЕХИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КИНО

(От «Кино-Правды» до «Броненосца Потемкина»)

Хрисанф Херсонский

Прием «Броненосца Потемкина» за границей подтверждает наши успехи в овладении техникой кино и еще более говорит о крупной победе революционного художественного метода, внесенного нами в кино-искусство,—метода дотоле неизвестного Западу и Америке. Берлинские газеты в один голос признают, что «Потемкин» выявляет, в новой художественной форме, новое для кинематографии революционное содержание (мировоззрение, идеи). Революционный эпос «Потемкина» выражен в композиции, приемы которой «должно быть воспитаны при помощи коммунизма».—«Мелким и литературно не имеющим ценности массовым фабрикатам, которые наводняют кинематографы всего света, начинает противостоять мощный соперник—русский фильм-«агитатор». «Сильное, настоящее воодушевление, подлинное страдание, вера, действительный энтузиазм содержания передается публике и гораздо сильнее действует, чем наименьшие расчеты так называемых «мастеров» режиссуры», («Фильм-Курьер», «Фильм» и то же в др. газетах).

Победа «Потемкина» имеет для нас значение проверки и признания, что в искусстве кино мы достигли уже вполне самостоятельных успехов. «Потемкиным» в постановке С. Эйзенштейна подводится первый крупный итог нашим начинаниям. На этой ступени своевременно будет проследить основные вехи нашего пути, приведшего к со-

зданию «Потемкина» и открывающего перед нами еще далее горизонты, неизвестные фабрикатам буржуазной кинематографии. Неизвестные там до сих пор потому, что такие художественные явления складываются у нас под влиянием социальной революции. Иной общественный быт,—иная идеология всей культуры. В искусстве кино, как и в остальных искусствах, организующей и направляющей силой являются новая общественная техника и социально-революционное мировоззрение. Отсюда выдвигаются не только новые темы, но и новые методы и свои художественные приемы.

* * *

За 30 лет со дня изобретения кинематографа он воспитан буржуазией Франции, Германии и Америки в духе житейской философии своего обывателя. Национальные различия не тормозили широкого распространения и влияния кино, ибо зрительный язык кино интернационален. Идеология буржуазии за последние полтора десятка лет распространяла свое мировое влияние особенно успешно через кино. В этом деле кино опередило другие искусства, служащие для культурной связи. Опережает даже литературу. Поток кино-зрелища охватывает весь мир, и уже сейчас число посетителей кино, приблизительно, исчисляется ежедневно в 60.000.000 человек. Кино по своей природе общедоступнее книги,

театра, музыки, живописи и шире охватывает массы.

Ролью кино, как средством культурной связи и влияния в человеческом обществе, определяется его активное социальное значение.

Известно, что кино развращает подростков, питает рост преступности; определенную категорию буржуазных кино-картин мы не даром называем «академией бандитизма». Но не только «бульварные» пошлые кино-картины являются для нас классово-враждебными. В лучших художественных произведениях классовая идеология обладает тем большею силою, чем искусство и острее отточено ее художественное и оружие. Тем вкрадчивее проникает идеология в сознание зрителя. Чем непосредственнее эмоциональное воздействие, тем оно искуснее действует. Кино-картина построена из возбудителей, которые методически, последовательно и повторно вызывают у зрителя рефлекс за рефлексом. Воздействуя в одном направлении и создавая привычку, кино-картины, руководимые определенной идеологией, делают исподволь свою прививку зрителю, приучают и дрессируют его подсознательное и его сознание. Исподволь создается привычка к определенному строю мировоззрения. Чем ярче и методичнее эмоциональное воздействие, тем сильнее эта дрессировка. От ее влияния нелегко избавиться даже при остром критическом отношении.

Культура буржуазно-феодалного строя проникнута дуализмом. Сознание раскалывается между «небом» и «землей», между «душой» и «телом», между «высшим» и «низшим», между грезой мечты и тяжелыми буднями. Такая философия вполне своевременно обслуживала строй эксплуатации «высшими» классами «низших» классов. Надо было отвлечь энергию огромного большинства прочь от социальной борьбы, парализовать его сознание и направить либо в мечтательное уютное успокоение, либо за сказочной «синей птицей».

Интеллигенция господствующих классов, в массе своей, естественно не хотела рубить тот сук, на котором держалась, она предпочитала глядеть на

землю свысока, а мечтами уноситься в «высшее»—отвлеченное фантазирование. Она играла роль того обманщика, который, отвлекая внимание садовника, кричит ему «гляди на небо», а сам ворует его яблоки. Правильно будет назвать не только религию, но и многие продукты искусства, созданные идеологией этого строя, также «опиумом для народа».

Его мы наблюдаем каждодневно в массовых фабрикатах заграничной буржуазной кинематографии.

Для фотографии жизни, для кинохроники, отводится парадный под'езд торжественных церемоний, утверждающих мощь государственной власти, моды платья, натурные пейзажи, виды на море, скачки, портреты министров и премированных собак. В иную жизнь и в глубь жизни эта хроника, конечно, не «опускается». Материалистический строй общественной жизни, ее диалектика, ее классовая борьба и органические каждодневные социальные процессы—это то, от чего современная буржуазная кинематография отворачивается.

Наше материалистическое и монистическое мировоззрение не могло не породить своих художественных методов. Методы эти в кино зародились сначала в «низшей» и малой форме искусства—в кино-хронике. Почему именно здесь?

Да потому, что «хроника»,—т.-е. наблюдение жизни такую, как она есть,—диалектика фактов сегодняшнего дня,—представляет самый ближайший и непосредственный интерес для революционного деятеля. Это конкретная реальность, которую мы живем и которую мы строим. Хроника революционного дня занимала наше сознание, нашу волю и наши чувства. Реальное творческое строительство нашей жизни, день за днем,—вот широкая тема, обновленная и раскрытая вновь революцией и продолжающая раскрываться все глубже и шире в борьбе за новую культуру, за социализм. В этом смысл и пафос нашей эпохи.

Навстречу этой теме, в кино вышел первым отряд «киноков», во главе с Дзигой Вертовым.

Характерно, что это течение возникло как раз тогда, когда новой литературы

в советской России еще не было. Мы жили вместе с газетой. В строчках газетной хроники, в листовке, плакате, брошюре, стенной Росте—были заключены и эпос, и лирика, и героика, и быт массы. И перед каждым, каждую минуту стоял вопрос «быть или не быть», надо было решать без гамлетовских колебаний, решать и действовать.

Все действие, все сознание перенесено на реальный быт.

Киноки стали демонстрировать революционный быт.

* * *

Первыми заметными работниками киноков были номера «Кино-Правды».

«Кино-Правда» выростала из старой хроники. В первых номерах киноки вынуждены были пользоваться случайным, эпизодическим материалом, снятым помимо их воли и без плана. Этот материал с трудом удалось только слегка по-новому конструировать в последовательный номер кино-журнала. Затем с'емка эпизодов стала производиться планомерно, технически отчетливее. Эпизоды стали склеиваться, монтироваться тематически, увязываясь в социально-обобщающие темы. Постепенно росло умение и назревала необходимость приступить к с'емке и композиции по этому методу больших картин. Последовательной ступенью после первых опытов явились выпуски со второго десятка номеров «Кино-Правды» и «Кино-Глаз».

Дзига Вертов неуклонно прокламировал и осуществлял принципы своей программы. В них выясняется социальный замысел и присущие этому замыслу свои художественно-технические приемы.

С'емка кусочков жизни, захваченной на месте врасплох, такую, как она есть. Без наигрывания, без режиссуры, без актеров и декораций.

Склейка-композиция заснятого фактического материала или, как говорят сами киноки, организация материала в экстрактах зрительных наблюдений. В этом «экстракте» киноки стремятся показать непосредственный производственный процесс, органическое форми-

рование данного явления, факта, эпизода жизни. Постепенно композиция отдельных явлений в связанную закономерную цепь, в систему явлений, вырастает в рассказ о большом социальном процессе, в картину обобщающего широкого охвата.

Формальные средства киноков заключаются только в свойствах с'емочного кино-аппарата и в возможностях монтажа. Ничем больше киноки не пользуются, отмечают все остальные приемы театральной («игральной») кинематографии.

С'емочный кино-аппарат служит им для изошрения нормального физического зрения человека путем добавления к нему оптических и технических усовершенствований кино-«глаза». Он ведет и останавливает наше зрительное внимание на точно выбранных деталях, выловленных неожиданно и разнообразно из наблюдаемого явления.

В обыденной жизни мы имеем привычку и ограниченную возможность наблюдать явление только с немногих постоянных точек зрения, в его общем поверхностном виде. Кино-«Глаз» быстро рассматривает предмет со всех возможных сторон, в любом ракурсе. Если надо для остроты зрения—то нормальное движение, происходящее в жизни, будет на экране расчленено, разложено в пространстве и во времени, раскроется, как медленная последовательная смена статических моментов. Если надо—предмет нашего обозрения будет увеличен. Смену движений можно показать в обратном порядке.

Процесс производства того или другого жизненного факта или вещи можно показать с исчерпывающей полнотой, применив метод систематического зрительного исследования. Кино-глаз преодолевает инертность материала, преодолевает время и пространство. Между прочим, на этом свойстве кино, особенно на преодолении времени, основано широкое применение кино в науке, для исследования многих явлений, не улавливаемых невооруженным глазом.

Набрав фактический материал, наблюдаемый в жизни, киноки организуют его в «кино-вещь», в картину, в фильм. Для этого служит монтаж, как

средство сопоставления отдельных моментов и деталей. Монтаж—организует материал. Еще до с'емки составляется с'емочный план. Обычно у режиссеров он точно записывается в сценарии, у киноков общий план тоже составляется заранее, но существенная детализация, иногда совершенно меняющая план, происходит в процессе с'емки на месте, в зависимости от фактического материала.

Неверно утверждение С. Эйзенштейна, что киноки показывают *пантеистически статистику* жизни. Правильнее наблюдение тов. Осинского (№ 1 «Правды» за 1925 год, фельетон «Литературный год»), который говорит про «Кино-Глаз» так: «беру свою социальную волю, связывая ею те картины, которые хочу наблюдать... и получаю новый тип картины, которой не было до революции и не может быть за ганицей». Осинский ставит «Кино-Глаз» в пример и поучение писателям»... Исходить он (новый писатель) должен от воли рабочего класса (это вовсе не «воля не видеть», как думал Пильняк,—это «воля преодолеть и поставить на своем», воля переделать жизнь), он должен, может быть, в первую очередь быть публицистом».

Киноки руководятся самим движением нашей общественной жизни и прислушиваются не к чьему-либо индивидуальному вкусу и не к обывателю, а к рабочей массе. Вертов говорит: «Мы выполняем задания не одной, хотя бы коммунистической, головы, а руководствуемся постановлениями с'езда РКП, резолюциями Коминтерна, директивами Совнаркома, лозунгами прессы, письмами рабкоров... и других, лучших сценариев нам не надо».

В частности, в первой серии «Кино-Глаза» затронуты такие темы: 1) новое и старое, 2) дети и взрослые, 3) кооперация и рынок, 4) город и деревня, 5) тема хлеба, 6) тема мяса, 7) тема здоровья и бодрости, борющаяся с социальной бедой, обнимающей: самогон, карты, пиво, «темное дело», нищету, кокаин, туберкулез, сумасшествие, смерть.

Правда, в этой первой серии «Кино-Глаза» еще заметно, что стихия фактического материала владеет Вертовым,

а не он ею. Но Вертов последовательно овладевает своим материалом. У Вертова есть «детские болезни», болезни роста. Любопытство иногда преобладает над любознательностью, прельщение внешней занимательностью преобладает часто над социальным смыслом показываемого, оригинальничание формы над простотой и популярностью. Все эти увлечения *новинкой* понятны и естественны на первых шагах, особенно в пылу своего противопоставления старой и классово-враждебной кинематографии.

По существу, в этом противопоставлении мы наблюдаем еще ряд признаков нового в кино революционного мировоззрения. Сюда надо еще отнести:

Отношение к человеку, как к участнику социальной среды, как к носителю общественной энергии и культуры.

Киноки организуют работы в кино «наблюдателей», лаборантов и учеников-подмастерьев исключительно в кружках комсомольцев и пионеров, передавая свое умение, идею и опыт активу рабоче-крестьянской молодежи. Когда киноки показывают на экране отрицательные явления жизни человека, они не склонны сопереживать с ним в тупике его личных настроений, но стремятся показать социальные причины и следствия явлений.

Зритель всегда эмоционально втягивается в сопереживание с действующими лицами кино-картины. Водителем зрителя является режиссер, мировоззрение режиссера. Картины киноков стремятся воспитывать в зрителе активный критический социальный подход к личности человека и к коллективу.

Такое же мировоззрение киноки обнаруживают и в отношении их к вещи. Буржуазно-мещанская философия относилась к вещи с тем же своим дуализмом. С одной стороны, ее мир был во власти вещей, под их гнетом. Эстетика создала любование вещью, преклонение перед ее внешностью. Интеллигенты бунтари жаловались вна ещность буржуазной культуры, в их глазах выхлудило, что вещи поработили «свободную» волю метафизической души. В обоих случаях вещи идеализируются—это фе-

тиши. Пленительные или губительные, они наделяются чувственной и мистической силой. Это культ вещи, фетишизм вещи. У киноков вещь—участница производственного процесса культуры, вещь—средство и продукт коллективной борьбы с природой и коллективного строительства социализма. Это не дуалистическая борьба духа и вещи и не религиозное искупление вещи и человека в метафизическом сверхнатуральном «астральном» плане. Киноки смотрят на мир, как на диалектически развивающийся производственный процесс.

«Кино-Правда» и «Кино-Глаз»—это активное агитационное публицистическое течение в кино, идущее в ногу с нашим мировоззрением и осуществляющее себя в новых формальных средствах кино-искусства.

Киноков совершенно напрасно отмежевывают от искусства. Лозунг их «против искусства» следует понимать, как побуждение вести борьбу не с искусством вообще, а с определенным течением в искусстве, которое является «опиумом для народа». Эта борьба не за пределами искусства, а в самой среде искусства, борьба двух социальных и художественных мировоззрений. Киноки выступают против мистического «жречества», против идеализма в искусстве, против дебрей театрализованного «бездельного» измышления и «поклонения богу художественной драмы», против фальши в наигрывании отвлеченных от реальной жизни вымыслов, против дуализма, за реалистическую по форме и материалистическую по идеологии кино-правду. Но работа киноков остается работой искусства.

Утверждая примат действительного над иллюзорным, они все же «искусственно», по своей воле оформляют и конструируют фактические материалы этого действительного в тематическую художественную композицию (агит-вещь), а в этом и заключается искусство.

Вертов пятится от обычных приемов театрального искусства, но, поскольку он двигается вперед, он принужден быть искусником. И он талантливый

мастер искусства, хотя обедняет и ограничивает свои формальные средства выбором узкого пути. Но этот путь, благодаря своей новизне, современности и прямоте мировоззрения не мог не оплодотворить смежных течений кинематографии. И если сам Вертов не снимает всей жатвы своего посева, а предпочитает продолжать вспахивать целину как трактор, то в этом и его положительная роль и ограниченные возможности. Жатва, все равно, должна быть снята.

Различные формы и течения искусств всегда взаимно обогащают друг друга. Для нашего времени характерно, что так назыв. малые формы искусства поднимаются до более крупных и оплодотворяют их новыми приемами. За последние годы, годы революции, мы наблюдаем, как цирком оплодотворен новый театр, плакатом—живопись, газетной хроникой и фельетоном оплодотворены беллетристика и драматургия, уличной народной песней—революционная поэзия и т. д. Это происходит потому, что малые формы искусства—демократичны и непосредственнее чувствуют биение пульса нового дня, быстрее схватывают его темы и краски. Они первые отвечают на новые злободневные запросы художественного инстинкта масс, первые оформляют новые мысли и мелодии. Они ближе к «текущему моменту». Лирика, героика и эпос дня находят в них свое первое непосредственное выражение. Когда злободневное обобщается, когда уже отстаиваются эпохальные социально-культурные слои жизни, тогда волна доходит и до крупных композиций, менее подвижных, более устойчивых и консервативных. Темы времени становятся классическими, новые краски и художественные приемы, найденные «внизу», обновляют устаревшие каноны Парнаса. Социальная революция несет в искусство свою демократичность.

«Кино-Хроника» и «Кино-Глаз» первые понесли в себе новую революционную волну и передали ее более сложным художественным композициям. Происходит ассимиляция методов и тем, добытых «малым искусством».

* * *

Богатую жатву с распашки Д. Вертова снял С. М. Эйзенштейн своей «Стачкой» и затем «Броненосцем Потемкиным». Он использовал достижения методов Вертова для большой художественной композиции-инсценировки. Исторические темы «Стачки» и «Броненосца» он развернул в широкие полотна о событиях исторической революционной эпопеи. Глубокое дыхание борьбы масс, пробуждение и рост революционного пролетарского движения, мощное развитие социального процесса, первые родовые схватки русской революции — переданы С. Эйзенштейном на экране так убедительно и с таким сосредоточенным энтузиазмом, что правы фашисты, бьющие в набат. «Броненосец» в Европе возбуждает массы к революции! «Стачка» и «Броненосец» наполнены огромной волей к жизни и к революции. Михаил Кольцов в «Правде» верно отметил, что еще в «Стачке» проявлено большевистское отношение к жизни и вещам. Агит-идеология содержания вылита С. М. Эйзенштейном в мастерскую художественную форму.

«Стачка» — первая из этих двух фильмов, ставших, после работ Д. Вертова, новыми вехи советского эволюционно-го кино.

В историческом показательном типе рабочей стачки на русском заводе в эпоху царизма, были обследованы и рассказаны: закономерность социального конфликта и формирование массового пролетарского действия. В материалах исторической хроники были вскрыты основные социальные действующие силы. Процесс нарастания и разрушения стачки показан как производство общественного действия. Для художественной обобщающей картины Эйзенштейн использовал методы хроники и методы «производственной» фильмы. В «Стачке» действует коллектив массы, а не отдельные герои. Картина по возможности приближена к заводу. Люди и вещи действуют как участники слитного общественного процесса. Не привносимая обычно фабула, а сам реальный материал двигает и развертывает динамику событий.

Сами рабочие, не актеры, убеждают

зрителя естественностью своих переживаний и даже внешний облик их говорит многое, что трудно сказать актеру. (Экран убеждает непосредственностью социально-биологических типов, разоблачает маску грима.) Многие профактеры, введенные в ряды рабочих «Стачки», пришли с С. Эйзенштейном из Пролеткульта, они сами из рабочей среды и близко роднятся с массовым окружением. Некоторая театрализация их игры была открыто признана самим Эйзенштейном, как беда его «Стачки». Он даже заявил (на беседе в АРК), что стремится в будущем работать без профактера.

Эти методы идут по одному руслу с «Кино-Правдой».

Но Эйзенштейн не ограничивает своих приемов так узко, как Д. Вертов. Вертову недоступно все то, что не могло быть поймано кино-хроникой непосредственно из жизни. Вертову недоступно ни прошлое, ни будущее. Недоступно и многое происходящее сегодня вне поля зрения кино-хроникеров. Вертову, с его бедным материалом, чрезвычайно трудно развернуть сюжетную композицию на какую-нибудь свободно выбранную тему. У него нет под руками разнообразия материала и не может быть широты и гибкости тем. Тут Эйзенштейну приходит на помощь пользование художественными приемами театрализации, от которой он не хочет отказываться. Искусство с его бесконечным разнообразием приемов, искусство образов, символов, условного театра, выдумки, инсценировки и иллюзии смело использовано Эйзенштейном. Взяв лучшее от кино-правды Вертова, Эйзенштейн свободно черпает и из возможностей художественной иллюзии, создающей свою преображенную жизнь, — художественную правду о жизни. Вертов не хочет ничего выдумывать, а только увидеть и показать. Но, увы, — с'емочный аппарат кино-хроникера пока не все видит, не все может доказать.

Эйзенштейн ставит своей целью наиболее сильное воздействие на зрителя и достигает в этом лучших результатов. Он свободно деформирует материал и активизирует его художественными

приемами. Он властно наступает на зрителя и агитирует не только готовыми фактами, но и художественной выдумкой. Сила искусства не в сфотографированном материале из жизни, а в самом искусстве выразительно воспроизвести жизнь. Искусство не только «зеркало жизни», но и создание жизни. Вертов остановился на примитиве искусства. Он талантливо доказывает, что из этого примитива можно искусно сделать многое. Пусть так, но это лишь одна из немногих возможностей. Из этого не следует, что нам необходимо пренебрегать и остальными, более сложными формами.

«Стачка» была сделана по пути внесения в ряд приемов прежнего художественного кино ряда новых приемов из других видов искусства. Вертов внес метод производственной картины в хронику. Эйзенштейн перенес его в художественную картину. Вертов развил ориентировку зрения кино-аппарата, наблюдательность к фактическому материалу, искусство монтажа деталей, диалектический показ темы. Эйзенштейн использовал эти успехи и еще внес ряд достижений новых течений современной живописи и театра.

Влияние новейшей живописи сказывается, между прочим, в том, как свежо и ярко Эйзенштейн строит конструктивно композицию каждого кадра, в чем ему сопутствует талантливый оператор Эдуард Тиссе.

Влияние «левого» нового театра сказалось в перенесении в кино из театра приема, названного Эйзенштейном «монтажем аттракционов».

Эйзенштейн сознательно выбирает материал художника с общественно-утилитарной точки зрения. Взвешивает, какое эмоциональное воздействие на зрителя производит каждое сопоставление деталей. Таким образом материал берется и тематически и формально под социально-психологический учет, — проверяется степень нажима определенного эффекта на эмоцию зрителя. Аттракцион достигается сопоставлением, сочетанием отдельных показываемых моментов. Ассоциативным монтажом, т.-е. сознательной композицией цепи аттракционов достигается

последовательное тематическое воздействие на зрителя в определенном направлении.

Этот метод художника применяется, в большей или меньшей мере, всегда и во всех искусствах. Но обычно художник следует ему интуитивно и далеко не всегда четко помнит о цели и способе воздействия на зрителя, — творит как бы «сам для себя». Эйзенштейн вносит в свою работу больше сознательного проверенного расчета на зрителя, чем личных настроений. Вдохновение, угадывание ошупью, вслепую, не видя зрителя, заменяется системой открытой борьбы со зрителем, лицом к лицу, быстрой и точной, как эмоциональный механизм, — это механика рефлексов.

Успех его мы видим в «Стачке» и особенно в «Потемкине».

Эйзенштейн начал применять «монтаж аттракционов» в театре (в Пролеткульте). Но кино дает для ассоциативного монтажа больше возможностей, чем театр. Больше разнообразия в выборе демонстрируемого материала и более гибкие и разнообразные приемы самого монтажа. Для Эйзенштейна его путь из театра в кино был логическим последовательным развитием его формального метода.

При монтаже ассоциаций зрителя надо помнить о том, что одни и те же вещи и действия вызывают разные эмоции у зрителей различных по социальным и бытовым категориям. Успех воздействия аттракционов и стало быть идеологический результат воздействия будет различным у разных зрителей.

Так, например, «Стачка» вызвала разноречивый прием. Она была недостаточно популярна. Эксцентрический эстетизм Эйзенштейна, чрезмерно привнесенный местами в суровую и простую тему рабочей борьбы, не был принят и прозвучал досадным отступлением.

На общественном просмотре «Стачки» мы спросили Эйзенштейна, для кого сделана «Стачка» и что будет он делать дальше? Эйзенштейн мужественно ответил, что «Стачка» сделана еще не вполне для пролетариата, но ему было необходимо для своего первого опыта

сделать ее такой. Что он стремится избежать чрезмерный самодовлеющий эксцентризм и эстетизм. Что, проверив себя на «Стачке» и «Стачку» на зрителе, он будет затем делать вещи популярные для пролетариата.

Второй его кино-работой явился «Броненосец Потемкин» — часть исторической эпопеи русской революции 1905 года.

В замысле «Потемкина» было заложено не траурное поминовение разбитой первой русской революции. Для нас в воспоминаниях о пятом годе лежит другой смысл. Торжество октября обязано пятому году, как натиску пред'октября. Не скорбь, не печаль, но радость борьбы и завершенной победы объединяет годы 1905 и 1917. Естественно, что поэтому основным тоном в «Потемкине» явился бодрый под'ем, утверждение жизни революции, а не уныние от временного поражения. Расстрел на одесской лестнице, смерть матроса Вакулинчука, сомкнутый строй солдатских сапогов царизма, топтавших кровь пролетариата на камнях мостовой, не сломили духа революции. Поэтому фильма кончается проходом «Потемкина» с алым знаменем сквозь царскую эскадру, взорванную радостным криком, вырвавшимся у объединившихся братски матросов. Печальный исторический конец славного броненосца не показан. Из хроники исторического эпизода выявлено то, что тесно связано кровью, борьбой и волей к победе: события пред'октября пятого года с октябрём семнадцатого. Из исторической хроники сознательно рассказано не все, не все передано совсем точно, но выявлен смысл эпохи, ее социальная динамика, ее глубокое дыхание. В сжатом мощном действии сосредоточенно рассказано единство революции, объединяющей сложный комплекс социальных сил.

Эйзенштейн допустил свободную композицию выбранных моментов восстания «Потемкина», но в детальном их

воспроизведении добивался наибольшего восстановления всей обстановки той эпохи, наибольшей реальности. Конечно, не все тут можно было сделать, но и то, что сделано Эйзенштейном, убеждает зрителя и главное — заражает, агитирует, потрясает своим смыслом, своим верным содержанием. «Потемкин» Эйзенштейна — агитатор, трибун, а не шамкающий рассказчик-архивариус.

Основой его композиции явились те же приемы, какие были приняты в «Стачке»: коллективное действие масс, социальная динамика общественного процесса, «монтаж аттракционов». Отдельные личности и их поступки возникают только в массовом действии и органически вливаются в него. Человек в коллективе-массе. Вещи и люди, орудия «Потемкина», офицеры, солдаты и матросы, броненосцы и винтовки вовлечены в единое действие, в динамику общественного процесса, производящего революционную борьбу.

«Броненосец Потемкин» популярное и ковское стильное художественное произведение. Менее сильным местом режиссуры Эйзенштейна является работа с отдельными исполнителями. Характер композиции «Потемкина» плакатен, катастрофичен, публичен, эпичен. И краски индивидуальных людей, действующих в массе, взяты беглыми, иногда поверхностными мазками. Но в целом фильма сделана возмужавшим, необычайно сильным художником, вошедшим в свое творчество лучшие наиболее характерные черты нашей революционной эпохи.

Молодой С. М. Эйзенштейн внес в наше кино большую культуру. Выдающийся талант, редкая волевая энергия, плодотворный метод социально-коллективных художественных композиций и зрелое мастерство, основанное на знании материала кино, — выдвинули его в современного классика революционной кинематографии.

5. В ПУТИ

Очерки из жизни Западного Китая

Вл. Владимирский

I

На границе

Граница.

Пограничный городок.

Вдалеке чай. Длинные, сухие стебли мерно качаются. На бугре трое. Встретились мы в дороге. Два из них кино-операторы. Поблескивая большими очками, ругаются хорошим, отборным русским матом.

— Чего это вы?

Молчат. Рука нехотя лезет за бумажником. Развернули бумагу. Ветер порывисто налетел, смял. На вольность ветра крикнули:

— Ну, ты!..

Показал.

— Отказ! Мне говорили, что губернатор европейский человек. Расхвалили его. Решили мы заснять быт этого края. Работу наших советских организаций. Сказали, что мы кино-операторы... А губернатор ответил:—картины для меня, моего двора я разрешу показать...

— Почему только для двора?

— Видите ли, как-то перед войной забрался сюда один кинематографщик. Заснял сарай. Сам стал продавать билеты, а с другого конца хозяин сарая тоже, в свою пользу, продает билеты. Публика нашла. Начались споры. Ну, а раз спорят дунганин (китаец-мусульманин) с китайцем, быть беде. Две нации, которые ненавидят друг друга. Заблестели ножи. Камни... Скандал. Полиция и результат: приказ кинематографщику улепетывать...

— И улепетнул?

— Да. С тех пор картины и зрелища запрещены.

— А вы хотели картины показывать?

— Нет. Мы картины не хотели показывать, заснять местность хотели. Ну, как сказали это, отказ! Придется обратно оглобли поворачивать.

Ветер порывисто налетел. Теревил волосы, сдергивал клетчатые кепи. Я глядел туда, где за чаями расстилась

китайская колония—провинция Синь-Цзянь.

— Вы туда?

— Да.

— Передайте им... Или нет. Ничего не передавайте. Все равно не поймут. Пока. Счастливого пути!..

Раскланялись. Кино-операторы, мчавшиеся кино-глазом по великой СССР, стукнулись лбами о границу Синь-Цзяня. Уходили. На повороте дорожки махнули рукой. Еще раз услышал русский, крепкий мат. Тронулись в путь. Чай. Дорога пыльная вьется в этих длинных стеблях.

— Вот граница.

— Этот столб?

— Да. Гляньте назад. На наши телеграфные столбы.—Стройной линией уходили они от границы к пограничному городку.—Теперь глядите на китайскую сторону.

Глянул. Столбы, словно перепившись джюну (китайская водка), размешались по сторонам, выковыривая трешака.

Тронулись. А через минут пять вылезли из пролетов, выпутывали ноги лошадей из проволоки.

— Лежит?

— Лежит. Дальше поедете, так порой совершенно не увидите столбов. Проволока проложена по деревьям, по горам и, чтоб ветер не сдувал и не стаскивали в сторону колеса, на нее накладывают громадные камни.

— Порядочки... И действует телеграф-то?

— Действует. С молниеносной быстротой. От Та-Чена до Ли-Хуа семьсот верст. Телеграмма идет порой 7 дней.

— А письмо?

— Ну, письмо идет почтой, на лошадах, четыре-шесть дней. А самый лучший передатчик, так это узун-кулак. В переводе—длинное ухо. Киргизы этим занимаются. От аула до аула весть передают. Быстрее, чем телеграф, вот честное слово...

Показалась глиняная треснувшая стена. Ворота. По бокам закопченные домики. Заклеенные бумагой окна. Только в одном окне вставлено стекло. Около дверей наклеены красные бумаги с иероглифами. И бумаги и черные иероглифы выцвели.

Дождь размыл краску. А ветер постарался сорвать клочки и разнести их по двору.

Возчик кричит бо все горло:

— Эй, лойя!.. Эй, лойя (начальник)!

И когда дверь, вымазанная клеем с разноцветными заплатками приказов, скрипнула—возчик обратился ко мне:

— Выньте ланы (китайские деньги) и держите их на виду.

Вынул. Лойя небрежно взял пропуск, небрежно развернул, забормотал, вода пальцем по иероглифам.

Взгляд его упал на пачку лан. Посмотрел на меня, на возчика, взял проворно из рук деньги и, возвращая пропуск, пролепетал:

— Правило... правило... си... си... (благодарю).

Поехали. Я оглянулся назад, взглянул на лойя. Он кланялся, махая сложенными руками и улыбался во весь свой большой рот.

Возчик философствовал:

— Что ж...? Делать нечего... Получают они 30 лан (15 р.). Разве проживешь? Ясно... Берут... Пропуск не надо было бы показывать—ланы сунули и баста!..

— Баста!—громко сказано было на китайской стороне.

Кончились чай. Начиналась степь, сухая, пыльная, серая степь. А за нею, словно опоясывая ее, растянулись тарбогатайские горы. Высокие вершины были покрыты легкой пеленой снега.

За этими вершинами расстилалась Киргизская Республика, клочек нашего СССР.

Дорога ровная, накатанная. Лошади бежали иноходью, плавно везя тарантас.

Сухой, черный ковыль. Распатанные скривленные телеграфные столбы и мурлушки (киргизские могилы). Вдали показались странные белесосеребряные тополя.

Грязные, глиняные стены крепости, затейливые крыши китайских хижин. Мы под'езжали к городу Та-Чен. Перекладка лошадей и снова в путь.

II

У купца

Двор. Кругом высокие стены. И в этом четырёхугольнике, сверкая чистыми стеклами, приютился, за стеной пирамидальных тополей, домик. Под тополями у груды раскаленных углей сидел сарт, готовя шашлык. Воздух наполнился запахом жареной баранины, дымом, заглушая тонкий запах весенних почек, тополей. Повар не сводил с меня глаз и, когда ему удавалось поймать мой взгляд, улыбался, словно родному человеку, скаля белые, крепкие зубы.

— Шашлык, якши?

— Якши! Хо!—показывая кулак с оттопыренным большим пальцем, ответил я.

Кулак с оттопыренным большим пальцем надо показывать, это знак большой радости. Показывают его все от даоиня (губернатора) до простого простолюдина, рабочего. Пробовал повар что-то спросить меня, да не вышло. По-сартски разговаривать не умею. Разговор бросили, перешли на мимику, и, пока жарился шашлык, улыбался я ему, а он мне.

— Наедайтесь хорошенько. В дороге очень трудно что достать.

— Остановки есть?

— Пикеты. Китайские чирики (солдаты) живут. Сами они голодают. Так что навряд ли уделят что-либо.

— Но ведь я плачу!

— Все равно! У них нет избытков.

Избытков! Вот какой раз встречаю это слово здесь, на китайской стороне. Сперва не понимал. А когда увидел юрты киргиз, рабочего дунганина (китаец-мусульманин), работающего от зари до зари на огороде у чиновника,—понял. Поспешил заказать ящик и набить доверху продуктами. На столе чаша кумыса. Девочка лет четырнадцати с шапочкой на голове из бисера, блестящих, камней (эмблема невесты) неустанно мешала кумыс, разливая его по чашкам.

— Это ваша дочь?

— Моя.

— А почему она на виду?

— Ничего. Сейчас можно. Вот когда выйдет замуж, тогда и чадру и на замок.

— И будет сидеть?

— Будет.

— А если не захочет?

— Шариат есть... На суд аксакалам (мусульманские старшины).

— И что же будет?

— Осудят. Публично высекут.

— А китайские власти как на это смотрят?

— Ничего, ходят смотреть.

— И только?

— Только.

Тополя, что растянулись вдоль забора, шумели. Стройные, вытянувшись, сверкая на солнце серебристыми листьями, гнулись всем корпусом, судорожно раскачиваясь из стороны в сторону.

Налетавший ветер ударял в дорогу, поднимая столбы пыли, и бросался с силой на забор.

Белая известь, что [покрыла забор в день великого праздника, посерела. А в местах, не выдержав удара ветра, отпала, обнажая серую, грязную глину.

— Забор хорош,— задумчиво проговорил я.— Если бы его не было, пылищи было бы... Ого!.. А зачем у всех такие заборы? И дом строить внутри двора? Неужели только от пыли?

Хозяин-сарт смеется. Машет рукой, словно хочет прогнать смех и заставить говорить себя.

— Нет. Боязно... Этот край когда-то Монголии принадлежал. Ну и монголы частенько наведывались по старой памяти. Так всякий крепость свою делал. Так вот и повелось... С давних времен и до наших дней— первым делом трехсаженный забор, а потом уже и дом... Кумысу—а?..

Крепкий, ядреный кумыс пряным запахом лез в ноздри, щекотал... Пил. Кружилась слегка голова. Горячее солнце жгло щеки, шею, сушило губы. Хотелось пить. Круглые киссе (род чашки), наполненные до краев кумысом, дразнили. Невольно, сам не сознавая, тянулся к ним и жадно глотал кумыс.

— Ну, пора. Чирики приехали.

— Где?

— Вот, у тополей.

Низкорослые, лохматые монгольские лошадки. На них в грязных штанах (такого же качества рубашки) сидели чирики. С боку свисали длинные, прямые сабли, ножны которых покрыты большими пятнами ржавчины. За спиной болтались однозарядные берданы допотопного типа. Дула были закрыты пробкой из тряпок, а вся магазинная коробка замотана тряпочками.

— Зачем это?

— Это приказ начальника, закрывать от пыли замок и ствол. Портится. Засорится. Разобрать-то разберут, а собрать не всякий сможет.

— Да их, наверное, обучают?

— Обучают!.. Конвой даоиня еще умеет обращаться с оружием, а все остальные так себе...

Командир у них лавочник. У него есть деньги. А раз деньги, значит можно ничего не делать. Не работаешь— хороший человек. Почетный.

Вот почему китайцы отращивают длинные ногти, это символ ничегонеделания.

— Вот вам пропуск.

Развертываю. Большой лист бумаги (не ошибусь, если сравню с листом нашей газеты «Вечерняя Москва»). Бумага желтая, волокнистая. По бокам шли линии, образуя рамку. Сотни иероглифов растянулись стройно в столбики.

— Удивительно, быстро вы получили?

— А что?

— С пропусками канитель, трудно получать их в глубь Синь-Цзяна.

— Отчего?

— Слухи ходят: боятся, как бы большевистскую заразу не распустили. Это раз. А, во-вторых, границу сейчас закрыли.

— Закрыли? Когда?

— Торговую... Недавно...

Хозяин купец. Собственно, всякий, кто торгует здесь, купец. Однажды подошел один, отрекомендовался:

— Киткупец.

— Позвольте спросить, чем вы торгуете?— шерстью, пушниной, хлопком?

— Нет, у меня здесь лавка. Кумысом торгую.

— А каков ваш оборот, ну сколько в день, примерно, зарабатываете?

— Мискал 8—15 (50—75 коп.).

Этот купец очень интересовался свободной торговлей в СССР.

— Торгуют?—спрашивал он, широко раскрыв глаза.

— Торгуют.

— Не забирают товар, доход?

— Забирают, если нет патента...

— Ишь ты... А нам говорили, что все враки. Нет никакой торговли. Одни только коммунисты и большевики торгуют.

Коммунист и большевик здесь пока что—разница.

Так вот—хозяин купец. Средний. Когда зашла речь о границе, его словно кто-то ударил. Привстал. Залпом выпил кисе кумыса и, подойдя вплотную, таинственно сообщил:

— Дураки!

А кто, так и не сказал.

— Почему же?

— Местный ду-дзюн (генерал-губернатор местной провинции) желает заключить с советской властью местный торговый договор. Ну, чтобы запугать или принудить соввласть быть сговорчивой, он закрыл границу.

— Давно?

— Нет. Не так давно, месяц.

— Каков результат?

Купец смеется. Масленые черные глазки лукаво глядят на меня, на товарищей.

— Думали ударить по карману советских купцов (а советские купцы—«О-во Шерсть», Казгосторг и др.), да получилось наоборот. Подвоз товара прекратился и нашим купцам нечем торговать¹⁾. Купцы завывли. Подали петицию, а за ними китчиновники.

— Да им что лезть?

— Как что? Кровный хлеб отбил ду-дзюн. Здесь все доходные государственные места сданы на откуп, как, например, таможня, почта. Прекратилась торговля, перестала работать таможня, китчиновник голодный.

¹⁾ Должен заметить, что в дореволюционное время Россия выступала на рынке Зап. Китая, как страна индустриальная. Такой же она остается и поныне. Разумеется, торговля упала, но это общее явление нашей экономики.

Нельзя же прожить в самом деле на 30 лан, а ведь большинство из них получают именно это... Ну, ну, собирайтесь...

Посмотрел еще раз на свой аршинный пропуск, положил в карман.

— Ну, давайте лошадей. Трогаемся.

Купец жмет руку:

— Заезжайте!

Повар смеется и кричит:

— Шашлык, хо!

— Хо,—отвечаю я и показываю ему большой палец. Задремавшие чирики нехотя стали поправлять свои седла. Потом сели на траву.

Постлали им кошму (валеный из шерсти ковер), положили на нее блюдо с остатками шашлыка и сартские лепешки. Грязные пальцы чириков закопошились в душистой грудке шашлыка.

III

Голова в клетке

Колокольчик гремел. Монотонно выстукивал дребезжащую, медную дробь.

Ямщик что-то гундосил. Пел ли песни, молился,—не поймешь.

Солнце, скатившись к горизонту, посылало последние, теплые лучи.

Шуршал карагайчик сухим шелестом. Звенели кузнечики. Желтая степь, с горячим ветром, затихала. Ветер, днем метавшийся по степи, к вечеру устал и лениво раскачивал низкорослый карагайчик.

Под'езжали к пикету.

У высохшей речонки приютились две мазанки.

Трубы выходили у подножия стены, и дым, выходя наружу, разукрасил черными полосами весь фасад.

Окна были переплетены лохмотьями, оставляя маленькую дырку для притока воздуха.

Здесь охрана. Начальник и четыре чирика.

Звон колокольчиков заставил их выйти. Любопытные лица мигом окружили меня, разглядывая с ног до головы.

А один даже потрогал мою двухстволку и очень удивился, найдя в ней два ствола. Пальцами залез в дуло и показал мне два пальца.

— Два!—ответил я ему таким же образом.

Делали отдых. Прошло два часа. Кучер медлил. Ходит около лошадей, просматривает, примеряет что-то. Вижу затягивает кормежку...

— Ну, Сулейман, что же?

Мнется.

— Я сейчас. Сейчас...

Опять то же самое.

— Да в чем дело?

— Давайте заночуем.

— Да ты что, обалдел? До вечера три часа. Ночь лунная. Еще верст двадцать проедем, там и заночуем.

— Так... так... боязно ехать...

— Место опасное?

— Да, страшное...

— Но у нас охрана.

— Нет, не так... Проклятое место. Голова висит.

— Где висит?

— А вот, там на повороте. Когда везжаем в горы.

— Какая голова?

— Ма-Ван-Фу... Китайца...

Узкие глаза ямщика пугливо бежали, боясь взглянуть на меня.

— Ничего... я сам буду править... Запрягай!

Ямщик медленно стал запрягать. Выехали. Оглянулся. Чириков с нами не было.

— Где чирики?

— Остались. Говорят, завтра догоним.

— Ну и пусть. Гони!

Свистнул кнут. Губы зачмокали, и лошади, рванувшись, понесли нашу колымагу туда в горы, где висит голова.

Голые скалы. Холодные.

Зеленоватый мох украсил кружевной бахромкой подножие громадных камней.

Низкорослые кустарники тщетно стараются удержаться в расщелинах камней и пустить свои корни в тоненьком пласте земли.

Дорога вьется между камней. Ущелье. По бокам дерева. На сучке клетка. В ней голова.

Холодный ветер заморозил кожу лица. Она сморщилась. Пена из рта висит сосульками. Черная полоса крови окаймляла грязную шею, пятна крови

на деревянных прутьях, на дне клетки. Глаза полузакрыты и синеватый белок смотрит на тебя, словно сердится. Ямщик шепчет молитву, отворачиваясь от головы.

— Пошел!—крикнул я.

Губы быстро, быстро зачмокали. Радостно крикнул ямщик, и наша колымага, трясаясь по камням, неслась к пикету.

Что это за голова? Голова одного руководителя восстания чириков.

Пикет. Низкорослые, глинобитные домики врезались в землю. Покосились. Рамы окон, обклеенные желтоватой бумагой, тупо глядели на каменную землю. Два-три дерева раскинулись у мазанок и ветвями царапали крыши мазанок.

Дождь размывал крыши. Большие тяжелые капли падали на пол. Горный ветер с размаху бил в бумажные окна, рвал в клочья хлопчатую бумагу.

Здесь жили чирики. Охраняли путь. Зимой, когда дует пронзительный ветер, шиплет и колет холодными иголками лицо, в осень, под проливным дождем, летом, изнывая от жары, — несли свою службу чирики.

За службу получали 3 лана (1½ р.). Похлебка без масла и мяса. Летом сапог не полагалось. Терпели и не могли вытерпеть. Зашумели. Заволновались. Прошло три месяца, а денег не платили. Просили. В ответ грозили бамбуковой палкой. Умоляли. Оставались без ответа.

И не вытерпели. Ма-Ван-Фу заговорил. К нему прислушались.

— Так не поможет... И мы, несчастные люди, будем голодать. А всему виной он! Он, лойя, который не хочет знать, как мы страдаем.

И решили: убить лойя. Убить его за те страдания, которые он причинил. А раз китаец решил, значит будет так. Залегли и стали ждать лойя (начальника).

В отряде Ли-Чин. У Ли-Чина одна мысль: торговать. Ли-Чин хочет немного: лавочку в Та-Чене. И когда Ли-Чин закрывает глаза, он видит: большая, большая лавка. Полированные ящички, стеклянные шкафы, черная вывеска, а на ней золотыми иероглифами:

— Торговый дом Ли-Чин.

Больше Ли-Чин ничего не хочет.

А все знают: если провинился, быть беде. Ду-дзюн лавочку опечатает, колдку на шею и в тюрьму.

Тюрьма!—А тогда прощай, полированные ящички, лакированная вывеска, на которой написано:

— Торговый дом Ли-Чин.

Ли-Чин не хочет лежать на сухой, жесткой траве и поджидать лояя. Он тихомолку седлает тощую лошаденку и обходными дорогами скачет к пикету. На пикете застал лояя. Упал на колени и смотрит ему в ноги, заговорил быстро:

— Выслушай меня, мой мудрый начальник, маленького человека из твоего отряда. Я хочу поведать твоей мудрости, что жизнь твоя в опасности... Злой Ма-Ван-Фу хочет убить тебя, срезать голову и показать всему недостойному народу. Он хочет лишить тебя драгоценной жизни за то, что ты не платил им жалования три месяца, не даешь лепешек столько, сколько надо для бедных желудков... Похлебку варишь такую же прозрачную, как прозрачна вода в озере Эмильнор!.. Они хотят лишиться света и радости только за то, что ты не починил им хижину, отнял теплую одежду и бьешь их бамбуковой палкой... Я все сказал, мой мудрый господин, и ты своим ясным умом и добрым сердцем рассудишь правильно: виновен ли я, что передаю эту печальную весть и омрачаю сегодняшний солнечный день...

Лояя не мог ничего сказать. Только веер трепетно дрожал в его руках. Ли-Чин кончил. Лояя проговорил только одно слово:

— Едем.

Но они не ехали. Они скакали. Кнут то и дело гулял по спинам лошадей, оставляя на шерсти длинные полосы.

Лошади храпели, но шли галопом, неся их в укрепленный городок.

Узун-кулак разнес по степи весть. Весть ширилась, захватывая одну зимовку за другой.

Слух полз, расширялся, дулся.

Говорили двадцать чириков. Потом сорок. Восемьдесят. Сто. Двести. Власти в городе всполошились, набирали солдат, срочно вооружали их и подозрительно смотрели на каждого. Весть узун-кулак принес и Ма-Ван-Фу.

На сборище сказали:

— Ли-Чин предатель. Ли-Чин паук-торговец. Он захватил в свою паутину нашу доверчивость, чтобы высосать из нашего худого тела последнюю кровь. Он предатель. Он очень и очень плохой человек.

Гонец привез им приказ:

— Сдать оружие. Заковать зачинщиков и явиться с повинною. Снова был сход. На нем решили:

— Мы поднимались, как один. Мы умрем, как один. Один у нас был предатель, одним он и останется.

Бороться—смерть. Итти с повинной—тюрьма, бамбук и тоже смерть.

Лучше бороться.

— А нас мало?!

— Тогда поедом на Алтай, туда, в Монголию. Или уйдем в Россию.

Узун-кулак говорил: там каждый лояя, там каждый труженик. По выжженной степи двинулись к Алтаю. Шли крутыми горами, избегая селений.

По степи рыскали укурдан (старшины) со своими молодцами. Надо еще немного пройти—и живописные горы Алтая спасут их. Но на границе киргизский князь Ван-Чин окружил их. Их было много. После короткой перестрелки Ма-Ван-Фу был убит.

Князь велел отсечь голову и отправить с пленниками к лояя. Лояя получил голову. Долго смотрел на нее. Губы у него дрожали. Кривились. Вены на висках вспухли, казалось, вот-вот схватит топор, разрубит голову на мелкие части.

Так простоял минут десять. К обеду собрал всех подчиненных. Поставил голову на стол и стал с ней говорить:

— Ты, Ма-Ван-Фу, нехороший человек. Ты черствый человек, заботящийся только о себе. Твои несчастные ланы прельстили тебя, и ты ради них поднял руку на твоего лояя. Того лояя, который поставлен высшими лицами... Ты плохой был мой помощник; скажи мне, разве я тебя не любил? Разве я к тебе не относился с уважением, как относится китаец к китайцу? Скажи мне. Ты молчишь? Так и надо! Не поднимай руки на твоего лояя! Унесите его. Поместите голову этого человека в клетку. Повесьте на сучок дерева, чтобы все видели и знали: вот участь

человека, который поднял руку ан лойя, на лойя, который поставлен высшей властью для блага и порядка народа. Так будет со всяким, кто имеет черствое, неблагодарное сердце, какое имел Ма-Ван-Фу. Отнесите. Мои глаза не могут смотреть на плохого человека.

Клетку унесли. Повесили. Сообщников заковали в колодки. Всыпали на страх бамбуком.

Так кончился мятеж Ма-Ван-Фу. Голова висит и поныне. Проезжая мимо ее, киргизы творят молитву, призывая всех духов на помощь. Мятеж подавлен. Но... но думают ли все эти лойя, в руках которых бамбуковые палки, что, повесив голову на сук, запугают этим всех? Мне вот не думается. Но, наоборот, голова до сих пор говорит, и этот говор скачет по губам китайцев, дунган, киргиз,

— Ма-Ван-Фу умер, защищая голодных. Ма-Ван-Фу хотел только одного: платите в срок деньги, давайте хорошую похлебку и платье. Ма-Ван-Фу больше ничего не хотел. Он умер, как хороший, честный человек...

Прокатитесь по степям Синь-Цзянской провинции, присмотритесь к жизни низов и тогда скажите:

— Да будет! И не двадцать... И не одна голова. А много! Чьих? Думаю, догадаетесь.

IV

Фазаны и Фауст и К^о

Продвигались, как черепахи. 5 верст в час! Вот быстрота! Разбросанные камни мешали плавно катиться пролетке. Лошади рвали, и колымага тряслась всем своим существом, проделывая сальто-мортале.

Дул пронзительный, холодный ветер. Он леденил руки, лицо. В этой местности все время холодный ветер. И дует он из очень узкой щели. Жители ущелья вадумали раз забить эту щель. Была тихая погода. Сотни арб, нагруженных камнями, песком, гравием, алебастром, двинулись к ущелью. Стали забивать (проход очень узкий).

В дело пошло все, вплоть до старой колимы и разодранных овчин. Уже скоро конец. Еще два-три веза и все!

И в час, когда шаманы заунывно затянули боевую песню радости, поднялся ветер.

Он налетел. Всей своей силой ударил в заграждение и разметал пробку на сотню сажений. Снова стала трещина свободной, а ветер гуляет по долине, замораживая жителей.

С тех пор никто не мечтает заделать трещину.

— Нельзя. Сил нет... Там очень сильный злой дух.

Звенели колокольчики, но звон терялся в порывах ветра. Получался сухой медный стук.

Сухой ковыль, покрытый красной пылью, мерно колыхался. Вдали, высоко подняв головы, стояли дрофы (дикие курицы).

Ямщик остановил лошадей.

— Ступайте, я шагом поеду.

Беру двухстволку, медленно подхожу. Дрофы перестали щипать траву, устали на меня.

— Эй, эй,—кричит ямщик.—Кругом, кругом!

Сам рукой водит. Понял. Иду кругами, с каждым разом суживая круг. Дрофы следят и видят, что я все время хожу,—успокоились. Стали щипать траву.

Прицелился. Выстрелил, и раценая дрофа (дробь была очень мелкая) забилась на пыльной земле.

Ямщик, бросив лошадей, с ножом кинулся ко мне, крича во все горло:

— Аллампер! Аллампер!

Признаться, я не на шутку струсил. Приготовился к бою. Он налетел на меня, выхватил дрофу и, повторяя все время:

— Аллампер!

перерезал ей горло. Распорол брюхо, выкинул внутренности и спокойно пошел к повозке.

Мы в'ехали в долину, где дичи:

— Тучи!—как говорил мне один местный охотник.

— Обязательно ружье возьмите!—кричал он мне, когда я уезжал.

— Дрофы, фазаны, чили! Тучи!

Действительно, маленькие, серые чили (род куропатки) выскакивали буквально из-под ног. Глупые птицы! Когда подходишь к ним, они выстраиваются в ряд и смотрят на тебя, как ты прицели-

ваешься. Выстрел. Живые вспорхнули, чтоб сесть на новое место, саженьях в трех (они далеко не летают).

И если вы напали на стадо в 20 голов, не волнуйтесь. Все будут ваши. По кустарнику, блистая разукрашенными хвостами, перескакивали фазаны. Красные, золотистые перья мелькали меж сухих листьев, маня взор. Солнце жгло невыносимо, но уйти не было сил. Фазаны сракали. Это дразнило. Подкараулил. Выстрел, и фазан мой. Охотился час. Выстрел, и истошный крик:

— Аллампер!

Сверкал нож и кровь брызгала, пачкая ему руки, окрашивая красно-бурную степь в красный цвет.

Довольно. Мешок полон дичи. Сейчас остановка, и будет пилав из дичи. За полверсты встретили собаки. Провожали до пикета.

По дороге лежали верблюды, нагруженные товарами.

— Скажите, чей караван?

— Германской фирмы Фауст и К°.

Когда ящик радостно улепетывал пилав из дичи и усердно угощал чириков, мне передали визитную карточку. Карточка красная. Это любимый цвет всех китайцев, и визитные карточки печатают исключительно на красной бумаге.

На одной стороне были китайские иероглифы, на другой русскими буквами: управляющий отделением фирмы Фауст и К°.

— Просите!

— Я очень рад. Я слышал об вас и пришел засвидетельствовать почтение.

— Садитесь.

— Мерси. Вы из России?

— Да. Я из СССР.

— Ну, как там?

— Ничего. Все в порядке. А вы как живете?

— Так себе. Скучаю по родине.

— Я извиняюсь. Вы эмигрант?

— Да, я белый офицер.

— А скажите, как теперь эти офицеры живут?

— Как живут. Так... Кто поумнее, пообразованнее, тот на службе у иностранных фирм.

— А кто поглупее?

— Те—рабочие на кишечных заводах.

Или колбасные мастера, как, например, Бородин.

Промолчал. Предложил сигару.

— Вот в Россию хочу. Соскучился.

— Дело... Дело...

— Знаете, мы очень плохо знаем о России. Китайцы сюда газет не пропускают. Но мне удается получать журнал «Огонек». А как я получаю его, о! Это длинная история. Так вот смотрю на картинки, снимки и думаю: а Россия изменилась. И ничего страшного нет. Привлечение спецов к работе. Много моих товарищей служат в Красной армии, работают. Довольны. Нашего брата милуют, правда, не всех, но факт есть. Уж не такие кровавые большевики, как нам казалось... Заботятся о спецах... Тянет меня в Россию.

— «Огонек» вашим путеводным огоньком стал?

— Стал. И понимаете, я очень рад ему. Получишь, на минуту чувствуешь себя, как дома, что ты у себя на родине, на Руси. Что и говорить. «Огоньку» рад. Благодаря ему, немного прояснилось у меня.

— Словом, светит?

— Да, пока светит, да не греет. Подаю заявление о восстановлении гражданства. Приеду в Россию, первым долгом выпишу «Огонек».

— А скажите, что ваша фирма подельывает?

— Она скупает кишки, пушнину.

— А чем торгует?

— Всем...

Через месяц мне пришлось побывать в магазине Фауст и К°.

На полках масса алюминиевой посуды. Бесчисленное множество игрушек. Ножи, вилки, шурупы, замки. Одеколон, пудра, мыло, хина, какие-то мятные лепешки. Состав для возбуждения (средства для старичков) и... презервативы. Масса. Наверное резинотрест не имеет столько, сколько имеет их отделение Фауст и К°. Словом, насаждают культуру.

— Сколько же товар идет?

— Этот караван идет полтора года. Обыкновенно 6—8 месяцев. Полтора года! И находят возможность торговать! И торгуют!! Видел я толпы у магазинов и с какими радостными лицами

выходили люди, рассматривая купленные блестящие вещички.

Пили кофе и грызли шоколад, который шел из Германии полтора года. Собеседник пытливо смотрел в лицо, все время спрашивая о жизни «России», «Руси великой».

— Вы долго будете на остановке?

— Долго. Лошадям отдых даю.

— Тогда позвольте—я сбегаю за граммофоном...

Ответа не дождался. Пришел с маленьким ящичком, меньше чем ящичек от сигар.

— А граммофон где?

— А вот.

— ?!

— Сейчас.

Раскрыл ящичек. Развернул треножник, получился диск. Вынул стальную полоску, подставка для мембраны. Маленькая гуттаперчевая чашка—рупор.

Завел. Положил пластинку.

— Сыграем наши русские вальсы. Здесь у одного купца я купил,—пояснил он, пуская пластинку.

Граммофон играл «На сопках Манчжурии». Услыша музыку, пришли ящичек и чирики.

Смотрели с удивлением, со страхом на ящичек, который без всякой помощи играет. Рты были раскрыты, дыхание сдвинуто.

Так стояли долго, слушая «Амурские волны», краковяк.

Медленно надвигалась ночь. На белесом небе зажглись бледные, еле мерцающие звезды.

Граммофон играл. Кучер молился, ложась спать.

Дымя сигарой, рассказывал мне бывший офицер о жизни края. И после каждого случая говорил:

— Безобразно. Некультурно! Допотопности! Эх, в Россию... Как погляжу на «Огонек», душа навыворот.

— С «Огоньком» в СССР или же на огонек СССР?

— Все вместе. Одно только—на родину. А здесь? Ой! Ой! Сколько еще надо учиться!

Расставались на рассвете. Он жал руку.

— Передайте привет.

— Кому?

— Да всей России.

— От души?

— Да. От чистого сердца. Научило меня многому отступление, разброд идейных революционеров, Китай... и...

— И что?

— Ну, хотя бы и «Огонек».

Засмеялся. Смеялся и я.

Верблюды поднялись. Вожатый, позванивая звонком, подняв гордо голову, двинулся в путь.

Кольхаясь, сидел между горбами управляющий, с надеждой в душе и с «Огоньком» на сердце. Поднималось желтое, как желток яйца, солнце.

Книжное обозрение

Л. ИОХВЕД. „Пристань“. Л. Войтоловского; С. ГРИГОРЬЕВ. „Коммуна Мар-Мида“. Н. К. Смирнова; ИВАН МОЛЧАНОВ и МИХАИЛ ЮРИН. „Жизнь улыбається“. М. Зенкевича; „ПИСАТЕЛИ“. Автобиографии современников. Бор. Губера; „ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОКТЯБРЬ“. П. Маркова; НОЭЛЬ РОЖЕ. „Новый потоп“. Я. Фрида.

Л. Иохвед.—«Пристань». С предисловием Л. Сосновского. Рабоч. Изд. «Прибой». Ленинград. 1926 г. Стр. 103.

Эта небольшая книжечка заинтересовывает чрезвычайно. Она подкупает своей сверлящей искренностью. Главное достоинство Л. Иохведа в том, что он пишет свободно и правдиво. Описываются вещи, о которых рассказывалось бесчисленное множество раз: эпизоды из жизни небольшой инженерной части на польском фронте. Описываются бойцы на красном фронте—коммунары и беспартийные, крестьяне, рабочие, интеллигенты, молодые красноармейцы и бывшие офицеры. Люди разных национальностей, пришедшие из деревень и местечек, с серыми лицами и тусклыми словами, без высоких котурнов и трагической маски, босые и оборванные, но великолепно выполняющие те героические роли, которые им вручила история. Иохвед рассказывает обо всем без утайки: и о героических атаках, и о зверских погромах, и о вспышках красноармейской жестокости, и о наивных, безграмотных комбригах. Все это вещи, давно известные. Но от каждой страницы в голове складывается впечатление: так еще никто не писал.

Главная черта этой книги—беспредельная жизнерадостность автора. На душе у него постоянно праздничный тон, создаваемый глубокой верой в торжество завтрашнего дня. Сквозь налитые кровью и ненавистью дни, сквозь дым бандитских пожаров и грохот оружейной пальбы ему чудится радостная «пристань» под голубыми веселыми небесами. Верой в эту обетованную «пристань» охвачены все герои Иохведа.

«Худяков взмотнул голбовой, как лошаадь, которую много били кнутом по глазам, и долго смотрел на Кокурица, на торопливо бегущие облака. Ему ка-

залось, что и они, как люди, кружатся и не имеют пристанища, что там кто-то светлый, большой и ласковый ждет их и добрыми, большими руками прижмет к груди, и они растают и успокоятся, трепыхая сумрачными краями»(стр. 67).

Каждому из героев Иохведа по-своему рисуется «пристань». Не всем дано добраться до «пристани». Инные складывают крылья, не долетев до нее. Одни, как комбриг Дорошенко, прижимаются крепче к земле и к дорожной хозяйке, обладательнице богатого хутора. Другие, подобно Кокурину, сбиваются с пути и уходят к балгистам. Иные, как Шутин, поддаются зову «волшебного смычка» и уходят в актеры или в писатели. Но многие знают, что до «пристани» еще далеко, что «работать надо, а не приставать» (стр. 103).

Л. Иохвед не только сам участвовал в описываемых им событиях, он глубоко пережил их, как подлинный революционер. Отсюда эта напряженная чувствительность и экзальтация автора. Все, что он пишет, он черпает из себя самого, из собственных ощущений. Это не просто эпизоды гражданской войны, а, если можно так выразиться, эпизоды собственной души.

Но в этой неостывшей горячности и отрицательная сторона этой книжки. Лица очерчены наспех, недостаточно четко. Такие фигуры, как комбриг Булкин, Мишка-Кацап и Новодвойтенко, получают под пером автора единый общий профиль, и вместо четких характеров автор выписывает трубные звуки:

— «И-эх!.. Не выдавай!.. За Семку, ребята!..

Так кричал Мишутка-Кацап...

— Крепче винтовки! Сильнее в шпоры!..

Есть страницы, запечатленные героическим напряжением. Но нет лю-

дей, равных по своей душевной значительности тем событиям, которые совершаются ими. События все время сильнее, значительнее и героев и автора. Я хочу этим сказать, что Иохвед-революционер сильнее Иохведа-художника, и последний местами совсем не справляется со своей литературной задачей. У Иохведа-писателя два крупных недочета: литературная манерность и отсутствие писательской выучки. Масса цветистых и вычурных выражений, как, напр., «желтое бешенство выпуклых глаз» (стр. 21), «прищуренное окно, в котором застыла насмешка старого дома» (стр. 23), «стариковский смех оторванного железа» (стр. 26) и т. д. не только утомляют читателя, но также говорят о недостаточном строгом вкусе автора. К этому следует добавить и значительное количество синтаксических неправильностей, проистекающих не только от излишнего знакомства с Пильняком, но и от недостаточного знакомства с грамматикой. Этого незачем скрывать и этого нечего бояться. Автор — рабочий-самоучка, наделенный большим литературным дарованием. Кто следил за его первыми рабковскими выступлениями на столбцах «Пролетарской Правды» в Киеве, тот знает, с какой смелой уверенностью шагает вперед этот юный, вчера еще полуграмотный, рабкор. «Пристань» Л. Иохведа заслуживает широкой известности, но автору ее нужно старательнее и много учиться. Книжке предпослано теплое, справедливое и содержательное предисловие Л. Сосновского.

Л. Войтоловский.

Сергей Григорьев. — «Коммуна Мар-Мила». Повесть. Артель писателей «Круг». 1926 г. Стр. 130.

Несколько студентов и студенток, «принципиально» отрицая дом, как «самый вредный предрассудок», организовали «Коммуну бездомных». В повести Сергея Григорьева даны картины распада «коммуны» и портреты ее участников.

«Коммуна Мар-Мила» написана небрежно, тусклым, часто неряшливым языком («Грубо, но здорово!» — примиренно сказал Митя и замолчал рукою

струны», стр. 37), построена неудачно, — нерасчетливо и бессистемно, лишена необходимой четкости и ясности в разворачивании сюжета. Она напоминает, по замечательному выражению одного писателя, вложенные друг в друга игрушечные праздничные яйца, при чем последнее из них — маленькое и, вдобавок, пустое. Повесть разбита на ряд зарисовок, лишенных крепкой внутренней согласованности и скрепленности.

Внимание писателя привлекли наиболее злободневные вопросы, волнующие нашу молодежь: «американизм», НОТ, любовь, материнство и т. д. Художественная разработка этих вопросов в повести С. Григорьева крайне поверхностна. Зарисовывая исключительно отрицательные явления — а их в среде современного студенчества немало (хотя бы недавнее «Дело Коренькова»), писатель подошел к ним без необходимой исследовательски-познавательной глубины. Повесть получилась бескостной и беспредметной, перспектива оказалась «сдвинутой»: в повести, строго говоря, нет ни конца ни начала. Она туманна.

Ее герои... Их лица?..

— Я собираю анекдоты о советской власти, — серьезно заявляет один из них, Эрик.

Тот же Эрик, сравнивая революцию 1905 г. с революцией Октябрьской в применении к студенческой массе, находит отличие только в том, что тогда студенты основывали «Эль-Эль» (лиги любви), мы, наоборот, — устраиваем «Эль-Вэ» (лиги времени).

О лигах времени много говорят и другой герой повести, коммунист Эдди. Выступая в кружке «эльвистов», он проносит длиннейшие тирады о нормализации, рационализации и стандартизации, а слушатели — не понимают: девушки для того, «чтобы повысить самоиндукцию внимания», красят кармином губы, юноши смеются. Шум заканчивается даже поцелуем — хотя и с поправкой: «Наверно, ради шутки, в собственную руку».

Одно из центральных действующих лиц повести — Мар Торопцов, председатель «Коммуны бездомных». Мар очень талантлив — из него, по авторитетным

профессорским предсказаниям, может выйти блестящий инженер: он с успехом работает по подготовке всероссийской с.-х. выставки, и, несмотря на травматический невроз, полон действительной и кипучей энергии. У него глубоко-практический, американский складки, ум, но, вместе с тем, Мар—человек «с идеями». Писатель не показывает его прошлого, мы не знаем, например, при каких условиях он «один раз был удостоен рукопожатия В. И. Ленина» («сильная, но мягкая рука»), но свои взгляды на революцию он, в беседе с коммунистом Эдди, характеризует выразительно и четко:

— Плакат, наклеенный на забор вселенной.

А в другом месте заявляет уже более определенно:

— Революция тонет в слякоти.

Мар болен («Не люблю я шума... у меня в голове все спуталось»), но все же чрезвычайно предприимчив. У Мара есть богатый дядя, на деньги которого и живет «коммуна». Однако, в конце повести обнаруживается, что дядя—миф. «Дядя, здравствуй»—лишь кличка «знаменитого» бандита...

Мар Торопцов, студент-бандит,—странный образ. Писатель совершенно не справился с ним. Он двоится, он выдуман. Он мертв. Мертвы и другие герои Григорьева. Вся повесть не продумана и схематична. От этого ее не спасают ни «занимательность», ни отдельные, художественно-яркие главы («Шелковинка», «Магазин игрушек» и др.).

Тема повести осталась не разрешенной. В повести нет того широкого общественного охвата, который оттенял бы случайность и исключительность ее материала. Хрупкость бытового материала, взятого вне соответствия и соотношения с подлинно-живой и здоровой жизнью, обрекла «Коммуну Мар-Мила» на призрачность. «Таинство с мармеладом»—так охарактеризовал писатель свою «коммуну»—не содержит, в сущности, никакой «таинственности». Остается лишь «мармелад».

Ник. Смирнов.

Иван Молчанов. Михаил Юрин.— «Жизнь улыбается». Изд. «Красные всходы». Тифлис 1926. Стр. 63. Ц. 40 к.

На обложке улыбающаяся на фоне площади комсомола, потом прильнувшие друг к другу головки обоих поэтов в медальоне (так в дешевых фотографиях снимаются молодожены), восторженно-наивное, написанное языком институтских героев Чарской и Вербицкой, предисловие—«Жизнь улыбается», и эпиграфом ко всей книге стишки, точно взятые из альбомов уездных барышень былых времен.

И у Молчанова и у Юрина вышло по нескольку сборничков стихов, и в книжечке «Жизнь улыбается» собраны их «избранные стихи». Однако даже и по этим «избранным стихам» трудно еще составить мнение об обоих юных авторах, как о поэтах. И Молчанов и Юрин пишут стихи на обычные комсомольские темы с обычными, ставшими уже трафаретными в комсомольской поэзии, приемами. Тут и «солнце пионером весне салютует из туч», и «на груди твоей горит такой знакомый пламень Кима», и (что весьма похвально) «сегодня на ячейке я в восемь делаю доклад», и (что, увы, менее похвально) «я любимую у клуба будто и не целовал», ибо «любовь комсомолки дороже, милей красоты расписной» (Ив. Молчанов), и дружеская переписка стихотворными печатными открытками («Письмо» Юрина). Пишут оба автора бойким и звонким стихом; у них есть задор молодости, и некоторые их строфы приятны и лиричны, но и только. Своего поэтического лица, своего стиля ни у того, ни у другого пока еще нет. Все, что они говорят, сказали уже и раньше и лучше их другие поэты (Есенин и Казин, Безыменский и Жаров). Впрочем, это, может быть, объясняется молодостью обоих авторов и придет к ним в свое время, если только они будут посерьезней относиться к поэзии, а не так фамильярно, за панибрата, как это почему-то считается общепринятым среди нашей молодежи.

М. Зенкевич.

«Писатели». Автобиографии современников. Сборник. Изд-во «Современные проблемы», Москва 1926 г. Стр. 370. Ц. 2 р. 50 к.

В начале НЭП'а, когда после долголетнего перерыва появились первые журналы и первые послереволюционные писательские имена, все особенно увлекались писательскими биографиями. В журнале «Литературные записки» (№ 3) были помещены автобиографии Серапионовых братьев. «Красная Нива» первое время сопровождала свой литературный материал портретами авторов и краткими их жизнеописаниями.

В то время такое увлечение было понятным. Вместе с наступлением «передышки», с ростом материального благополучия широких общественных кругов, возрастала и тяга к литературе, а попутно и любопытство к новым именам—любопытство к личной жизни нового писателя. Впрочем, любопытство это стало довольно скоро угасать—с личности писателя внимание было перенесено на его творчество. Появившаяся в конце 1924 года книга «Литературная Россия» преследовала уже иную цель—дать более или менее полное представление о писателе одновременным помещением его портрета, автобиографии и отрывка из типичного для него произведения. Редакция при составлении этой антологии, задуманной в двух томах, придерживалась некой систематизации, какой именно неизвестно, ибо второй том так и не вышел в свет. Именно из этой антологии вырос рецензируемый сборник. Очевидно, он охватил всех предполагавшихся участников обоих томов «Литературной России». Но здесь произошли уже существенные изменения: снова отсутствуют образцы творчества собранных писателей. Это возвращает сущность сборника к тем нормам, которые были уместны в 1922 году и к которым не следовало бы возвращаться. Сейчас у читателя к литературе не поверхностное, жадное любопытство, а глубокий и серьезный интерес. Следовательно, давать читателю нужно такой материал, который бы создавал

ценное и яркое представление о писателе. И помимо помещения, в отрывках, образцов творчества собранных авторов, нужна бы здесь и классификация их—не в алфавитном порядке, а в порядке, который облегчил бы читателю понимание той путаницы, что существует по сей час в литературе.

Сборником представлено 64 писателя. Есть среди них «попутчики» (большинство), пролет-писатели-одиночки (Артем Веселый, С. Семенов), члены «Кузницы». За исключением умершего Д. Фурманова, отсутствуют члены ВАПП. Признаком, связывающим писателей в сборнике, является сравнительная долголетность их литературного стажа. Молодежи, вступившей в печать за последние годы,—нет. Нет почему-то и многих зрелых писателей, напр., Сергеева-Ценского, Клычкова, Никандрова, Бахметьева, Никулина. Правда, в предисловии редакции есть оговорка: «Отсутствие некоторых писателей, долженствовавших бы войти в эту книгу,—вне вины собиравшего ее», но оговорки такой недостаточно. Отсутствие только упомянутых авторов—уже крупный пробел в полноте книжки; следовало бы каким-нибудь способом пробел этот заполнить—хотя бы простым перечислением наиболее крупных писателей, оставшихся вне сборника.

Несколько слов нужно сказать о самих биографиях. Бросается в глаза однотонность, краткость и сухость большинства из них—будто писались они по анкете. Существует почти для всех обязательное, стандартное начало: «Я родился» или «Родился я»...—затем следует год или место рождения. Тщательного отношения к своим автобиографиям, отношения к ним, как к произведениям искусства, почти не встретишь. Наиболее интересны и оригинальны в этом смысле Н. Огнев, Г. Чулков и М. Пришвин.

Внешность издания оставляет желать лучшего. Хороша бумага и печать—и очень плоха брошюровка. Много опечаток—есть даже в оглавлении (вместо «Окулов»—«Окулоз»). Особенно же нелепо выглядит последняя строка библиографической сводки М. Горького:

«Сочинения». Гиз. М. 1926.
«Дела Артамоновых» (?) «Инига» (?)
Берлин 1916 (?).

Библиография вообще неточна, неполна, и иногда дает даже неправильные сведения.

Большинство репродукций - портретов исполнено из рук вон плохо; особенно нехороши портреты Бабеля, Библика, Веселого и Ляшко. Удачней всех портреты Чулкова, Под'ячева и Касаткина.

Борис Губер.

«Театральный Октябрь». Сборник. Ленинград—Москва. 1926. Стр. 182. Изд. «Театральный Октябрь».

В предисловии к первой книге «Театрального Октября» А. Гвоздев формулирует задачу сборников. Гвоздев пишет: «Театральный Октябрь»—за этими двумя словами скрыта не только целая эпоха в развитии русского театра революционных лет, но и программа на ближайшее будущее нашего сценического искусства. Время боевых, но голых лозунгов миновало. Настала пора углубленной творческой работы, подведения итогов достигнутого и закрепления всех завоеванных революционным театром позиций. Отсюда—из критической проверки и учета уже созданного—должны быть выяснены пути, по которому (ым?) надлежит идти в настоящий момент. Осуществлению этих двух задач и должен способствовать настоящий сборник. Его назначение дать критический анализ пройденного пути и подвести прочный фундамент под строительство нового театра, сложившегося из всех камней, обтесанных за революционные годы».

Научный анализ «прошлого» и «настоящего» с повелительной настойчивостью вырастает перед современным театроведением. Невозможно оспаривать целесообразность такой постановки вопроса и явную необходимость появления таких сборников. Сборник предположено строить по двум основным линиям: в плане историческом они ставят задачу «пересмотреть весь опыт прошлого»; переоценить театральные ценности на основе завоеваний Октября

и «осветить» судьбы европейского и тем самым русского театра богатым сценическим опытом восточных стран»; в плане современности—акцентируя факт «нового зрителя»—редакция настаивает на «внимательном анализе тех глубоких процессов, которые вели и ведут к видоизменению сценического оформления спектакля, к перестройке актерской техники и к выработке новой драматургии».

Ясно, что такие обширные и решительные задачи могут быть осуществлены только в результате длинного ряда исследовательских сборников. «Театральный Октябрь» кладет им начало. Появление его в дни пятилетнего юбилея театра им. Мейерхольда заставило сделать перевес в сторону преимущественной оценки этого театра и его руководителя,—воплотившего на практике задания «Театрального Октября». К сожалению, С. Мокульский, на долю которого выпала нелегкая задача «переоценки традиции», еще несвободен от упрощенных положений, в свое время привнесенных эпохой «театрализации театра». Его интересная статья—верная и меткая в анализе «традиционализма» Мейерхольда—ориентируется на «театральное мастерство, освобожденное от всяких прищипков литературщины, морализации, мистики, психологизма и эстетизма, неведомых подлинно театральным эпохам и водворяющихся в театре только в эпохи оскудения театральности». Общепринято полемизировать с «зловещей теорией переживания», запоздало повторяя напрасное смешение «театральности» с «театральщиной»—автор, однако, не замечая достижений начала века, пренебрежительно отказывается от его подлинной оценки и от анализа монументального искусства актеров века XIX. Минувя важнейшие вехи развития русского актерского искусства, Мокульский остается в плену общих мест пресловутой «театрализации», давно нуждающихся в пересмотре. Тогда переоценка в равной мере должна быть отнесена и к веку XIX—XX, осужденному полемически, но не раскрытому научно. «Проблема Станиславского» далеко еще не разрешена в русском театре и продолжает стоять

перед исследователем, настойчиво требую углубленного рассмотрения.

Применительно же к деятельности Мейерхольда статья ценна и интересна (замечания о Мейерхольде, как «режиссере-драматурге», о роли «гротеска» в его творчестве, об «аксиомах, обязательных для всякого актера, в каком бы театре он ни творил», и мн. др.).

Подлинно научный анализ работы Мейерхольда дан, однако, не в статье Мокульского, а в блестящей работе Александра Слонимского о «Лесе». Выбрав конкретный спектакль, исходя от непосредственного разбора фактического материала—автор дает не только глубокую и острую оценку режиссуры Мейерхольда, но и указывает методологические пути «анализа спектакля». Освободившись от груза общих слов и положений—Слонимский, шаг за шагом, обнаруживая живое чувство театра и сцены, сжато и четко формулирует основные приемы режиссуры «Леса». Исходя из определенного спектакля, как «современного памфлетного» — Слонимский подробно и с замечательной наблюдательностью определяет художественные приемы, которыми режиссер добился своей цели. Статья вводит в процесс строения спектакля и представляет превосходный образец раскрытия режиссерской работы над текстом (приближение всей пьесы к современности путем перемещения в конструкции пьесы, «обнажения динамики»), над образами («социологический» метод построения роли); раскрытия особенностей спорного Мейерхольдовского «натурализма» и т. д.

Анализу современного русского театра посвящены статьи: В. Н. Соловьева («О технике нового актера»), во многом страдающая теми же недостатками, что и статья Мокульского; И. А. Аксенова (попытка разрешить вопрос о «пространственном конструктивизме на сцене»), набросок Б. Е. Гусмана о спектакле «Д. Е.». Рядом со всеми этими статьями кажется лишним и непонятым появление туманной, но претенциозной статьи Гаузнера и Габриловича: «Портреты актеров нового театра», решительно объявляющей, что «искусство нашего времени не является ни тезой, как думают некоторые, ни антитезой, как

думают все, а синтезом, как оригинально думают авторы статьи. В подтверждение этого ближе нераскрытого и мало кого интересующего положения привлечены Дорошевич, Ллойд, Гоголь, Чаплин, Достоевский, Булгарин, Щепкин, Луначарский, Савина (о которой авторы неожиданно сообщают, что она любила свои персонажи?) и многие другие; потрясающая энциклопедическая образованность авторов мало помогает в раскрытии их задачи и из всех портретов хорошо очерчены лишь приемы игры Охлопкова. Методологически строгая статья Слонимского становится укоризненным предостережением для бесформенных упражнений Гаузнера и Габриловича.

Особняком стоит статья Вячеслава Иванова. Она приобретает большой интерес в связи с предстоящей постановкой Мейерхольдом «Ревизора». Вячеслав Иванов остроумно и парадоксально пытается доказать, что «гоголевский идеал всенародного смеха весьма близок задачам, какие комедия пятого века себе ставила и столь же просто, сколь удачно разрешала», при чем автор производит и некоторые формальные сближения (парабаза, хоровое начало, взаимоотношения хора и героя).

Ряд статей посвящен иностранному театру: английскому (Эрик Варней), германскому (Вильгельм Герцог), венгерскому (Матейка), японскому (Конрад). Среди них выделяется статья Конрада, составляющая интересное добавление к недавно вышедшей книге Гегемана об японском театре.

Ник. Извеков («Зритель в театре») определяет методы изучения зрителя, отдавая преимущественное внимание практикующемуся в театре им. Мейерхольда «учету реакций зрительного зала».

В целом, книга не занимает полемической позиции. Тем яснее, однако, определяется ее основная позиция, сквозящая за всем методологическим разнообразием и неравноценностью материала—борьба за театральную культуру, которую ведет теперь театр им. Мейерхольда и которая делает особенно ценным опыт научного обоснования «эстетики театра».

П. Марков.

Ноэль Роже.—«Новый Потоп». Роман. Перевод с франц. Б. К. Рынды-Алексева. ГИЗ М.—Л. 1926 г. Стр. 175. Тир. 4.000. Ц. 1 р.

Тематически-сюжетный фонд, которым располагают авторы фантастических романов, весьма невелик; оригинальным быть в этом жанре труднее, чем в других, потому что своеобразие фанбульной ткани в каждом отдельном случае зависит не от наблюдательности, а, прежде всего, от изобретательности автора. И все же этот жанр во всех оттенках: сатирическом, утопическом, наукообразном и др.—живуч, потому что вызывается потребностью угадывать, предсказывать, а в особенности экспериментировать, корректировать современность.

Тема гибели цивилизации (видоизменение древней темы конца мира) разрабатывалась неоднократно; еще Жюль Верн набросал картину «нового потоп» в своем последнем, неоконченном романе. И рецензируемая вещь Ноэля Роже—пример того, как можно подвергнуть участи Атлантиды почти всю Европу, оставить в живых из ее населения всего несколько десятков человек,—и не дать почти ничего нового, сильного в области трудного жанра фантастического романа.

Посредственность романа выражается в малочисленности эпизодов, оригинальных и насыщенных драматизмом, в неумении навязать читателю изображаемое, как нечто реальное,—путем ли протокольного описания (манера Уэллса), или при помощи быстрой смены обостренно видимых, как ясно-видение, картин (что можно наблюдать у Э. По, у Дж. Лондона—«Алая чума»,—и что в некоторой степени имеется налицо в другом, более удачном романе Роже—«Грядущий Адам»).

Правда, в последней главе есть выгрышное место. Люди, спасшиеся в де-

лину Сюзанф в Альпах и об'единившиеся в коммуны, наталкиваются на другую группу уцелевших от наводнения, угнетаемую несколькими вооруженными капиталистами и аристократами. Здесь можно было бы дать полный драматизма эпизод, который мог бы сделаться центральным в романе. Но автор ограничивается тем, что противопоставляет людей, все потерявших, «голых на голой земле», заново начинающих историю, но зато научившихся по-настоящему любить и радостно трудиться—людям, сохранившим запасы пшеницы и старой материальной культуры, но вместе с ними—и револьверы в руках кучки угнетателей, и все ужасы допотопного социального строя.

Это противопоставление непосредственно связано с несложной, не слишком глубокой и не очень новой философией, лежащей в основе романа. Послевоенная Европа, Европа утонченных удовольствий, утонченной жестокости лицемерия—Европа на закате, страна дряхлеющей, умирающей цивилизации. «Общество, которое продало свою душу... как Содом и Гоморра», должно погибнуть, чтобы уступить место росткам новой жизни, тем, кто будет «на пути к новому свету». Но обязанность уничтожения гнилого общества Роже возлагает — на стихию. И, говоря о новой здоровой жизни, он подразумевает жизнь первобытную, возвращение к истокам цивилизации.

Читателю нетрудно заметить близорукость и консервативность писателя, которому легче затопить Европу, чем допустить возможность замены существующего социального строя лучшим. И занятно, заглянув под маску глубокомыслия и «теории смены цивилизаций», разглядеть лицо возмущенного моралиста, честного современника, терпеливо ожидающего вмешательства «высших сил».

Я. Фрид.

Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».

Редакция: **А. В. Луначарский.**
В. П. Полонский.
И. И. Степанов-Скворцов.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ:

Я Н В А Р Ь

С. ЕСЕНИН—Черный человек (поэма).
Вс. ИВАНОВ—Янские притчи (расск.).
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Море (из ром.
«Преображение»). Н. АСЕЕВ—Курские
края (стих.). С. КЛЫЧКОВ—Чертухин-
ский Балакирь (отрывки из романа). Вл.
МАЯКОВСКИЙ—100% (стихотв.). А. СО-
БОЛЬ—Мемуары веселухатого человека
(рассказ). В. НАСЕДКИН—Три стихотво-
рения. П. ОРЕШИН—Стихотворение.
В. ДАНИЛОВ—Художественный образ в
языке Ленина. В. ВЕРЕСАЕВ—Воспоми-
нания о Королевке и Анненском. Л. ВОЙ-
ТЮЛОВСКИЙ—М. Е. Салтыков-Щедрин.
А. АРОСЕВ—Памятник революционного
Парня. Г. ЛЕЛЕВИЧ—Поэт мужицкой
стихи (С. Клычков). Вяч. ПОЛОНСКИЙ—
Памяти Есенина. В чужих краях. П. ШУ-
БИН—Чего добились и чего не добились
буржуазия в Локарно. Земля советская.
Р. АКУЛЬШИН—«Калитра» и культура
(из деревенского блоговота). Н. СМИР-
НОВ—Заметки о журналах. ОТЗЫВЫ О
КНИГАХ: В. Красильникова, Г. Якубов-
ского, Ф. Жид, Я. Фрида, С. Пакентрей-
гера, Ю. Данилина.

Ф Е В Р А Л Ь

С. ЕСЕНИН—Четыре стихотворения.
М. ПРИШВИН—Юность Алпатова (ро-
ман). Бор. ПАСТЕРНАК—Потемкин (и
поэмы 1905 г.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—
Жестокость (повесть). В. НАСЕДКИН—
Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ—Сти-
хотворение. Пант. РОМАНОВ—Огоньки
(рассказ). В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ—
Стихотворение. В. ШИШКОВ—Комар (рас-
сказ). М. ГОЛОДНЫЙ—Два стихотворен.
Из недавней переписки Л. Н. ТОЛСТО-
ГО (10 писем к Н. Н. Страхову). С. ГОРО-
ДЕЦКИЙ—Воспоминание о Есенине.
А. ЛЕЖНЕВ—О современной критике.
Ник. СМИРНОВ—Заметки о современных
писателях (М. Пришвин). Вл. МАЯКОВ-
СКИЙ—Нью-Йорк. Д. ФИБИХ—Черное
и красное. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Вой-
толовского, Д. Горьбова, Ди. Фурманова,
Г. Якубовского, Н. Асеева, Е. Браудо.

М А Р Т

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость
(повесть). Ник. АСЕЕВ—Декабристам (три
стихотворения). Вл. МАЯКОВСКИЙ—По-
рядочный гражданин (стихи). Мих.
ПРИШВИН—Юность Алпатова (роман).
Петр ОРЕШИН—Три стихотворения. Вл.
БАХМЕТЬЕВ—Железная трава (рассказ).
И. ДОРОНИН—В степи (стих.). С. КЛЫЧ-
КОВ—Чертухинский Балакирь (роман).
В. ИНБЕР—Сыну, которого нет (стих.).
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ—Два рассказа.
А. ЯСНЫЙ—Стихотворение. Мих. ГЕРА-
СИМОВ—Песенка (стихотв.). Ди. СЕМЕ-
НОВСКИЙ—Два стихотворения. Ал. БЕ-
ЛОЗЕРОВ—Из молодых лет Максима Горь-
кого (по новым материалам). В. НЕЧА-
ЕВА—Из литературы о Достоевском (поез-
дка в Даровое). Ник. СМИРНОВ—Памяти
«Парис Рейснер. А. ЛУНАЧАРСКИЙ—
«Искусство в опасности». Юр. СОБОЛЕВ—
Театральная жизнь Москвы. Б. ГУБЕР—
Два романа. А. ЯКОВЛЕВ—Деревня.
А. СТАРЧАКОВ—Ленин в песнях совет-
ского Востока. Вл. ВЛАДИМИРСКИЙ—
Город Та-Чен (в Западном Китае). ОТ-
ЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского,
Ф. Жид, К. Лока, Г. Березко, Е. Браудо,
Н. Писанова, В. Гольцева, Б. Комина,
С. Борисова.

А П Р Е Л Ь

А. ТОЛСТОЙ.—Московские ночи (рас-
сказ). С. ЕСЕНИН.—Стихотворен. Л. СЕЙ-
ФУЛЛИНА.—Каин-набав (повесть). А. БЕ-
ЗЫМЕНСКИЙ.—Картошка (стихотворен.)
М. ПРИШВИН—Юность Алпатова (роман).
Ник. ЗАРУДИН.—Вальдшнепы (стихотв.).
Е. ЭРКИН.—Мейран (стихотв.). Пант.
РОМАНОВ.—Первая любовь (рассказ).
С. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь
(роман). П. ДРУЖИНИН.—Стихи о
стихах. Н. ДЕМЕТЬЕВ—Два стихо-
творения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ.—Измоло-
дых лет Максима Горького (по новым
материалам). А. СМИРНОВ—КУТАЧЕ-
СКИЙ.—Страдальная частушка советской
деревни. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Памяти
Фурманова. Л. ВОЙТЮЛОВСКИЙ.—Но-
вые вещи Горького. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—
Дела художественные. Е. БРАУДО.—Ху-
дожественная проблема радио. С. БУТО-
СЛАВСКИЙ.—Музыкальная жизнь Мос-
квы. А. ЛИТВИНОВА.—Два английских
писателя. А. ЯКОВЛЕВ.—Деревенские
очерки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губе-
ра, Ф. Жид, А. Барковой, Г. Якубовского,
Ю. Данилина. И. Сергеевского, Ю. Собо-
лева, Н. Ашукина, М. Брагинского.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

Н О В Ы Й М И Р

М А Й

Алекс. СЫТИН. — Стада Аллаха (рассказ). Петр ОРЕШИН. — Три стихотворения. В. ВЕРЕСАЕВ. — Три (из отрывочных воспоминаний). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Два стихотворения. Мих. ПРИШВИН. — Юность Аллатова (роман). Ал. МАКАРОВ. — Счастливая земля (рассказ). Мих. ЮРИН. — В горах (стихотворение). М. ТЕРЕНТЬЕВА. — Тайга (стихотворен.). Анна БАРКОВА. — Табачная плантация (стихотворение). Серг. КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Сергею Есенину (стихотворение). А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромэн Ролана). Три письма И. С. ТУРГЕНЕВА к А. П. ЕФРЕМОВУ, Н. ЗАМОШКИН. — Литературные проселки. Б. РЕЙХ. — Современные немецкие драматурги. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. — Новая скульптура. Ник. СМОРНОВ. — О «Перевале». Р. АКУЛЬШИН. — Разговоры. П. ШУБИН. — Пасхальный стол II Интернационала. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Б. Губера, Н. Замошкина, В. Ягрина, И. Сергиевского, А. Глаголева, Ю. Соболева, Ю. Данилина, Н. Эйшишкиной.

И Ю Н Ь

П. НИКАНДРОВ. — Ночь (повесть). И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ. — Стихотворение. Г. САННИКОВ. — Два стихотворения. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Наин-кабак (повесть). Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Два стихотворения. Антон ПРИШЕЛЕЦ. — Утро (стихотворение). Сергей БУДАНЦЕВ. — Сын (рассказ). Петр ШАМОВ. — Отцу (стихотв.). П. РАДИМОВ. — Журавли (стихотворен.). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Богомольное (стихотворение). А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. — Поиск объекта. Из архива ВАЛЕРИИ БРИСОВА (с предисловием Н. Ашукина). П. К. КОЗЛОВ. — Монголо-Тибетская научная экспедиция. Николай СМОРНОВ. — На том берегу. П. ЗАМОШКИН. — По альманахам и сборн. Б. АНИБАЛ. — Около Есенина. Р. КУЛДЭ. — О современной немецкой литературе. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. — О современной живописи. С. ВЕТЛУГИН. — Казачья Лопаль. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Анны Барковой, Ф. Жаца, К. Локса, Н. Эйшишкиной, П. Маркова, В. Брагина, Арк. Глаголева.

И Ю Л Ь

Павл. РОМАНОВ. — Право на любовь (рассказ). И. ДОРОНИН. — Стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская Тишина» (повесть). И. САДОФЬЕВ. — Слепые глаза (стихотворение). Н. ТИХОНОВ. — Общедоступная история стихотворцев (стихотворение). Сергей КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Василий КАЗИН. Стихотворен. М. СВЕТЛОВ. — Песня (стихотв.). С. МАЛАШКИН. — Стихотворение. Жан ЖИРОДУ. — Святая Эстелла, рассказ (Перевод с франц.). А. БЕЗЫМЕНСКИЙ. — Рабочий поселок (из поэмы «Гутта»). Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Михаил Бакунин. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном подеме (о крестьянских писателях). Ф. НЬОМЕН. — Американский «короткий рассказ». С. БУГОСЛАВСКИЙ. — Музыкальная жизнь Москвы. А. ЯКОВЛЕВ. — Бабыня доля. Ник. ВЕЛИКОВ. — Дикая става. АДАЛИС. — Чай-хана Якуба Умедова. И. ЗВАВЧ. — Лондон в дни всеобщей забастовки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: В. Перверева, К. Локса, Ник. Замошкина, Б. Губера, Ф. Жак, Е. Браудо, Я. Фрида.

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ

Павел НИЗОВОЙ. У океана (рассказ). Борис ПАСТЕРНАК. — Лейтенант Шмидт (поэма). Павел СУХОТИН. — Вишни для компота (повесть). Ник. КОЛОКОЛОВ. — Стихи об отваге. Ив. ПРИБУДНЫЙ. — Два стихотворения. Вас. КАЗИН. — Отрывок из поэмы «Вывески». С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. — Капитан Коляев (рассказ). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Стихотворение. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Поэт, стихотворение. Л. НИКУЛИН. — «Матросская тишина» (повесть). Ал. ЖАРОВ. — Стихи красивой девушке. Конст. ФЕДИН. — Пастух (повесть). Б. КОВЫНЕВ. — Стихотворение. Серг. КЛЫЧКОВ. Чертухинский Балакирь (роман). Е. ЭРКИН. — Еврейский мотив (стихотворение). И. УТКИН. — Гитара (стихотворение). С. БАСОВ-ВЕРХОЯНЦЕВ. — Из давних ветвей. Азеф. А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — На трудном подеме (о крестьянских писателях). И. ЕВДОКИМОВ. — Илья Эрэнбург. Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Выстерской стиха. Феликс КОН. — Памяти «Юзефа». А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Искусство соврем. Европы». К. ЛОКС. — Неореализм во Франции. Н. СМОРНОВ. — Два альманаха. С. ГОРОДЕЦКИЙ. — Пути современного театра. Н. КАРЖАНСКИЙ. — Зарубежная Россия. М. АЛЬСКИЙ. — Борьба за Кантон. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Л. Войтоловского. Н. Замошкина, К. Локса, Ник. Смирнова, М. Зенкевича, Г. Валецкого, Н. Шиканова.